

**Кс**

**ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ  
"БЕЛЬМОНДО:  
Я НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ..."**


**№3**

**СЦЕНАРИИ**

**КИНО**

**3**

**95**



**Авиакомпания "Аэрофлот –  
Российские международные авиалинии" –  
лидер гражданской авиации России**

Аэрофлот – это:

- надежная техника и высокопрофессиональный персонал в небе и на земле;
- уникальный опыт нескольких десятилетий работы на западном рынке;
- регулярные полеты в 160 городов 103 стран мира, в том числе СНГ и Балтии;
- организация международных чартерных рейсов для пассажирских и грузовых перевозок;
- разветвленная сеть агентов и деловых партнеров.

**Аэрофлоту доверяют во всем мире!**

Телефоны авиакомпании в Москве:  
155-50-45 – международная справочная  
155-66-41, 155-66-48 – коммерческая служба  
155-59-48, 155-51-34 – пресс-центр

# № 3 КИНО

СЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

Учредители:  
Комитет кинематографии при  
правительстве Российской  
Федерации  
Конфедерация Союзов  
кинематографистов  
Редакция журнала  
"Киносценарии"

Журнал издается с 1973 года

## ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

### К 50-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

- Э. Володарский 2 "ПРОВЕРКА  
НА ДОРОГАХ"
- Е. Агранович 46 "СИЛЬНОЕ СРЕДСТВО"
- М. Танич 60 "ПЛЮС НАШИ 18 ЛЕТ"
- В. Доброницкий 66 "ИЗ ДНЕВНИКА  
ФРОНТОВОГО ОПЕРАТОРА"

- Т. Зульфикаров 85 "ЗОЛОТОЙ ПОПУГАЙ  
В МЕТЕЛИ"
- П. Гринуэй 96 "КОНТРАКТ РИСОВАЛЬЩИКА"
- В. Аксенов 149 "ПЕРВЫЙ ОТРЫВ ПАЛМЕР"
- Из жизни звезд 162 "БЕЛЬМОНДО:  
Я НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ"



A black and white photograph of a snowy street scene. In the foreground, a dark silhouette of a person is visible, looking towards the street. The background shows a snow-covered road with a dark shape, possibly a car or a person, in the distance. The overall atmosphere is cold and quiet.

*Э. Володарский*

**ПРОВЕРКА  
НА ДОРОГАХ**

*(по мотивам повести Юрия Германа)*



**Алексей Герман:** "Когда мы с Эдиком Володарским начали "Проверку на дорогах", – а было это 25 лет назад, – я хочу сказать: мы были совершенно другое поколение. Мы работали не от того, что мы хорошие или плохие. Может быть, мы умели-то меньше, может быть... Но мы считали, что мы обязаны рассказать о военнопленных. Мы обязаны что-то сказать о "власовцах". Мы обязаны

...Мокрое от дождя лицо мужика, угрюмо и настороженно смотрящего куда-то перед собой. Он одет в драную телогрейку, на плечах и из рукава торчат клочья ваты.

Лицо второго мужика худое и озлобленное. Нос у мужика разбит, на нательной рубашке следы крови. Мужик смотрит в ту же сторону, что и первый. Потом он запрокидывает голову, втягивает воздух разбитым носом, прижимая к нему кисть руки.

Немецкий солдат в отсыревшей на плечах шинели кричит что-то, машет рукой.

Прямо на камеру, медленно переваливаясь на ухабах, ползет залепленная грязью машина-цистерна. Тормозит.

Руки отстегивают от борта машины длинный гофрированный шланг. Немецкий солдат в подоткнутой за пояс шинели тяжело протаскивает шланг по земле, бросает в только что раскопанную яму. Яма заполнена картошкой.

Руки открывают вентиль на цистерне.

Шланг, лежащий на земле, дергается. На картошку льется струя светлой жидкости.

Солдат гасит о скат машины сигарету, устало вытирает мокрое от дождя лицо.

Шофер в машине читает книжку, положив ее на руль.

Льется керосин на картошку.

Еще один солдат нюхает руки, потом брезгливо вытирает их о комбинезон.

Смотрят мужики. Лица их по-прежнему угрюмы.

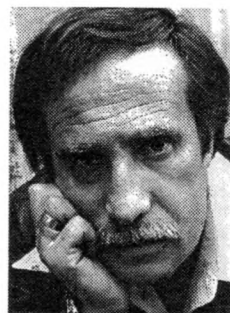
На заброшенном поле, у разрытой ямы стоит машина-цистерна. Недалеко от нее двое мужиков с лопатами. Вокруг цистерны деловито возятся двое немецких солдат. Один, не торопясь, подходит к вентилю, закручивает его. Другой вытаскивает из ямы шланг, подтаскивает его к цистерне, закрепляет. Потом садится в кабину. Машина трогается. Второй немец вскакивает на подножку, кричит что-то мужикам. Видимо, приказывает им следовать за собой. Мужики тащатся следом за цистерной. Один закидывает голову, прижимает к разбитому носу кисть руки.

Машина едет к дороге, по которой немцы гонят небольшое стадо коров. В кадре – уезжающая машина, мужики и яма, похожая на воронку. На этом фоне возникает негромкий бесстрастный голос, читающий по-немецки. Потом возникает голос переводчика:

– Инструкция по умиротворению оккупированных районов № 9 от 15 октября 1942 года. Во все подразделения охранных войск вплоть до рот, батарей и прочее. Уничтожение отдельных партизанских отрядов не решает проблемы ликвидации партизанского движения в целом, ибо практика показывает, что это движение возрождается снова, как только карательные части меняют дислокацию. Только после уничтожения материальной базы в труднодоступных, в силу природных особенностей, районах может отнять у партизан способность к регенерации. Ввиду этого охранным частям предлагается произвести

*пожалеть свою собственную Родину. Мы обязаны смягчить нравы. Если даже мы из-за этого пострадаем, мы обязаны. И мы на это шли. Конечно, не с радостью, но мы на это шли..."*

**Продолжение беседы Алексея Германа с  
главным редактором журнала  
Натальей Рюриковой  
читайте на странице 38.**



изъятие и вывоз продовольствия из всех труднодоступных районов.

Продовольствие, которое в силу тех или иных причин не может быть вывезено, должно безжалостно уничтожаться. Не может быть пощады в отношении кого бы то ни было! Только коренное истребление материальной базы приведет к умиротворению территории.

Населению должно быть разъяснено, что виновником его бедственного положения является контакт с партизанами.

Одновременно напоминаю, что оккупированные районы являются источником обеспечения продовольствием как группы армий, так и собственно Германии, поэтому скот, а также все способное к транспортировке продовольствие должно быть сосредоточено на станциях под защитой постоянных гарнизонов для дальнейшей отправки в места назначения по мере формирования эшелонов.

**Н**оги коров по самые бабки в грязи. Одна из коров хромает. Небольшое стадо проходит мимо полосатого шлагбаума, по-нурого немца, мокнущего под дождем.

Коров много. Они бредут по узкой горбатой улочке. Большинство домов без стекол и рам стоят как ослепшие. Коровы бредут, равнодушно глядя в вязкую осеннюю грязь.

**П**ривокзальная площадь забита коровами, брошенными телегами. Вдоль путей вытянулся длинный унылый эшелон.

Солдаты загоняют коров в вагоны, тащат за рога, толкают. Коровы скользят по настилам, пугаются. Мокрые усталые лица солдат. Один немец бинтиком завязывает пораненный палец.

Медленно разворачивается на поворотном кругу паровоз. Поворотный круг толкают люди. Люди тяжело наваливаются на длинное бревно-рычаг. В стороне на ступеньке пассажирского вагона прячется от дождя конвоир.

Толкают длинное отполированное бревно мужики, бабы, интеллигентного вида человек в очках, замотанный шарфом. Пронзительный ржавый скрип поворотного круга, крики солдат, мычание коров вытесняют голос немца, читающего инструкцию.

Через мокрую проволоку виден стоящий за оградой станции мужик в драной телогрейке и шапке-ушанке. У мужика спокойный и рассудительный взгляд умных глаз. Это Локотков. Он поворачивается, прячет иззябшие руки в рукава телогрейки, прихрамывая, уходит. На фоне проволоки и уходящего Локоткова возникают титры картины. Титры ложатся и на последующее изображение

Солдат в черном прорезиненном плаще закатывает дверь заполненной коровами теплушки, идет к следующему вагону. Двое идут следом. Один закидывает тяжелые металлические крюки на дверях, второй ставит цифры на мокрых досках теплушки. Солдат закрывает последний вагон, и за ним открывается переплетение холод-

ных блестящих рельсов и деревянная сторожевая вышка.

На фоне деревянной вышки, часового и рыла тяжелого пулемета, с которого капает вода, возникают последние титры – название картины "Операция "С Новым годом".

По-прежнему идет дождь. Широкая улица партизанской деревни. Тащится телега. Сырые черные избы. Камера приближается к большой покосившейся избе. Под навесом крыши, спасаясь от дождя, стоят люди. Чего-то ждут.

Двое партизан стоят посреди избы, опустив головы, мнут в руках шапки.

– Эти? – резко спрашивает голос за кадром, и потом: – Вы головы-то поднимите.

Партизаны нехотя поднимают головы и тут же опускают их

В двух шагах от партизан стоит старуха. Старуха подходит к мужикам ближе, всматривается, наконец узнает:

– Они, соколики, – и вон тот рябой последний полмешка картошки забрал. А у меня пятеро, а он... мне ружьем грозил...

– А ты, часом, не путаешь, бабка? – спрашивает другой голос.

– Чего это мне путать? – сердится старуха. – Чай не ночью приходили – днем.

Происходит партизанский суд. За столом сидят Иван Егорыч Локотков, еще командиры, у стены на лавке – Соломин. У самого краешка стола Инга Шанина огрызком карандаша записывает протокол. Позади всех, у окна, человек в ладно подогнанной гимнастерке, с двумя шпалами в петлицах – майор Петушков – представитель штаба бригады. Командиры смотрят на мародеров.

– Брюква была, – слышен голос старухи. – Я ее в подполе прятала. Нашли, антихристы...

– Погодите, бабуся. – Локотков теревит небритую щеку, смотрит на мародеров. – Третьего дня у вдовы Шалайкиной картоха пропала... Тоже ваша работа?

Подсудимые молчат, стоят, опустив головы.

Локотков сидит сгорбившись, курит. Он видит... закуток за печкой, отделенный от избы линиями занавески. В глубине закутка у печки сидит женщина, подшивает

валенки. На лежанке сидит мальчик лет десяти. Рядом с ним самодельный костыль.

Слышно, как продолжается суд.

– Ну что молчите-то? Скажите что-нибудь, – просит голос Соломина.

– Что тут говорить? Виноваты... Голодуха из нас все соображение вышибла...

– Они со мной Копытовский мост подрывали, Иван Егорыч. – Это опять Соломин.

– Одно другого не касается.

Петушков достает из нагрудного кармана гимнастерки лист бумаги, разворачивает его.

– Вам в роте этот приказ читали? "В условиях жесточайшего голода, – читает он, – мародерство будет расцениваться как пособничество врагу, как подрыв авторитета Советской власти и караться высшей мерой наказания – расстрелом".

Гнетущая тишина воцаряется в избе. Становится слышно, как дождь барабанит в стекло.

Мародеры стоят, низко опустив головы. Испуганно смотрит старуха.

– Как это? – Она подходит к столу, тянет за рукав одного из командиров. – Я почему пожалилась-то?! Чтоб пострашали их, чтоб не озоровали больше... Как же стрелять-то?

Все молчат. Бабка чувствует, что за этим нежеланием отвечать скрывается что-то страшное. Она семенит к подсудимым, пробует подтолкнуть их к двери.

– О-ох, сынки! – ноет она. – Не будут они больше. Вот вам крест. Пропали она пропадом, эта брюква. – Старуха заплакала. – Простите их.

– Птуха, – с досадой говорит Локотков, кивает на старуху. – Вы идите, бабуся, мы уж тут сами...

Птуха подходит к старухе, берет за плечи, ведет к двери.

– Не будут они больше. Вот вам крест, не будут, – оборачивается к дверям, плачет старуха.

Двери за старухой закрываются.

– Какое примем решение, товарищи? – тяжело спрашивает Петушков.

Молчат командиры.

Молчит Соломин.

Смотрят баба и мальчик из-за занавески.



Локотков опять встречается с ними глазами. Встает, подходит к закутку. Задерживает лямку занавеску. Потом, прихрамывая, возвращается на свое место. Теперь все смотрят на него.

– Расстрел, – глухо говорит Локотков.

Перед камерой проплывают голые мокрые ветки деревьев, серое небо в лохмотьях туч. Сухо трещит залп. Камера застывает в неподвижности.

Далекие избы, околица деревни. Медленно расходятся люди.

Локотков и Петушков идут рядом по улице деревни мимо черных домов, пепелищ.

– Еще пару недель – и отряду крышка, – говорит Петушков.

– Если бы я был Иисус Христос, я б из камней хлебов понаделал... – устало отвечает Локотков.

Через грязное стекло грузовика и застывшие "дворники" видна дорога, идущая впереди лошадь, к хомуту которой привязана тяжелая борона. Спина полицая. Полицай идет в стороне, держит в руках длинные вожки. Борона рыхлит землю перед грузовиком.

Обоз тащится по лесной дороге. Впереди – лошадь с бороной и бензовоз. Дальше – вереница подвод с мешками. На мешках – немецкие солдаты – охранение. За подводами бредут коровы и полицай с кнутом. Стылая дорога стиснута глухим, враждебным лесом.

Кадр перечеркнут крестом оптического прицела.

Лица людей близко, рядом. Прицел медленно ползет по обозу. Лицо полицая. Залепанное грязью брюхо бензовоза. Скат. Смазка. Потом равнодушные и задумчивые лица солдат. Один ест из банки консервы перочинным ножом. Жует, задумчиво уставившись в пространство. Худой, очкастый офицер курит, на ногах у него простроченные белые бурки. Прицел скользит вниз, останавливается на бурках.

– Эх-ма! – раздается приглушенный шепот. – Валеночки-то, дай боже...

Прицел метнулся обратно к немцу, который ест. Задерживается на его лице, и снова тихий, злой шепот:

– Вот сволочь! Жрет!

Прицел ползет по обозу. Эти солдаты

разговаривают, смеются. Двое играют в шахматы на миниатюрной доске, умещающейся на ладони.

Когда переставляют фигуры, дуют на озябшие пальцы. А в фонограмме приглушенный, прерывистый шепот:

– Да не трясись ты, глядеть тошно...

– "Не трясись!.." Их вон сколько...

– Бомбу бы на них... Рраз... и нету ни одного...

Оптический прицел не выдержал, опять метнулся к тому немцу, который ел.

– И не подавится, – шепчет голос.

– Отставить разговорчики!

Прицел резко перешел и замер, подрагивая, перекрестьем на лбу офицера в очках. Офицер отворачивается от прицела, уютно спрятав нос в меховой воротник шинели. Подставляет прицелу спину.

– Ну, с Богом! – произносит голос.

Пуля прошивает темной рваной дырой шинель офицера. Офицер медленно валится вниз.

Падают с телег немецкие автоматчики. Бегут к обочине, отстреливаются. Взревев мотором, бензовоз сворачивает в сторону и едет прямо в лес, ломая кусты. Дверь кабины распаивается, и на подножку вываливается тело водителя.

Немцы стреляют из автоматов, медленно, нехотя отходят к обочине.

Борона засела между деревьями, бьется испуганная лошадь. У длинных вожжей лежит убитый полицай.

Рослый унтер-офицер стоя стреляет из ручного пулемета. Отходит к лесу мимо телега.

Один мертвый немецкий автоматчик висит, перегнувшись через борт телеги. На руке поблескивает обручальное кольцо.

Тяжело взрывается цистерна.

Через горящий бензовоз видно, как на дороге мечутся оглушенные взрывом коровы.

Одна корова поворачивает к лесу. Она пробирается сквозь кустарник, мычит, мотает головой.

Пожилый, исхудавший партизан с изумлением всматривается в корову, потом приподнимается:

– Мать честная! Это ж моя Розка! – Он вскакивает, бросается вперед.

– Роза! Роза! – приговаривает он и пытается догнать взбесившуюся корову.

Корова бежит по лесу, пробирается через кусты.

Мужик бежит за коровой. Бежать ему тяжело. Он выбивается из последних сил, хватая ртом воздух. Бежит, продолжая звать:

– Роза! Роза!

Корова поворачивается, выбегает на дорогу.

Партизан выскакивает за ней на дорогу. Стучит пулеметная очередь. Партизан валится на землю. Последнее, что он видит, – это корова, убегающая по дороге.

Локотков стоит у треснутого окошка, прислушивается к далекому звуку боя. Потом отходит от окна, садится. В противоположном углу избы сидит сухая женщина с изможденным лицом. Рядом с ней подвешена люлька. У ног копошатся еще двое оборванных ребятишек. Женщина сидит неподвижно. Во всем ее облике – полнейшее безразличие ко всему на свете. Изба – пустая, темная.

– И как ты живешь одна в пустой деревне? – негромко спрашивает Локотков.

Женщина поднимает голову.

– Так и живу. Жду, пока околею.

– Муж на фронте?

– Драпают, – сухо усмехается женщина. – Небось до Волги уже добежал.

– Ему там не легче, товарищ женщина, – упрекает Локотков.

– Господи! – вдруг со злобой выдыхает женщина. – Поговорить, что ли, не с кем? Шли бы вы отсюда, жалостливые.

Женщина встает, уходит за печку.

– Вы пожалеете... Потом за вами каратели придут... Тоже жалеть будут.

Молчит Локотков. Курит.

Темная вода ручья оmyвает ноги в грязных немецких сапогах с короткими голенищами. По воде стелются белесые полосы размытой глины. Ноги в сапогах выходят на берег, засыпанный осенней листвой.

По голому осеннему лесу не спеша идет человек в немецкой форме. На груди у него автомат, чтобы легче идти, полы шинели подоткнуты за пояс. Это Лазарев. Через просвет между деревьями открывается окраина сожженного хутора.

Куча горелого кирпича, полузасыпанно-

го осенней листвой. Мимо проходят ноги Лазарева. Лазарев идет по бывшей улице хутора. Тихо и мертво. Только торчит одинокий журавль с сохранившейся кадкой на цепи.

Лазарев подходит к колодцу, оттягивает журавль вниз. Слышно, как хлопается в воду ведро.

– Хенде хох!

Лазарев вздрагивает. Потом медленно поднимает руки. Перед его лицом проползает мокрая цепь, тонко скрипит журавль. Потом проплывает деревянная бадейка. С нее стекают струйки воды.

– Ложи автомат, фриц проклятуший! – говорит голос за его спиной. – Автомат! Взк! Ну!

Лазарев пробует было оглянуться, но голос предупреждает:

– Не балуй!

Лазарев снимает автомат, слышит позади себя хруст чьих-то шагов.

– Я тебя, гада, здесь кончу, – говорит голос. – Узнаешь теперь, как в нашей земле лежать! Холодно-о!

Лазарев разворачивается, как сжатая пружина, и бьет того, кто был позади.

Тот, кто был сзади, летит навзничь в прелую листву. Это парнишка лет шестнадцати в латаном, не по росту большом ватнике. Он смотрит на Лазарева, ерзает спиной по земле, пытается отползти подальше. Потом в ужасе закрывает лицо локтем.

Лазарев держит винтовку и смотрит на мальчишку.

– Вставай, щенок, – тяжело дыша, говорит Лазарев и сплевывает.

Парень опускает руки. Со страхом и удивлением смотрит на Лазарева.

– Ну, вставай же, – повторяет Лазарев.

Парень поднимается, стоит, опустив руки.

Лазарев смотрит на парня. Потом протягивает ему винтовку прикладом вперед.

Сначала парень не берет винтовку, ожидая подвоха. Потом медленно берет и тут же отпрыгивает в сторону. Грохает выстрел. Лязгает затвор. Парень перезарядил винтовку.

Лицо Лазарева темное от пороховой гари.

Лазарев медленно стаскивает с головы пилотку, вытирает лицо.

Парень держит винтовку, приготовившись для второго выстрела.

Лазарев стоит в нескольких шагах от парня. Тихо. Слышно, как ветер гудит в проводах. Лазарев носком сапога подвигает парню автомат. Сам отступает на шаг. Парень нагибается, не сводя с Лазарева глаз, подбирает автомат. Закидывает его через плечо. Затем отходит в сторону, подбирает свою шапку.

– Пошли, – говорит он.

Лазарев поворачивается, закладывает руки за спину и идет. Парнишка идет за ним.

Лазарев и парнишка идут так, что между ними и камерой тонкие стволы деревьев.

– Ты это... – говорит парнишка. – Слышь, ты там у начальства не говори, что винтовку у меня отнял... Слышь... Эй, как тебя?

– Зачем стрелял? – не оборачиваясь, спрашивал Лазарев.

– А какая на тебе шинель одета? А? Ты кто?

– Никто. Лет тебе сколько?

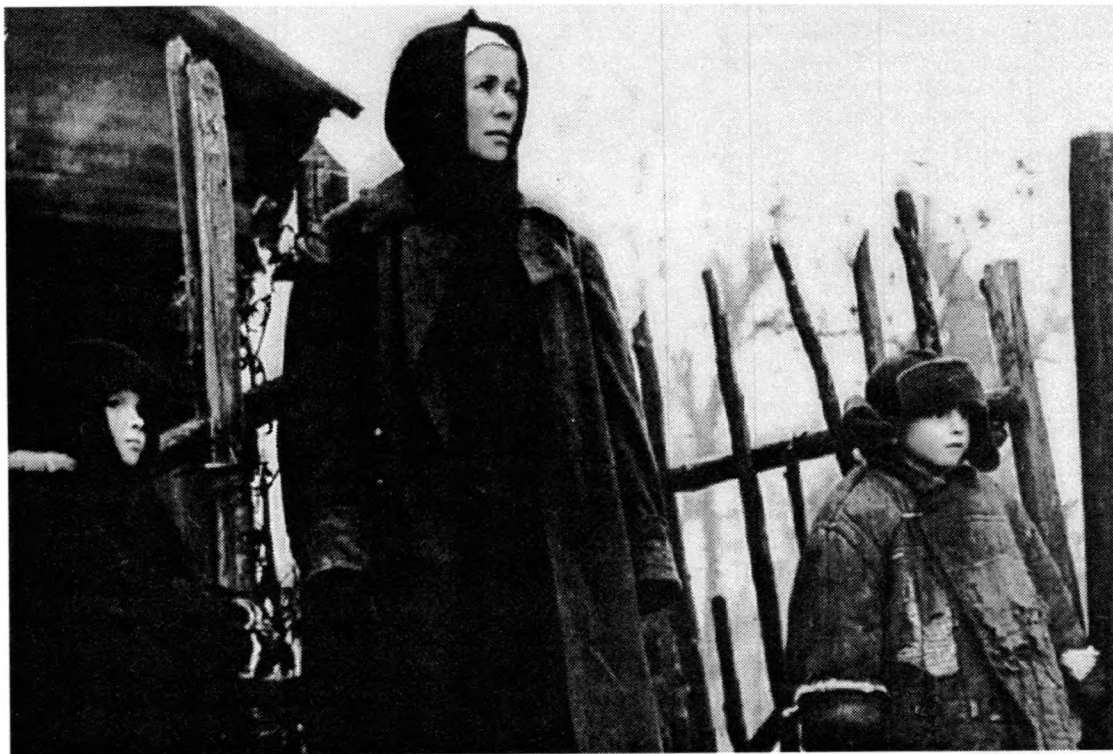
– Хватит. Уже полгода немцев стреляю. Густые ветки деревьев и стволы закрывают их.

*По* улице вразброд бредут хмурые, молчаливые партизаны. На шинелях, плащ-палатках они несут убитых. Деревня не жилая. Брошенная. Солома с крыш давно собрана, и голые стропила выпирают, как ребра. Дома без окон смотрят черными зияющими, как речные проруби, провалами. Вдоль улицы стоят подводы партизанского обоза.

Убитых кладут на телеги. Идет Петушков. У поломанного забора – Соломин и Локотков.

– Керосину рванули, – продолжает рассказывать Соломин, – а коровы от взрыва ошалели – и врассыпную. Ребята еле ноги таскают – не угонишься.

Локотков, прихрамывая, идет к телегам. Соломин за ним. Они подходят к телеге, на которую партизаны уложили убитых. Телега накрыта брезентом, мокрой шинелью.



Женщина – Майя Булгакова

– Кто? – спрашивает Локотков.  
– Братья Авдеевы, Куликов Иван, Сухо-  
руков Федька, – говорит Соломин.  
– Коров жалко – убегли, – негромко  
сокрушается чей-то голос.  
– Тю, – громко и изумленно тянет кто-  
то. – Гляди, наш Митька фрица изловил.  
Вдоль обоза из глубины улицы идут  
Лазарев и сопровождающий его парень.  
Локотков и Петушков стоят у подвод,  
поджидают.  
Женщина с детьми тоже вышла из избы.  
Смотрит Соломин.  
Хмуро, тяжело смотрят партизаны.  
– Ну и начал бы его. Зачем вел? –  
роняет один.  
Митька с Лазаревым подходят к телеге  
с убитыми, у которой стоят командиры.  
– Он это... Он сам сдался, сам автомат  
отдал. – Митька шмыгает носом, кладет на  
подводу рядом с убитыми немецкий шмай-  
сер.  
– Бывший командир Красной Армии  
Лазарев Александр Иванович, – говорит  
Лазарев.  
Он вынимает из-за пазухи “вальтер” и  
протягивает Локоткову.  
– Вот. Парнишка не все забрал.  
Иван Егорыч внимательно смотрит на  
Лазарева, усмехается:  
– Сдаваться шел, а пистолетишко на  
всякий случай приберег?  
От этой усмешки Лазарев отворачива-  
ется, смотрит в сторону, встречается гла-  
зами... с невысоким, очень худым парти-  
заном.  
– Что смотришь, иудина морда? – скри-  
вившись, говорит партизан.  
Он рвется к телеге с убитыми, сбрасы-  
вает брезент.  
– Ты сюда гляди, на них, – кричит он.  
– Соблюдать дисциплину, – резко го-  
ворит Петушков.  
От его голоса люди успокаиваются.  
Повернувшись к обозу, Петушков громко  
кричит:  
– Трогай! – И идет к другой телеге.  
– Пойдешь со мной, – тихо приказыва-  
ет Лазареву Локотков. И повернувшись:  
– Будь здорова, товарищ женщина. Бог  
даст, свидимся.  
Женщина стоит у своей избы, смотрит.  
Двое детей, как настороженные мышата,  
стоят по обе стороны от нее. Слышно, как

скрипят телеги, переговариваются на ходу  
люди. Женщина поворачивается и бежит в  
дом. Дети остаются на улице. Камера на-  
езжает на избы. В фонограмме – звуки по-  
спешных, судорожных сборов. Потом дверь  
распахивается, выскакивает женщина с  
младенцем на руках и котомкой.

Обоз тащится к лесу, и женщина быст-  
ро идет за обозом. Двое ребяташек едва  
поспевают за ней. Поскрипывает на перед-  
нем плане распахнутая дверь брошенной  
избы.

Под поскрипывание колеса и дребез-  
жание телеги проползают голые деревья.

Локотков и Петушков едут на телеге.  
Сидят рядом. Лазарев идет у подводы.  
Майор искурил наполовину самокрутку,  
протягивает окурочку Ивану Егорычу. Тот  
затягивается, выпускает дым и говорит:

– Ну, человек божий, обшитый кожей,  
рассказывай свои небылицы. Только не  
ври, меня вруны утомляют.

Лазарев смотрит, как Локотков курит.  
Проглатывает слюну. Просит неожиданно:

– Табаку не дадите? Свой в лесу по-  
терял.

– У нас, милок, на своих табаку не хва-  
тает. Живем небогато, – отвечает Локот-  
ков. Тут же быстро и резко спрашивает:

– Что в лесу делал?

– Партизан искал.

– Зачем?

– Чтоб сдать.

– У немцев, что ль, проштрафился?

– Я давно хотел к вам уйти.

– Ишь ты! Стало быть ты идейный пе-  
ребежчик. Сперва туда, потом обратно.

Лазарев молчит. Идет, смотрит себе под  
ноги.

– Н-да, парень, – тянет Иван Егорыч. –  
Не ту дорожку ты себе выбрал.

– Я не выбирал, она сама меня нашла.

Сидящий на передней телеге партизан-  
казах негромко тянет долгую, заунывную  
песню.

– А-а-а, – поет казах. – А-а-а...

Узкие раскосые глаза прищуренно  
смотрят на редкий лес.

– Ох, азиат, прости господи, воет и  
воет... – с досадой поворачивается боро-  
датый партизан. – Будет душу-то мотать!

Казах скользит по нему равнодушным  
взглядом, продолжает тянуть заунывную  
мелодию.

Едет телега, покрытая брезентом. Шинель сползла. Торчат сапоги – подметка прикручена проволокой. Разбитые ботинки, олучи.

Смотрит Лазарев. Потом отводит глаза.

Подрывник Ерофеич оборачивается, говорит виновато:

– Может, кто пешочком пройдетя? Меринок совсем задохся.

Петушков прыгивает с телеги. Останавливает хотевшего было слезть Локоткова:

– Сиди, сиди. С твоими ногами.

Иван Егорыч опять поворачивается к Лазареву:

– Как в плен попал?

– Долгая история.

– А ты рассказывай. Нам торопиться некуда.

– Мы на фронт в эшелоне ехали... в августе...

**М**едленно проезжает немецкий танк. Черный крест на башне.

Раскачивается тупой ствол танка.

Плывут дорожки блестящих широких гусениц.

Танк уезжает. За танком – густой шлейф пыли.

**Л**азарев идет рядом с телегой, на которой сидит Локотков. Петушков поотстал, идет сзади.

– Животом я страдал сильно, – как-то нехотя говорит Лазарев. – Нашел в эшелоне санинструкторшу. Она мне три таблетки дала. А тут нас из эшелона вытряхнули, потому что пути дальше взорваны были.

Локотков слушает с усмешкой:

– А таблетки, значит, со снотворным были. Тебя сморило. Ты уснул сном праведника. Во сне тебя и взяли, – заканчивает он рассказ.

Лазарев удивленно смотрит на Локоткова.

– Так и было. Откуда знаете?

Идет Петушков. Слушает, сухо усмехается.

Голос Локоткова:

– Бывает... Рассказывают...

– Ваше право не верить, – отвечает голос Лазарева.

– Наше право, – говорит Петушков, – судить тебя от имени народа, который ты предал.

**К**ели привязаны веревки – самодельные качели. На этих качелях одноногий мальчик лет десяти, опираясь на костыль, качает девочку, еще младше. Девочка громко смеется, когда взлетает слишком высоко. За ними – широкая улица деревни, силуэты изб без огней. Мимо качелей, прихрамывая, проходит Локотков, уходит в избу. Камера отъезжает. Теперь улица видна через окошко, забитое скобой. Лазарев сидит в подвале на обрубке полена. Окошко как раз на уровне его глаз.

Лазарев отворачивается от окна, зябко кутается в шинель. У стены подвала стоит глубокий и длинный деревянный ящик изпод картошки. Оттуда раздается шорох и вылезает парень лет восемнадцати. В волосах запутались соломинки, клочки сена.

– Земляк, махорочкой не богат? – спрашивает парень.

Камера отъезжает, и теперь в кадре оба – Лазарев и парень. Парень ждет немного. Ворочается в своем ящике.

– Переживаешь? Ну-ну, меня тоже завтра шлепнуть обещали.

Он вскакивает и орет пронзительно:

– А за что меня?! Мне всего восемнадцать! Я еще жизни не видел!

Парень кидается по ступенькам к двери, барабанит кулаками и ногами.

– Водки дай, вша партизанская! Права не имеет! Мне перед смертью водка полагается! Давай, гад!

– Я тебе сейчас дам, – отвечает из-за двери спокойный густой бас. – Так дам, – до утра не очухаешься.

Полицай сникает. Бредет к ящику. Присаживается на краешек. Всхлипывает.

– Меня тетка заставила. Иди, говорит, в полицию, там паек дают. Я думал, проживу как-нибудь... тихо. А нас в другую деревню погнали... А на гумне трое комсомольцев связанных стоят... Мне говорят – стреляй или тебя туда же поставим. Я и порешил их... А что оставалось делать-то? Самому к стенке становиться? Да? Я, что ль, немцев сюда допустил?

Лазарев никак не реагирует на его слова.

– И так тошно. А ты молчишь. Тебя-то как взяли?

– Сам пришел, – подумав, отвечает Лазарев.

– Ты что, малахольный? – шепчет поли-



**Полицай – Николай Бурляев**

цай. – Они ж тебя завтра на осину. – И вдруг начинает хохотать. – Са-ам... сам пришел... – С ним начинается истерика.

От смеха он сразу переходит к слезам. Лазарев поворачивает голову.

Перед его глазами деревенская улица. Пусто. Висят качели. Слышно, как бубнит и всхлипывает полицай.

– Ну чем я виноват, земляк, а? Если б их вот так заставили? А? Мамочка, спаси меня... Мамочка, я больше не буду...

**Майор** Петушков расстегивает ремень, снимает гимнастерку. В избе горит, потрескивает лучина.

– Болят? – спрашивает Петушков.

Иван Егорыч сидит на лавке в углу, поставив босые ноги в ведро, морщится, поливает в ведро кипяток из старенького чайника.

– Ломят.

– Сегодня на одном фрице роскошные валенки были, – говорит Петушков. – Не смог его подстрелить. А валенки – блеск...

– Ладно, обойдемся... Вот думаю, как

бы на эту проклятую станцию залезть. Даже голова трещит, – отвечает Локотков.

Петушков подходит к лавке. Ложится, смотрит в потолок, говорит мечтательно:

– У меня до войны знакомая врачаха была – царь-баба. Змеинного яду запросто достать могла. Я с ней на стадионе познакомился. Баски тогда играли... Ох, как они играли...

Петушков даже жмурится, словно пытается представить картину прошлого.

– Во что играли-то? – спрашивает Иван Егорыч.

Он вынимает из ведра распаренные ноги, вытирает их тряпкой.

– В футбол... Ты футбол-то когда-нибудь видел?

– Видел, – кивает головой Локотков. – Мальчишки в деревне гоняли.

– Э-э-эх, лапоть ты, лапоть. Футбол – это, Иван, такое... В общем, стихи писать можно...

– Содержательная, стало быть, игра, – Иван Егорыч берет ведро, несет его к двери.

– Содержательная... – передразнивает майор. – Это искусство целое. Это...

– А где жена твоя была, когда ты с врачихой футбол глядел? – ехидно спрашивает Иван Егорыч.

– Дома. Она футбол не любит. И сына все время отговаривала. А сын мой классно играл. Сейчас бы уже мастером был.

Локотков сочувственно смотрит на майора.

Майор тяжело поднимается, глаза округляются, становятся свинцовыми:

– Я их, подлюг... в плен брать не могу. Вот даже подумаю, и сердце от злости немеет... Я им зубами глотки... Я их мертвыми убивать буду...

Шевелится, стонет мальчик-калека, который спит за занавеской. Рядом спит женщина.

Петушков сидит на лавке.

– Ты... успокойся, – говорит Иван Егорыч. – Злость хороша, покуда мозги не захлестывает... А так и воевать плохо и жить.

Локотков встает. Задувает лучину.

– А ты как в чекисты попал, Иван? – спрашивает Петушков в темноте.

– А что, на чекиста не похож?

– Да не очень...

– Попал, Игорь Леонидович, по партийному, весьма серьезному, "секретному" приказу, а то человек действительно штатский – агроном.

Слышно, как он укладывается. Скрипит топчан.

– Слышь, а кто тогда на стадионе выиграл? – после паузы спрашивает Локотков.

– А... наши выиграли.

– И то хорошо.

**Р**ассвет. Густой туман окутывает лес. Партизан сидит под деревом, привалившись к стволу, спрятав изящные руки в рукава пальто.

– Васек, эй! Васек! – зовет партизан. – Время сколько, Васек?

Никто не отвечает. Партизан слышит только шорох ветра и еще что-то, что заставляет его насторожиться. Партизан встает, идет вдоль кустов, всматривается.

Густая стена тумана расплзается от ветра и открывает мшистое болото и длинные цепи немецких автоматчиков. Цепи черные и надвигаются в безмолвии.

Смотрит партизан.

– А-а-а! – кричит он. – Каратели! А-а-а!

Партизан бежит и стреляет в воздух.

Немецкий автоматчик резко поворачивается и, откинувшись назад и вбок, дает длинную очередь.

Стреляет другой немец.

Третий.

Пули швыряют партизана на кусты. Он повисает на кустах. Кусты не дают ему упасть. Когда автоматы перестают стрелять, слышно, как вдалеке часто и звонко бьют в рельс.

– Форвартс! Шнеллер! – раздраженно кричит немецкий офицер. И цепь немцев движется быстрее. Немцы в черных шинелях увешаны коробками, патронными лентами, термосами, лопатами.

Другой немецкий офицер что-то командует, указывает рукой в черной перчатке то в одну, то в другую сторону. Позади него немцы устанавливают легкие полевые минометы. Офицер командует, и немцы четко, как на учениях, начинают забрасывать мины в стволы. Один немец при этом что-то жует, и выражение лица у него равнодушное, как будто он выполняет скучную, надоевшую работу.

Рвутся мины на деревенской улице. Жарко пылает изба. У избы – обезумевшая баба, босая, в одной сорочке.

Кричит, задыхается от крика девочка.

Бабы бегут от околицы к лесу, одетые налегке, простоволосые. Тащат детей, нехитрый скарб. Прыгает на костыльке одноногий мальчик.

Из избы выскакивает баба, кидается к рубахам, и подштаникам, развешенным на веревке.

– О-о-ой! – голосит баба, срывает рубахи. Лицо бабы перекошено от страха. Мина взрывается рядом, и баба падает на землю, продолжая прижимать к груди выстиранное белье. Ветер несет по улице стираную рубаху.

Горят избы. Вдоль улицы бегут – уходят партизаны, жители. Трещат, запрокидываясь на ухабах, телеги. Вдоль улицы идет Локотков. Охрипшим голосом кричит одну и ту же фразу:

– Отходить к Коровьему болоту! Всем отходить к Коровьему болоту!

У избы стоит таратайка. В ней – мешки. Один мешок рассыпался, и двое пар-

тизан на четвереньках собирают просыпавшуюся из мешка картошку; третий, с перевязанной шеей, пытается из последних сил удержать напуганную взрывами лошадь.

– Эх, руки-крюки! – ругается Локотков и идет дальше. – Отходить к Коровьему болоту! Всем отходить к Коровьему болоту! – продолжает он выкрикивать.

Цепь немцев выкатывается из леса на огороды. Немцы бегут, стреляя на ходу из автоматов.

На огороде в клочьях тумана стоит высокая фигура с поднятой к небу рукой.

Немец остервенело стреляет в нее из автомата.

Пули вливаются в огородное чучело. Чучело в длинной рваной шинели похоже в тумане на человека с поднятой рукой. Мимо чучела бежит цепь немцев.

Цепь немцев появляется из тумана.

Стреляют партизаны. Партизан бьет из пулемета. Он в одной гимнастерке. Гимнастерка на лопатках пропотела насквозь. Голова и плечи партизана трясутся в такт выстрелам.

Падают немецкие автоматчики. Пули разрываются на черных шинелях...

...Одного...

...Другого...

...Третьего...

Через прицельную планку пулемета видны огороды. Цепь немцев залегла. Один немецкий автоматчик стоит. Очевидно, он ранен в голову и, как слепой, не знает, куда идти, что делать. Пули попадают в немца. Он падает.

Четко, как на учениях, стреляют немцы из минометов.

– Форвартс! – поднимаясь, командует перепачканный в земле офицер.

Цепь немцев поднимается и бежит вперед.

Сползает по стенке окопа убитый партизан.

Охнул, ткнулся лицом в землю другой.

Лазарев стоит у окна и смотрит на улицу. В ящике сидит полицай. Его глаза следят за Лазаревым. Оба слышат взрывы, трескотню выстрелов, шум разгулявшегося пожара.

Через оконце видно: по улице мчатся телеги, бегут люди. А прямо напротив, прижавшись к поленнице дров, съживившись,

стоит партизан-казах. Мина взрывается совсем рядом. Обрушивается поленница. Часовой, схватившись руками за живот, делает несколько шагов вперед и падает. Голова его с раскосыми удивленными глазами оказывается напротив лица Лазарева.

Лазарев и полицай смотрят, не в силах оторвать глаз.

– Слышь, земляк! – шепчет полицай. – Кажись, трибунала-то не будет... Может, еще поживем, а, земляк?

Лазарев молчит. Дверь позади Лазарева и полицайа распахивается, и хриплый голос говорит:

– Выходи! Ну, кому говорят? Выходи... мать вашу...

Лазарев первый, опустив голову, идет к дверям. За ним плетется полицай. Дверь со скрипом закрывается.

Тащится обоз. Проходят черные после боя партизаны.

Бредут женщины, тащат детей. Проходят усталые, безразличные ко всему люди.

Старуха устала нести большую, в кованом окладе, икону. Она отходит, ставит ее под дерево и, перекрестившись, уходит, смешивается с другими людьми.

Лазарев и полицай бредут за телегой. Митька идет сзади, сворачивает сигарку. Потом прикуривает у лежащего на телеге раненого. Пока прикуривает, отстает. Полицай косится на Митьку.

Затем прыгает в сторону за телегу, скатывается вниз по холму в лес, в туман.

– Сто-ой! – отчаянно кричит Митька. Скидывает винтовку, стреляет.

Полицай петляет между кустами, исчезает в тумане.

Смотрит Лазарев. Он понимает, чем может грозить бегство полицая.

Митька стоит в стороне от дороги и в ужасе бессмысленно палит в туман. Подходит Петушков. Он без шапки. Шинель разорвана. Одна рука на перевязи. Петушков резко пригибает вниз ствол Митькиной винтовки.

– Раззява! – бешено орет Петушков.

Митька стоит по стойке “смирно”, замерев, боится что-либо ответить.

– Где второй?

– Туточки... Во-он стоит, – заикаясь





Петушков – Анатолий Солоницын, Локотков – Ролан Быков

говорит Митька, показывая на Лазарева.

Лазарев ссутулившись стоит на холме выше Петушкова и Митьки.

Мимо телег быстро проходит Локотков.  
– Поехали, чего стали?! – распоряжается он. – По-ехали...

Телеги трогаются. Локотков спускается к майору и Митьке. Теперь все трое стоят ниже дороги, и одинокая, ссутулившаяся фигура Лазарева видна на холме за их спинами.

– Вот что, – Петушков решительно смотрит на Митьку. – Второго отведешь в сторону – и в расход... Спокойней будет...

Митька топчется на месте, испуганно смотрит на Локоткова.

– Что уши развесили? – спрашивает Петушков.

Он смотрит на перепуганного Митьку.  
– А, черт! – и майор поворачивается, идет к дороге.

– погоди, – останавливает его Локотков. – погоди в расход, Игорь Леонидович... Я с ним еще не разобрался...

– некогда с ним канителиться, Иван. туман какой – сбежит, не заметишь.

– Не сбежит.

– Ты что, честное слово полиция с него

взял? – зло прищуривается Петушков. Вот-вот вспыхнет ссора.

– Я с ним еще не разобрался, – упрямо повторяет Локотков.

– Он... это... – вдруг решается Митька. – Он у меня тогда винтовку отнял, а потом сам отдал...

– Когда отнял? – не понял майор.

– Когда я его в лесу встретил. А мог убить... – Митька с надеждой смотрит на Локоткова.

– Хорош боец, у которого винтовку отнимают, – майор свирепо смотрит на Митьку и Локоткова. – Черт с тобой, разбирайся.

Митька улыбается. Майор замечает эту улыбку, гаркает уже больше "для порядка":  
– Глаз с него не спускай! Если что... башку оторву.

– Есть! – Митька поворачивается, бежит по холму к Лазареву.

**Б**егут усталые люди. Ташится последняя телега. На ней расчехленный пулемет-"максим". К телеге привязано мятое ведро.

Под деревом стоит оставленная икона. Начинает идти снег. Снег падает на икону, замечает святой лик Николы Угод-

ника. Глаза святого строго и неприступно смотрят...

– А что, Лазарев, кроме как через КП на станцию никак не пройти?

– Не знаю. Нет, наверное... Туда ведь продовольствие со всей округи свозят...

– Это мне и без тебя известно. Ну а ты, к примеру, смог бы пройти к эшелону?

– Смог бы...

– Почему? Чем ты такой особенный?

– Ну, меня многие из постовых в лицо знают...

Открывается дверь. В землянку входит Птуха, сваливает в углу охапку дров. Выходит.

– А как же ты все-таки из Карнаухова смылся? – продолжает допрос Локотков.

– Отпуск мне дали. Я взял билет до Пскова, потом сошел с поезда.

– Ну, предположим, ты, Лазарев, завтра в Карнаухово вернешься. И все там у тебя тихо-гладко будет? – Локотков опять подсаживается к Лазареву.

– Я туда не вернусь, – качает головой Лазарев.

– Почему?

– Предателем жить не смогу. Лучше расстреляйте.

– Раньше-то мог?

– Сломался я... Жить хотелось... – Лазарев с трудом подбирает слова. – Я и сейчас жить хочу... Мне теперь жизнь нужна, чтобы перед людьми оправдаться...

Локотков смотрит на Лазарева. Сколько людей он встречал за эти бесконечные два года войны, вот таких, с изломанными судьбами. Одним можно поверить, другим нет. Как угадать?

– Нужно мне жизнь сначала начать... Имеет человек право один раз сначала начать? Если с первого раза осечка в жизни получилась? – Лазарев смотрит Локоткову в глаза.

От удара топора раскалывается толстое полено. Соломин берет разрубленное полено, бросает в огонь.

Костер горит в яме под большим закопченным котлом. Это партизанская кухня. Около котла выстроилась длинная очередь – беженцы. Повар, бородатый сумрачный партизан, разливает в миски и котелки жидкие щи. Вдоль очереди идут Инга и Лазарев. За ними – конвоир с винтовкой. Подходят.

– Приказано накормить, – говорит Инга. Повар перестал разливать щи, уставился на Лазарева.

– Тут людям не хватает...

– Приказ Ивана Егорыча, – сухо повторила Инга.

Повар еще больше мрачнеет, берет с кучи бревен миску, плескает туда щей, не глядя протягивает Лазареву. Лазарев берет миску двумя руками, отходит в сторону. Стоит, не зная, что делать, – нет ложки.

Молча смотрят беженцы. Никто не предлагает Лазареву ложку. Угрюмо смотрит Соломин.

Лазарев подносит миску к губам, начинает жадно пить щи.

Инга отворачивается от Лазарева. Говорит Соломину, который стоит рядом:

– Виктор, дай ему ложку...

– Ложку?! – бешено переспрашивает Соломин. – Может, ему и водочки еще поднести? – Он стремительно подходит к Лазареву и ударом кулака вышибает из его рук миску, подносит к глазам лезвие топора. – А этого не хочешь?

– Виктор! – кричит за его спиной Инга.

Но Соломин даже не смотрит в ее сторону.

– Не я тебя в лесу встретил, шура! – цедит он сквозь зубы.

Лицо и шинель Лазарева залиты щами.

– Жалко, не встретились, – вдруг отвечает Лазарев, в упор смотрит на Соломина.

Секунду они смотрели друг на друга. И Соломин не выдерживает. Ярость захлестывает сознание. Он бьет Лазарева в живот. А когда тот сгибается от удара, в лицо.

Конвоир стаскивает с плеч винтовку, не знает, что с ней делать.

Подскакивает повар. Обхватывает Соломина своими ручищами, оттаскивает в сторону.

– Жалостливая, – хрипит Соломин, обращаясь к Инге.

Он пытается вырваться из железных объятий повара.

– Охладись ты, Витюша. Остынь малость, – гудит басом повар.

Молча смотрят беженцы.

Счастливо улыбается худенький мальчик – бют немца. На их плане голос Соломина:

– В Калошине каратели баб в школе пожгли... Вешать их, подлюг!

– Немедленно прекратить! – раздается громкий голос Петушкова.

Беженцы поворачивают головы.

Майор и еще один партизан подходят к кухне. Останавливаются рядом с Соломиным. Повар отпустил Соломина, и теперь тот стоит перед майором опустив голову, поправляя телогрейку.

– Что произошло? – спрашивает майор.

Лазарев сидит на земле. Ладонью вытирает разбитый рот. Встает и тихо бредет прочь. Конвоир закидывает за плечо винтовку, идет следом.

– Бить морды арестованным много храбрости не надо. Явишься к Локоткову – обо всем доложишь, – холодно говорит Петушков.

– Есть, обо всем доложить.

За столом сидят двое донельзя исхудавших, заросших старой щетиной партизан. Один из них смущенно улыбается, другой, потупившись, сворачивает самокрутку.

– Прямо голодающее Поволжье, – слышен голос Локоткова. – На вас глядя, человек с тоски запить может...

Локотков несет к столу невиданные богатства. Вываливает их на стол. Это буханка хлеба, банки консервов.

– Вот, – говорит Локотков. – Будете есть и спать, други-товарищи. Как на курорте... Еще картошка будет, мороженая, правда... Мне нужно, чтобы вы на фрицев были похожи... А фашист нынче налитой, розовый...

Один партизан продолжает улыбаться, другой с мрачным недоверием рассматривает консервы и хлеб.

– Давай наваливайся, – весело говорит Локотков.

Партизаны не решаются начать есть. Смотрят на Локоткова.

– А вы, Иван Егорыч? – с сильным акцентом спрашивает высокий.

– Мне не положено, – отвечает Локотков и отходит к окну.

Отворачивается, стараясь не смотреть. Партизаны едят так, как могут есть только давно голодающие люди. Второй пар-



Лазарев – Владимир Заманский

тизан переглядывается с высоким, осторожно берет нераскрытую банку сардин, сует ее за пазуху. Резко поворачивается Локотков.

– Положь, – хрипло говорит он.

Увидев лицо Локоткова, партизан испуганно привстает из-за стола.

– Да я ребятам хотел, – смущенно говорит он.

– Положь!

Партизан, пожимая плечами, кладет банку на стол.

– Есть будете только вы, уразумели? – уже спокойнее говорит Локотков. – За эти сардины Семен Панков погиб из первой роты... Может, знакомы были?

**Н**изкая дверь землянки открывается. Входит Соломин.

– Вызывали, Иван Егорыч? – громко спрашивает он и замолкает, уставившись на стол и на жующих партизан.

– С нынешнего дня будешь питаться вот... с товарищами, – говорит Локотков. – Силенок будешь набираться.

Локотков подходит к дверям, снимает с гвоздя телогрейку, начинает одеваться.

– Да я и так не жалею, – усмехается Соломин.

– Во-во! С арестованным драться, – бурчит Иван Егорыч, – на это много сил не надо.

Он застегивается, надевает шапку.

– А за что это мне такая честь? – чуть сконфузившись, спрашивает Соломин.

– В свое время узнаешь.

Локотков выходит. Низкая дверь захлопывается.

**С**нежное, уходящее вдаль шоссе. По шоссе тащится одинокий возок. На возке – женщина с детьми. Та, что жила в брошенной деревне и ушла за партизанами. Мимо возка в туче снежной пыли проносятся немецкий мотоциклист. Оборачивается, потом резко тормозит. Лицо немца замотано шарфом, а большие автомобильные очки закрывают остальную часть лица. Немец растирает окаменевшие колени, идет к бабе. На ходу вытаскивает из ножен широкий солдатский кинжал.

– Комм, – говорит немец. – Комм.

– Господи, – всхлипывает женщина. Она продолжает сидеть, обняв детей.

– Комм! – немец машет ножом.

Женщина слезает с возка. Немец подсакивает к ней и быстро срывает с нее овчинный тулуп, потом, размахивая кинжалом, отрезает от тулука рукава.

Испуганно смотрят дети.

Немец натягивает рукава на сапоги. Бросает остатки тулука бабе.

– Гут, – удовлетворенно говорит немец, хлопает себя по коленям, с улыбкой подмигивает бабе и на негнущихся ногах уходит к мотоциклу.

Взревев мотором, мотоциклист уезжает.

**С**апоги обвязаны соломой. Шинель, пуховый платок вокруг шеи. Из-под платка торчат только нос и очки. Очки у этого немецкого солдата запотели, и от этого глаза кажутся большими, как у совы. Немец стоит у шлагбаума. Он с ужасом смотрит.

Из трубы колонки вода течет в ведро. Рядом с ведрами ноги, в калошах на босу ногу. Мужичонка в пиджаке с непокрытой головой, а под пиджачком и вовсе ничего нет – голая грудь. Мужичонка размашисто, с ходу хватая полные ведра и, дыша клубами пара, бежит мимо немца. Поравнявшись с немцем, мужичонка весело подмигивает:

– И-и-эх, ваше благородие!

Немец смотрит вслед мужику. Потом его отвлекает звук подъехавшей телеги. Немец поворачивает голову.

К шлагбауму подъезжает возок. Возком правит баба в тулупе без рукавов. Баба кое-как обмотала руки драным платком.

– Аусвайс, – подходя, приказывает немец.

Женщина растерянно смотрит на немца.

– Аусвайс, – повторяет немец.

Мужичонка ставит ведра на землю и бежит к возку.

– Сродственница это моя из деревни. Ко мне это, ко мне... Вишь, детишки как замерзли... – тараторил мужичонка.

– Я, я, – кивает головой немец.

Он снова с ужасом смотрит... на голые руки бабы, которые видны из-под сползшего платка, на ноги мужика в калошах на босу ногу.

**К**артина “Три богатыря”, нарисованная самодеятельным художником. Женщина

сидит на лавке под картиной. Дышит на окоченевшие руки. Мужичок задумчиво смотрит в окно, дымит сигаркой. В глубине, у печки, греются дети.

– Иван Егорыч просил узнать, когда пойдет новый эшелон с продовольствием. И еще просил узнать, кто такой Сашка Лазарев – бывший лейтенант, – негромко говорит женщина.

В окне видно, как приплясывает у КПП укутанный платком немец.

– Голод в отряде, – слышен голос женщины.

– Знаю, – помрачнев, говорит мужик. – На станцию не пройти... Вот беда. – Он глубже затягивается дымом. – В общем, передай – стараться будем.

Женщина в черном платке вносит самовар. Молча ставит на стол.

– А блинцов испечь не можешь? – сварливо осведомляется мужик. – Сами ели, а гостям пустого чаю, или у немцев выучилась?

– Да не ори ты, – урезонирует его женщина и проходит в другую комнату к буфету. – Лучше нагишом по улице бегай.

– А что? – веселеет мужик. – Я как пробегу, им еще холоднее становится. – Мужик снова смотрит на женщину: – И еще передай: завтра через Карнаухово эшелон пойдет на фронт.

– Передам, – тихо отвечает женщина.

Черные рельсы уходят вдаль по заснеженному полотну. На шпалах, раскинувшись, лежит немецкий солдат.

Стекла очков припорошены мелким снежком, который не тает.

Поперек рельса, скрючившись, лежит другой немец. Шерстяной шарф на его шее размотался. Чья-то нога сталкивает его с рельса. Два партизана волокут тяжелый деревянный ящик со взрывчаткой. Теперь виден весь железнодорожный мост, его ажурные переплетения, сторожевая будка, колючая проволока, которой обнесены подходы к мосту.

Еще двое партизан, сгорбившись, волокут тяжелый ящик.

Соломин карабкается по перекладине моста, тянет за собой шнур, зажатый в зубах.

– Скорее, елки-моталки, – хрипит подрывник Ерофеич, подкапываясь под рельс

саперной лопаткой. – Скорее, мать вашу так!

И вместе с ругательствами изо рта вырывается белый пар.

Мост висит над черной, еще не замерзшей рекой. Все вокруг бело, черные только каркас моста и вода.

Петушков стоит рядом с Локотковым, придерживая раненую руку, висющую на перевязи. Они стоят в кустах на заснеженном обрыве, смотрят на мост.

Позади, в ложбине, стоят лошади и телеги. На одной из телег сидит толстый коротышка немец. Рядом – партизан с винтовкой. Сапога на одной ноге у немца нет. Немец задрал штанину и обеими руками обхватил трясущуюся в нервном тике ногу, согнутую в колене. Немец молчит, смотрит на разбитое колено, и вместе с ногой трясутся голова и плечи.

– Упустит эшелон, черт! Медленно копаются, – морщится Петушков.

– Ящички тяжелые.

– Говорил я Ерофеичу – надо ящички меньше делать... – сокрушается Локотков.

И вдруг какие-то странные заунывные звуки врываются в чуткую лесную тишину. Было непонятно, откуда они. Иван Егорыч беспокойно вертит головой и несколько мгновений спустя видит... Из-за черного поворота выплывает небольшой буксир. Он слабо дымит. За буксиром выплывают две длинные плоские баржи.

Настороженно смотрят Локотков и майор. Локотков чуть проходит по кустам, чтобы лучше видеть буксир. Потом оглядывается на мост.

Соломин с проводом в зубах выбирается на настил моста, быстро подтягивает провод Ерофеичу. Продолжая работать, оба с тревогой посматривают на буксир.

Винт буксира взбивает черную воду, подламывает тонкий ледок.

На обледенелой корме – полусбитое название “Александр Пушкин”. На корме буксира – установленная на турели скорострельная пушка. К ней привалился немецкий солдат в стальной каске и тулупе.

На палубе баржи плечом к плечу сидят на корточках люди. Они обхватили руками плечи, стараясь согреться. Большинство людей в гимнастерках. Редко на ком драчная шинель. Пилотки, шапки-ушанки, просто обнаженные бритые головы. Лица,

лица, лица... Разные, но с одинаково потухшими глазами, с одним и тем же выражением обреченности и равнодушия ко всему на свете. Камера поднимается, и теперь видно, что люди заполняют все баржи. Что их тысячи, этих людей.

Немец в черной эсэсовской шинели с ведром в руке идет вдоль борта баржи. Проходит мимо пулеметов и укутанных немецких солдат. Выходит на широкую корму баржи. На корме стоит сооружение – нечто вроде дощатого домика. Перед этим домиком тлеет маленький костерчик, греются немцы. У домика на ящике стоит патефон. Один немец подкручивает завод, остальные слушают грустную, нескончаемую мелодию вальса. И опять перед камерой проходят лица пленных. Худой, всклокоченный узбек сидит, раскачиваясь, как на молитве. Человек в разбитых очках. Старые, молодые, изможденные, усталые лица...

Смотрят, потрясенные этим зрелищем, Локотков и майор.

– Пленные, – тихо говорит Локотков.

– Э-э-эх, бедолаги!

Петушков глотает внезапно возникший в горле комок.

– Чего заслужили, то и получили, – хрипло говорит он. – Даже бежать не пытаются. Как баранов везут. – И он жестко и горько усмежается.

– Мост, мать честная! – вдруг охает Локотков.

Петушков поворачивается к нему.

– Они ж под мостом будут, когда эшелон пойдет.

– погоди, не паникуй. Может, они проскочить успеют.

Они умолкают, смотрят на ползущие баржи. Оба начинают понимать весь трагизм положения.

Баржи ползут, медленно приближаются к мосту.

Через поручни моста партизаны видят ползущие к мосту баржи.

Тревожные лица партизан, лежащих на мосту.

– Не успеют ни в жисть, – сплевывает Ерофеич.

– Не каркай, старый, – злится Соломин.

– Накаркаешь.



– Аккурат под мостом окажутся, – упрямо повторяет Ерофеич.

Через пулемет на корме и спины эсэсовцев видны все баржи, дымящий буксир и медленно, неотвратно приближающийся мост.

Пленные – сидят все в той же равнодушной позе, глядя прямо перед собой.

Небритые, измученные, серые лица. Их потухшие глаза смотрят, кажется, в глаза Локоткову. Локотков смотрит на баржи. В этот момент доносится далекий протяжный гудок паровоза.

Локотков резко поворачивается к стоящему сзади ординарцу.

– Птуха, – решительно командует он, – живо дуй к Ерофеичу, скажи, взрыв отменяется...

– Как – отменяется?! Ты что-о?! – кричит Петушков.

– А что делать?

– Взрывать!

– А пленные?

– У тебя приказ! – глаза Петушкова медленно наливаются свинцом.

Иван Егорыч не знает, что ответить. И неожиданно орет на Птуху:

– Тебе что, уши законопатило?!..

Птуха поворачивается, бежит к мосту.

– Назад! Не сметь! – раздается металлический голос Петушкова.

Птуха останавливается, не зная, что ему делать.

– Там люди, Игорь Леонидович... Наши люди... – говорит Локотков.

Петушков шагает к Локоткову, вплотную, дышит злобой в лицо:

– Куда идет эшелон, ты знаешь? На фронт. А что он везет, ты знаешь? Танки и тяжелые орудия, боеприпасы... А ты-ы, мокрица!

– Но там же люди... Игорь Леонидыч... Больше тыщи русских людей...

– Пленных! – кричит майор.

– Да, пленных. От этого никто не застрахован.

– Мой сын был сбит под Смоленском, – Петушков тяжело выговаривает слова. – Самолет горел. Он мог выпрыгнуть и теперь сидел бы на барже. Вот как эти... Но он выбрал другое, он врезался в колонну танков, понимаешь ты это?

– Понимаю. Но у многих из них не было возможности врезаться в колонну... К нам

в лес бегут пленные, ты сам видел, как они воюют... Это же не последний эшелон. Пойдет еще...

Вдруг спокойно говорит Петушков:

– Не взорвешь – пойдешь под трибунал, слово коммуниста.

Петушков поворачивается, отходит. Локотков стоит у дерева. Потом садится на пень, сцепив руки.

Баржи, неотвратно влекомые буксиром, подходят к самому мосту.

Мост нависает над баржами. Закрывает небо.

Тень моста начинает надвигаться на лица пленных. Лица темнеют, потухают.

Смотрят партизаны.

Локотков сидит, опустив голову. Не смотрит на баржи. На его плане – резкий, пронзительный гудок поезда, который уже совсем близко.

Локотков вскакивает и бежит к мосту, проваливаясь в снег, хромя.

– Стой! – кричит Петушков и хватается здоровой рукой за пистолет. – Иван, стой! Стрелять буду!

Локотков бежит не оборачиваясь. Петушков бежит за Локотковым, ударяется о дерево раненой рукой. Со стоном, скорчившись садится на землю.

Ошалевший Птуха стоит на месте, не зная, что делать.

Стремительно летит паровоз. На него стремительно надвигается железнодорожный мост.

Тень моста надвигается на новые и новые лица пленных, как будто смывает их.

Лицо Ерофеича. Воротник гимнастерки расстегнут. Мокрое от пота лицо Соломина. Он дует на озябшие пальцы. Потом рука застывает на рычаге взрывателя.

Ковыляет по снегу Локотков. Машет рукой.

– Стой! – кричит он. – Не взрывать, стой!

Его крик тонет в грохоте летящего поезда.

Паровоз с ревом летит к мосту.

– С богом! – хрипло говорит Ерофеич.

– Сколько народу! Ай-яй-яй!

В эту секунду над его головой раздается отчаянный крик Локоткова:

– Не взрывать! Стой!

Локотков кубарем скатывается по снежному откосу, схватившись за взрывную машинку, рывком отсоединяет клеммы.

В ту же секунду состав взлетает на мост. В тучах снежной пыли летят платформы, проплывают танки, тяжелые орудия.

Прогибаются рельсы под колесами поезда. Под рельсой – коробка с толом и идущие от нее провода.

Проскакивает последний вагон. Баржа с военнопленными тихо выплывает из-под моста. Люди так же окаменело сидят на корточках, так же разносится в воздухе печальная мелодия вальса.

**С**пина Локоткова в вылинявшей гимнастерке. Локотков сидит в закутке будана, отделенном занавеской от остальной части большой, уставленной нарами землянки. Сидит, навалившись на стол. Курит, слышит негромкие разговоры партизан.

– Врач говорит, что рябину надо есть... В ней, говорит, витаминов много...

– Не могу я ее есть, – отвечает другой голос. – Я на нее гляжу, и мне удавиться хочется...

– До войны были витамины так витамины, – встречает еще кто-то, – “це” назывались... Сальце, маслеце...

Кто-то подбирает и подбирает на гармошке одну и ту же музыкальную фразу.

Локотков устало трет лоб, встает, подходит к занавеске. Зовет негромко:

– Птуха!

В углу землянки на ящике сидит немецкий солдат, который был взят в плен на мосту.

– Ир наме? – слышен голос Инги.

Солдат открывает рот, силится что-то сказать, но не может.

– Ир наме? – повторяет Инга.

Локотков сидит в углу, прикрыв глаза. У входа в землянку дремлет Птуха.

– Он что, немой, что ли? – спрашивает Локотков.

– Это у него нервный шок, – отвечает Инга. – Совсем говорить не может, даже имя свое забыл.

– Ну вот что, – Локотков подходит к немцу. – Ты ему передай, Инга: или у него этот нервный шок кончится и он по делу говорить будет, или мы свою гуманность на после войны отложим. – Он поворачивается к Инге: – Да с выражением переведи, а то ты сидя спишь.

Локотков отходит, садится на скамейку рядом с Ингой.

Немец еще раз открывает как рыба рот, потом вдруг произносит длинную немецкую фразу. Он все время пытается отыскать на мундире оторванную пуговицу.

– Что он лопочет? – спрашивает Локотков.

– Просит его не расстреливать... – переводит Инга. – У него четверо детей. Говорит, что он мирный человек... До войны работал агрономом...

– Агроном? – удивляется Локотков. – Подишь ты... Коллега, значит.

Теперь немца прорвало, и он говорит захлебываясь, не останавливаясь. Инга переводит:

– Он говорит, что он больной, что у него больная печень, что двадцатого его обещали отправить на лечение в Словакию...

– Лечиться теперь, коллега, будешь в другом месте, – перебивает его Локотков.

– А почему двадцатого? Их что, сменить собираются?

– С восемнадцатого, – объясняет немец и переводит Инга, – гарнизон на станции будут сокращать... Кого на фронт, а некоторых в тыл, на отдых. Последний большой эшелон с продовольствием пойдет в Германию восемнадцатого числа. И надобность в большом гарнизоне...

– Так, – говорит Локотков. – Спроси, это он точно знает?

Немец продолжает взволнованно говорить. Он опять пытается застегнуть мундир на несуществующую пуговицу.

– Это ему сказал писарь из комендатуры, – переводит Инга. – Инструкция выполнена, все продовольствие у населения изъято...

– И без него хорошо знаем! – перебивает Локотков. – Число-то нынче какое?

– Пятнадцатое, – отвечает Инга.

**И**з люка в полу чердака появляется голова Соломина.

– Инга, – приглушенно зовет он. – Ты здесь, Инга?

Потом Соломин вылезает весь. Открывается весь чердак. Стены в ключьях застарелой паутины, пыльные грабли, косы. Инга лежит на охапке соломы, курит. Соломин стоит, всматривается, пока глаза не привыкают к темноте. Потом подходит к Инге.

– А я думал, тебя нет.

Инга продолжает молча курить. Смотрит в сторону.



– Извини, Инга.

– Уходи.

Соломин молча нагибается, кладет рядом с девушкой свернутый ватник, ложится.

– Ты не указывай, – бормочет Соломин.

– Это наш общий чердак.

Инга приподнимается, берет телогрейку, собирается уходить.

– Ну, подожди, – Соломин хватается за руку. – Ну че ты, ей-богу, как дитя малое, из-за какого-то полицейчика.

– Из-за тебя, а не из-за полицейчика, – холодно отвечает Инга и пробует выдернуть руку. – Ты, как этот майор из штаба бригады, только грубее.

– Где уж нам, – криво усмехается Соломин. – Институтов не кончали, пахали с детства.

– Пусти, – Инга дергает руку, но Соломин не отпускает.

– Ну ладно, не сердись...

Соломин притягивает ее к себе, пытается поцеловать. Инга не дается. Соломин вздыхает, валится на спину.

– Прости, Инга... И верно, злой стал. Хуже хорька какого. А раньше в воробья из рогатки пульнуть не мог. Меня почему злость берет... Пришел этот Лазарев, покаялся, с него и взятки гладки. А слова теперь копейки ломаной не стоят... Вот... – неожиданно говорит он. – Я тут принес.

Соломин достает горбушку хлеба. Инга смотрит на хлеб.

– Откуда это, Витя? – удивляется Инга.

– Да есть одно такое место, – весело хмыляется Соломин.

Инга ест хлеб. Они лежат рядом, молчат.

– Витя, – говорит Инга. – Давай пожевимся, а? Пойдем к Локоткову, скажем, чтоб расписал...

– Ни к чему это, – улыбнулся Соломин.

– Ты после войны обратно в Ленинград уедешь... Я на трактор сяду... Разные мы с тобой люди, разве я не понимаю... Да и бабник я к тому же...

Инга приподнимается на локте и насмешливо смотрит на Соломина.

– Ба-абник, – тянет она с улыбкой. – А целоваться не умеешь. Разве так целуются? Хочешь научу?

Ее губы осторожно прикоснулись к губам Соломина. Они целуются. Камера отъ-

езжает от них. Прямо над их головами висят грабли, косы и автомат.

– Красивая ты, Инга, – шепчет Соломин. – Образованная, умная.

Инга тихо смеется, спрашивает счастливым голосом:

– Ну и что, ну и что?

Внизу скрипит дверь, шуршат шаги. И голос Птухи зовет:

– Соломин!

Соломин молчит. Внизу начинает скрипеть лесенка, и снова голос Птухи:

– Витька, ты тута?

– Тута, тута, – огрызается Соломин. – Чего надо?

– Локотков требует, – виновато говорит снизу Птуха.

**П**о сухой каменистой дороге не быстро идет немецкий танк. Перед ним бежит длинная колонна людей в гимнастерках. Не слышно шарканья сапог и лязга гусениц. Только пронзительный звук, незатихающий, похожий на звук автоматической пилы, когда она пилит бревно.

Колышется тупое рыло танка.

Плывут дорожки блестящих широких гусениц.

Ствол танка раскачивается над головами людей.

Нависает над их спинами, грозя вот-вот раздавить.

Бежит Лазарев. Он уже не может больше бежать. Пот застилает глаза. Он начинает отставать. Люди обгоняют его.

Перед Лазаревым мокрые от пота гимнастерки, стриженные затылки, худые грязные шеи.

Лазарев оглядывается, с ужасом видит... все ближе и ближе нависающее брюхо и сверкающие гусеницы танка.

**Г**усеницы надвигаются, растут, закрывают небо.

– Вставай... Эй, ты, вставай!

На лице спящего Лазарева вспыхивает яркий свет электрического фонаря. Лазарев спит на нарах, положив под голову сложенную шинель. Он с трудом открывает заспанные глаза и сразу закрывается ладонью от света.

Теперь в неярком свете догорающей печки, сделанной из железной бочки, виден Соломин с фонарем. Его хмурое



Ерофеич – Федор Одинок, Соломин – Олег Борисов

лицо и колючие глаза. Автомат на плече.

– Пошли, – говорит Соломин.

– Куда? – хрипло спрашивает Лазарев.

– Куда надо... – угрюмо отвечает Соломин.

Слышно, как кто-то стонет, кто-то надсадно кашляет во сне.

Лазарев поднимается, торопливо наматывает портянки, натягивает сапоги. И снова смотрит в глаза Соломину:

– Куда идти-то?

**На** пустой дороге змеится поэмка. Встает солнце, бледное от мороза. В стороне от дороги, укрывшись от ветра за холмиком, притулились, зарывшись в снег, Ерофеич и Соломин. Чуть в стороне – Лазарев. Он молчит, смотрит прямо перед собой. Соломин косится на Лазарева.

– Ты откуда родом? – спрашивает он.

– Что? – очнулся от своих раздумий Лазарев.

– Родом, говорю, откуда?

– Ленинградец я, коренной.

– Значит, с нашей переводчицей земляки будете, – усмехается Соломин. – А работал кем?

– Таксист я. Людей возил...

Больше спрашивать нечего. Соломин замолкает. И тогда становится слышен далекий звук мотора.

– Ну вот, – медленно говорит Соломин.

– Значит, выходишь и голосуешь...

– Знаю, – перебивает его Лазарев.

– Тогда давай.

Соломин берет со снега автомат. Протягивает его Лазареву. Тот встает, закидывает автомат, идет к дороге.

– Эй! – зовет его вслед Соломин.

Лазарев останавливается.

– Если что, учти... стреляем сразу. Так что не вздумай...

– Не вздумая, – Лазарев поворачивается, идет к дороге.

На дороге появляется мотоцикл с коляской. Лазарев выходит на обочину, поднимает руку, голосует. Мотоцикл приближается. Теперь видно, что в нем сидят двое немецких автоматчиков, покрытых

инеем, закутанных с ног до головы. Даже лица замотаны обледенелыми шарфами. На коляске установлен пулемет.

Немец, который сидит в коляске, вытаскивает руки из рукавов. Кладет их на турель пулемета.

Лазарев начинает идти к немцам, щурясь от ветра.

Немцы ждут. Тот, кто сидит в коляске, по-прежнему держит руки на турели пулемета. Другой что-то громко кричит Лазареву.

Лазарев в ответ машет рукой, продолжает идти к мотоциклу.

С холмика, за которым лежат Соломин и Ерофеич, видна дорога, мотоцикл и Лазарев, который идет к мотоциклу.

– Зря это, – Ерофеич поворачивает голову к Соломину. – Ей-богу, зря. Убить его могут.

– Соловья баснями не кормят, – Соломин рукавом счищает снег с пулеметного диска. – Пусть на деле покажет.

Лазарев по-прежнему идет к мотоциклу. Кажется, он никогда не пройдет эти метры.

С точки зрения Лазарева приближается мотоцикл, немцы, дуло пулемета. Немцы внимательно следят за Лазаревым. Тот, который сидит в люльке, снова что-то нетерпеливо кричит.

Лазарев машет рукой и бежит. Потом выхватывает из-за пазухи пистолет и стреляет два раза.

Пуля попадает в того, который сидит у пулемета. Немец обмяк. Его голова беспомощно сваливается набок. А тот, что сидел в седле, падает на дорогу, срывает автомат, дает очередь и скатывается в придорожную канаву.

Лазарев скатывается в противоположную канаву.

Немец из своей канавы дает длинную очередь по обочине канавы, в которую скатился Лазарев.

Пули сбивают фонтанчики снега по обочине дороги.

С холма, на котором сидят Соломин и Ерофеич, отчетливо видна канавка, из которой стреляет немец, и сам немец, ведущий огонь. Ерофеич поднимает автомат. Соломин рукой прижимает ствол автомата к снегу.

– Спокойно, дядя Ерофей, – холодно

говорит Соломин. – Пусть он сам с ним управится.

– Зря это. Ей-богу, зря, – опять повторяет Ерофеич.

Лазарев пытается подняться, но автоматная очередь бьет по обочине. Тогда Лазарев сползает вниз по канаве, сует в рот изъязвившие пальцы.

Пусто на дороге. Посреди двух обочин стоит мотоцикл с убитым немцем в коляске. Мотор тихо работает.

Немец в своей канаве судорожно меняет рожок автомата. Потом высовывается и, непрерывно стреляя по обочине, за которой скрывается Лазарев, идет к мотоциклу. Он перестает стрелять только в момент, когда садится в седло. Лазарев поднимается из своей канавы, дает очередь. Немец медленно валится. Лазарев выходит на дорогу, бредет к мотоциклу. Тяжело опускается на седло. Механически выключает двигатель. В наступившей тишине становится слышно, как...

...Из пробитого пулями бензобака бензин струей течет на дорогу, рассыпается брызгами у лица мертвого немца.

Похрустывая валенками по снегу, идут Соломин и Ерофеич. Выходят на дорогу, подходят к сидящему на мотоцикле Лазареву.

– Немец-то к вам ближе был, – устало поднимает голову Лазарев. – Чего не стреляли?

– Ну-ка, помоги... – говорит вместо ответа Соломин.

Вдвоем они поднимают убитого немца, лицом вниз кладут его на седло мотоцикла. Ерофеич быстро и четко прилаживает к мотоциклу мину. Привязывает шнурок от запала к ремню немца.

Лазарев и Соломин наблюдают за работой Ерофеича.

– А ты, поди, опять напугался, – спрашивает с привычной улыбкой Соломин Лазарева. – Ты всегда такой пугливый?

– А ты храбрый?

– Ну, храбрый не храбрый, а в плен к фрицам не попадал, – с вызовом говорит Соломин.

– Война не завтра кончается, – устало отвечает Лазарев.

– Она и началась не вчера.

– Готово, – говорит Ерофеич. – Сработает, как в аптеке...

Ерофеич идет к обочине. Соломин и Лазарев поднимают оружие. Идут за ним.

– Ну, гансики, – весело говорит Соломин. – Прошу к нашему шалашу.

На бревенчатой стене висит черная эсэсовская фуражка с черепом. Шинель аккуратно повешена на распялку. Внизу на доске – деревенский утюг, солдатская кружка с водой.

– Инспекционспостенконтролле, – твердит мужской голос.

– Контролле. Короткое “о”, – поправляет женский голос. – Теперь вы...

Руки сапожным шилом делают на груди черного эсэсовского мундира аккуратную дырочку, прилаживают к нему немецкий железный крест. Это Локотков. Он работает в углу землянки, слушает одну и ту же бесконечно повторяющуюся немецкую фразу, морщится.

– Ни к чертям не годится, – неожиданно говорит он и встает. – Ну какие это гитлеровские людоеды? Срамота.

Теперь открывается вся землянка. На лавках сидят двое. Один в полной эсэсовской форме. Другой в кубанке, черных брюках и натальной рубаше, без сапог. За столом восседает Инга.

– Он говорит вполне сносно, – обижается Инга.

– Я немецкий знаю с детства, – говорит высокий. – У нас, в Эстонии...

– Погоди ты с Эстонией, – перебивает его Локотков. – Ну как ты говоришь?! Никакого звериного блеску в глазах... Ты свирепость изображай, друг-товарищ. Василий, ну-ка, давай ты, – он поворачивается ко второму партизану.

Василий выпрямляется, произносит с ужасающим акцентом.

– Инспекционспостенконтролле.

– Видал? – упавшим голосом говорит Локотков эстонцу.

Инга сидит обхватив голову руками, потом устало произносит:

– Господи, если он только откроет рот... Вы уж лучше занимайтесь своими делами... Иван Егорыч.

– Да, брат... Выговор у тебя того... – смущенно соглашается Локотков.

– В школе пятерка была, – обижается Василий.

– Нет уж, ты, брат... того... Ты там

рта не разевай. Твое дело – паровоз...

– Я сейчас среди друзей. Я очень хорошо поел, и у меня не получается свирепость, – начинает оправдываться эстонец. – Вот когда я ушибу фашистов... О, тогда все будет хорошо...

– Иван Егорыч, – обращается Василий к Локоткову. – А кто еще с нами пойдет?

– Не лезь поперек батька в пекло, – бурчит Локотков. – Узнаешь.

– Прошу вас, – говорит Инга эстонцу. – Инспекционспостенконтролле.

Эстонец повторяет.

– Еще раз, – просит Инга. – Повнимательней, пожалуйста.

– Инспекционспостенконтролле.

По дороге едет черный “оппель”. За ним в нескольких метрах – мотоцикл с двумя автоматчиками.

“Опель” переваливается на ухабах, но едет быстро. Он останавливается, не доехав до подбитого мотоцикла метров десяти. Открывается дверца, и на дорогу выбирается небольшого роста офицер в шапке с черными меховыми наушниками. За ним еще один офицер и шофер. Они переговариваются между собой, потом идут к скрюченным трупам на мотоцикле. Мотоцикл, сопровождающий машину, тоже останавливается. Автоматчики бегут к “оппелю”.

Офицер переворачивает мотоциклиста, лежащего на седле лицом вниз, и в эту секунду взрывается мина, потом другая.

Длинной очередью, ворочая стволом, стреляет Соломин. Трассирующие пули летят к машине. В дыму видна фигурка немца, в которого попадают трассирующие пули. Немец падает.

Стреляют из автоматов Лазарев и Ерофеич.

На дороге стоит пустой мотоцикл. “Опель” с распахнутыми дверцами. Шофер успел влезть в машину, но пуля достала его. Оба офицера лежат на дороге. А солдаты, ехавшие на мотоцикле, стоят в строю, бросив автоматы и подняв руки вверх. Довольный Соломин первым выскакивает на дорогу, держа наготове автомат. За ним бегут Ерофеич и Лазарев.

– Ерофеич, охраняй сусликов, – кричит Соломин и бежит к машине. – Мы пока документ соберем.

Он идет к первому офицеру, перевора-

чивает его на спину. Вынимает и прячет пистолет, потом достает документы, тонкую пачку писем, фотографии.

Лазарев вытаскивает из машины убитого шофера, забирается в кабину, обыскивает машину.

Через лобовое стекло машины и движущиеся "дворники" виден Ерофеич, который стоит у обочины рядом с двумя немецкими солдатами.

Соломин сидит на ступеньке "оппеля", рассматривает фотографии.

Руки Соломина перебирают фотографии. На фотографиях – чужая, незнакомая Соломину жизнь. Люди в гольфах, какие-то мальчики и девочки с роскошными бантами. Пожилая женщина с молотком для игры в крокет. Сам офицер под руку с пышной блондинкой.

Офицер, лежащий на дороге, вдруг шевелится, поднимает залитое кровью лицо.

Сквозь предсмертный туман он видит фигурку Соломина, сидящего на ступеньках "оппеля".

Немец поднимает руку с зажатым пистолетом, стреляет.

Оборачивается Ерофеич.

Выскакивает из машины Лазарев. Стреляет из автомата в офицера на дороге. Лазарев видит... Соломина, который полулежит у колеса "оппеля", привалившись спиной к крылу.

Лазарев подбегает к Соломину.

– Куда тебя? В спину? – растерянно спрашивает он.

Соломин хочет что-то сказать, но только слабо улыбается.

**Н**емцы несут Соломина на сколоченных из жердей носилках. Они проваливаются по колено в снег, едва вытаскивают ноги. Но когда они замедляют шаги, Ерофеич вскидывает автомат, остервенело орет:

– А-а! Паскуды! Щас перестреляю!

И немцы идут быстрее.

Соломин смотрит вверх, в небо. Лазарев наклоняется к нему.

– Слышь, – вдруг говорит Соломин. – Ты фотокарточки собрал?

– Собрал, собрал, – отвечает Лазарев.

Соломин молчит, собираясь с мыслями.

– Лазарев... Тебя как зовут?

– Александром... Саша...

– А меня Витькой... Ты это... извини... Нехорошо я пошутил утром.

– Ерунда.

– Ингу жалко... Хорошая девушка...

– Что? – переспрашивает Лазарев.

Соломин не отвечает, смотрит в небо.

**Д**вижутся черные голые верхушки деревьев. Потом изображение светлеет, светлеет...

**В** будане пусто. На нарах сидят Локотков и Ерофеич. Локотков сидит в той же позе, в которой застал его, очевидно, приход Ерофеича. Он парил ноги и теперь так и сидит, поставив больные ноги в бадейку с водой. Ерофеич так и не успел снять свой заледенелый кожаный.

– Я-то думал, офицер убит, а он очухался.

– Как Лазарев?

– Обстоятельно себя вел. – Ерофеич отряхивает полушубок. – Не подкачал.

Распахивается дверь. В землянку стремительно входит Петушков. С Локотковым он не здоровается, просто не замечает его.

– Как погиб Соломин? – резко спрашивает Петушков.

Ерофеич робко смотрит на майора. Кашляет в кулак.

– Мы это... Думали, что фриц мертвый, а он очухался, стрельнул и помер.

– А где в это время были вы?

– Да пленных охранял... Потому и не видел, как он очухался.

– А где в это время был Лазарев? – с холодным спокойствием продолжал допрашивать майор.

– В машине... Машину обыскивал, – неуверенно отвечает Ерофеич.

– Значит, вы не видели, что в Соломина стрелял именно немец?

Ерофеич не понимает, к чему его подталкивает майор.

– А кто же еще мог-то, – пожимает он плечами.

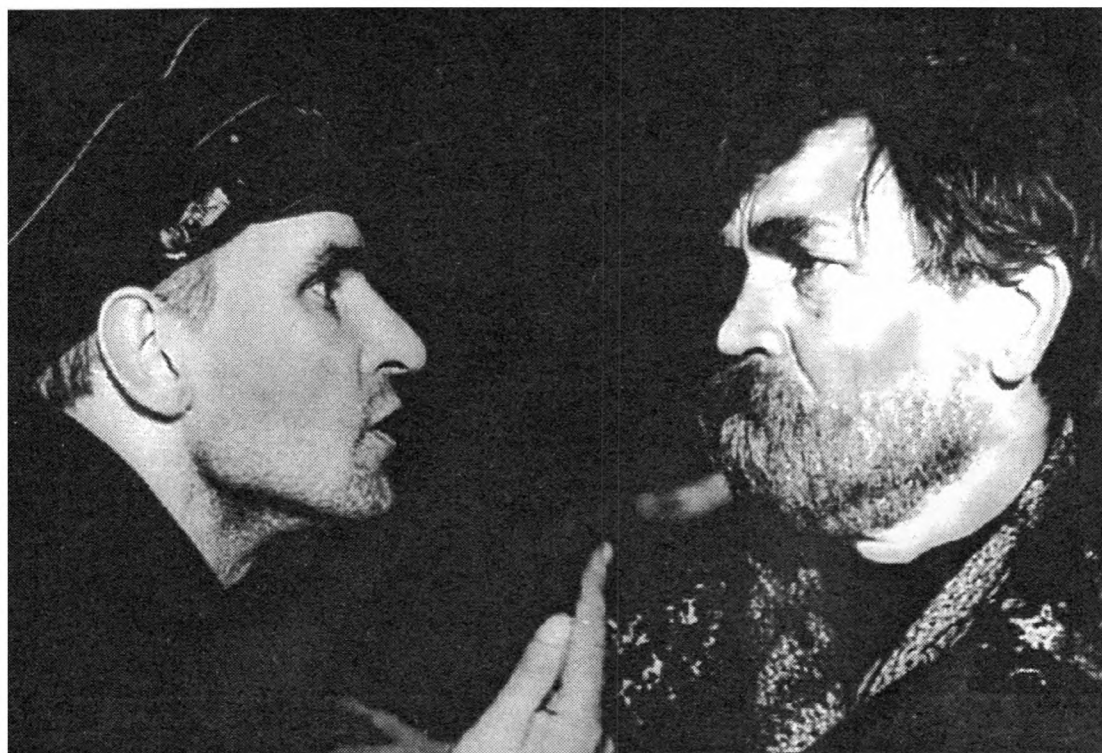
– Вы отвечайте на вопрос. Видели или нет? – продолжает Петушков.

– Ну... не видел...

– А может, в Соломина стрелял кто-то другой?

– Да кто же еще, кроме немца? – совсем теряется Ерофеич.

– Отвечайте, вы видели, что стрелял



именно немец? – настаивает Петушков.

– Ну, не видел... Я же в стороне стоял, охранял пленных.

– А как же вы утверждаете то, чего не видели?

– Пойду я... – после паузы говорит Ерофеич.

– Я вас не отпускал, – повышает голос Петушков. – Если вы не видели, что стрелял именно немец, то можно допустить, что стрелял кто-то другой.

Ерофеич молчит, мнет в руках шапку.

– Теоретически можно допустить? Отвечайте, – майор сверлит Ерофеича глазами.

– Не знаю... Можно... Не знаю... – Ерофеич чуть не плачет.

– Значит, можно допустить, что стрелял Лазарев? – уже спокойно спрашивает Петушков.

– Не надо так, товарищ майор, – вдруг раздается голос Локоткова.

Петушков и Ерофеич поворачиваются.

Локотков по-прежнему сидит на нарах.

– Не по-человечески это... товарищ майор, скотство это... – тихо, но с гневной силой говорит Локотков.

– Ты... – хрипит Петушков, с ненавистью смотрит на Локоткова. – Ты... – Он не может найти слов. – Встать, когда с вами разговаривает старший по званию!

Локотков встает. Он так и стоит в тазике, с закатанными до колен штанами.

– Всем твоим проверкам грош цена. Для простачков. Я знаю, что они подрались... Что такой тип, как Лазарев, мог отомстить... Понятно?! А на таких, как ты, слюнтяев рассчитывают всякого рода шкурники и враги. И я не позволю!

Петушков резко поворачивается и идет к двери. Грохает дверь.

Иван Егорыч некоторое время стоит молча, потом садится. Начинает вытирать мокрые ноги. Ерофеич, шумно вздохнув, осторожно подсаживается на нары напротив.

– На принцип пошел майор-то, – тихо говорит Ерофеич. – Давеча радист рассказывал.: Такую майор в штаб бригады телеграмму отгрохал... Так он эту историю с мостом расписал. Хо-хо! До Москвы пойдет... А тут еще Лазарев, – продолжает Ерофеич. – Хлопец он, конечно, не бросовый... Дался тебе этот Лазарев. – Ерофеич

даже руки прижимает к груди. – Уступи ты его майору, он и успокоится...

Локотков поднимает голову, холодно смотрит на подрывника:

– Как это – уступи? Мы что с ним, в шашки играем?

– Я об тебе думаю, Иван Егорыч, – настаивает Ерофеич. – Ведь он так тебя замажет – век потом не отмоешься.

– Иди-ка, Ерофеич, отдыхай... Надоел ты мне...

**Н**ад кладбищем, над покосившимися деревянными столбиками слышен стук молотка. К наспех сооруженному деревянному памятнику Инга прибывает квадратную дощечку. На дощечке химическим карандашом написано:

“Соломин Виктор Михайлович пал смертью храбрых, защищая Советскую Родину.

Смерть фашистским оккупантам!”

Инга чувствует присутствие кого-то у себя за спиной. Оборачивается.

В стороне у другой могилы стоит Лазарев, спрятав руки в карманы. Молча смотрит, не решаясь подойти к Инге.

Инга продолжает забивать гвоздь. Промохиивается. Больно бьет себя по пальцу. Роняет молоток в снег. Всхлипывает. Поднимает молоток и доколачивает гвоздь. Лазарев мешаает ей своим присутствием. Она поднимается и идет. Лазарев идет за ней, потом подходит.

– Это мне проверку устраивали... – говорит он.

Инга не отвечает. Лазарев идет за ней, чуть поотстав.

– А мы, оказывается, земляки. Я тоже ленинградец... На Херсонской жил. Знаете?

Инга молча кивает. За их спинами много белых могил и одна – черная, не засыпанная еще снегом.

– Если б не война, мы б с ним

не встретились... – как будто отвечая своим мыслям, говорит Инга.

– Да... Война все перемешала... – говорит Лазарев. – До войны хорошо жилось... Легко... Никаких забот. – Лазарев как-то виновато улыбается. – Я вам не надоел?

Инга молча пожимает плечами.

– Таксист я, – продолжает Лазарев. – Работа не пыльная. Крути баранку – собирай чаевые. Дома мамаша обстирывала, обшивала. Вечером девушку под ручку – и в кино. Выпивал после получки, по праздникам, все как по маслу. И вдруг – бац! Война. Понимаете?

– Понимаю, – негромко отзывается Инга.

– Вся эта политика мне до лампочки была. Я про фашистов только и знал что песенку: “Мы фашистов не боимся, возьмем на штыки”. Думал, я сильный, а оказалось – наоборот. Только в плену это и понял.

Они проходят мимо кузницы. Из кузницы навстречу к ним идет Ерофеич.

– Эй! Кум, табачком не богат?

Лазарев останавливается. Насыпает в подставленную Ерофеичем бумажку махорку.

– Да, кум! – говорит Ерофеич многозначительно. – Попотели мы сейчас с Иваном Егорычем. Майор-то на тебя прямо зверем... Мол, ты в Соломина стрелял, и точка...



Лазарев смотрит на Ерофеича. Мрачнеет.

Ерофеич глубоко затягивается:

– Я майору говорю: “Вы что это?.. Парень себя геройски вел, а вы его под монастырь подвести хотите...” Ну и Локотков тоже: “Видите, товарищ майор, что вам старый подрывник толкует?” В общем, отстояли мы тебя, будь спокоен... Отсыпь еще табачку... Где разжился?

Лазарев не успевает ответить.

По улице идет майор Петушков.

– Уже боевые друзья, так, что ли? – спрашивает он, подходя.

Ерофеич теряется. Смотрит на майора виновато.

– Да вот курим, товарищ майор... Табачок жгем.

– Арестовать его, – Петушков пальцем показывает на Лазарева.

Ерофеич не понимая смотрит на майора.

– Я вам приказываю!.. – повышает голос майор.

Ерофеич поворачивается к Лазареву, улыбается криво и виновато.

– Ты это... извини, кум...

Он нерешительно расстегивает шинель Лазарева, достает “вальтер”, вертит его в руках, не зная, что с ним делать. Петушков забирает пистолет. Ерофеич смотрит на Лазарева, еще раз говорит:

– Извини, кум...

Лазарев вскидывает голову, смотрит в глаза майору. Петушков отвечает неприкрытым, холодным взглядом.

– Ведите его, – кивает он Ерофеичу.

Лазарев поворачивается и идет по улице. Ерофеич плетется за ним.

**С**тремительно вращается пропеллер самолета.

Горят костры. Мимо костра несут на носилках раненых. Их несут к самолету. Чей-то голос говорит:

– На большой земле хорошо-о! На белых простынях валяться будешь. Куриный бульон лопать...

У самолета стоит Иван Егорыч, следит за погрузкой. Неподалеку от него у костра под охраной партизан стоят, очевидно ожидая погрузки, два немца. Высокий, сухопарый офицер и коротышка-солдат, знакомый нам по допросам. Сол-

дат обут в лапти. Он смотрит на конвоира. Неожиданно произносит с яростью в голосе:

– Рус карашо! Гитлер капут!

– Шустрый! Выучился... – усмехнулся конвоир.

Офицер поворачивается к солдату. Говорит негромко и зло. Солдат съеживается под его взглядом.

– Ну-ну, – строго говорит офицеру Локотков. – Ты тут не шибко разорайся.

Что-то привлекает внимание Локоткова. Он оборачивается.

Из глубины аэродрома мимо костров мчатся розвальни. Подлетают к самолету. С розвальней соскакивает Инга. Телогрейка растегнута. Платок сбился с плеч. Бежит к Локоткову:

– Иван Егорыч... там... Лазарев повесился!

Локотков ошалело смотрит на Ингу. Потом поворачивается, бежит к розвальням. Розвальни разворачиваются, мчатся по аэродрому.

**Н**апряженное лицо врача. Руки врача давят Лазареву на грудь. Запрокинутое, неподвижное лицо Лазарева. Над врачом стоит Митька. В вытянутой руке держит керосиновую лампу без стекла. Неровный свет освещает землянку, плечи врача, вытянутую на топчане фигуру Лазарева, заледеневшие стены, людей, толпящихся у входа. Расталкивая людей, вперед проходит Локотков. Остановливается, смотрит. Чей-то голос бубнит:

– Ну, скажи, меня будто толкнул кто... То он все из угла в угол ходил...

Врач поднимает голову, говорит раздраженно:

– Да откройте же двери... Сколько раз просить можно?!

**Р**ассвет. Редкий лес, землянки партизанского лагеря. Кто-то слепил снежную бабу, и она, как часовой, стоит с палкой в руке. Камера отъезжает, теперь этот пейзаж виден через выпиленное в бревнах окно, забитое скобой.

В землянке двое – Локотков и Лазарев. Лазарев полулежит на топчане, привалившись спиной к стене. Локотков сидит на сновом чурбане напротив.

– Он меня допрашивать начал, – с тру-



дом говорит Лазарев. – Говорит: “Ты убил Соломина, сознайся...” Как-то так дело повернул, и ответить нечего.

– И ты сразу в петлю полез, как нервная девица, – перебивает его Локотков. – Не так надо, лейтенант, не так. Жизнь, друг-товарищ, знаешь, какая штука... Ежели поддаваться, она тебя враз заламает.

Лазарев смотрит на Локоткова. Потом зло усмехается:

– А я наврал вам...

– Про что?

– Меня не сонного в плен взяли...

– Так... Интересно... – медленно говорит Локотков. – А как же?

– Мы из окружения выходили... Десять суток втроем к линии фронта шли... Встретилась нам деревня... Я посмотрел, вроде никого... Ну, мы и пошли... От голодухи уже совсем ничего не соображали... Помню только бабу у околицы... Как-то странно она на нас смотрела... Оглянулся, а за нами уже фрицев двадцать идут... Они по одному из домов выходили и шли... Смеяться они стали. За животы держатся и ржут. Ребята за оружие схватились... Убили всех...

Локотков слушает, курит. Спрашивает:

– А что ж тебя не убили?

– А я руки вверх поднял... – нехотя говорит Лазарев.

– Да, парень...

– Потом нас танками гнали, – продолжает Лазарев. – Мы впереди бежим, а за нами танк. Кто упал, тот под гусеницы...

Локотков молчит, гасит сигарку. Прячет окурки в карман.

– Ладно, отдыхай, – говорит он. – Завтра у тебя трудный день будет. Из Карнаухова эшелон с продовольствием утром в Германию отправляют... Так вот... эшелон этот в другую сторону пойти должен, понимаешь?

– Понимаю.

**Б**росается под колеса машины белое, в выбоинах, шоссе.

– Вчетвером поедете... – спокойно говорит голос Локоткова. – И погибнуть вам, Лазарев, нельзя. И без вести пропасть тоже нельзя... Тебе эшелон пригнать надо... Чтоб люди это подтвердить могли, понимаешь?

**В**сходит солнце. Черный “оппель” несетя по дороге.

Лазарев сидит, положив руки на руль, не отрывая глаз от дороги. Выражение лица жесткое и тяжелое. Рядом с ним – Инга Шанина в эсэсовской форме. Сидит нахорлившись, спрятав лицо в воротник черной шинели.

На заднем сиденье эстонец и Василий. Один сидит неподвижно, закрыв глаза, другой нервно чиркает зажигалкой, пытается добыть огонь.

“Опель”, почти не снижая скорости, пролетает мимо полосатого шлагбаума. Один из немцев у шлагбаума шарахается в сторону. Машина едва не задевает его.

Кривые улочки Карнаухова. Машина проносится по улице, визжит тормозами на поворотах.

Через стекло машины приближаются ворота станции, оцепленные колючей проволокой. Штабеля дров. Кирпичный КП. Фигуры двух часовых с автоматами. Машина останавливается. Двери КП распахиваются. По ступенькам сбегает молодецкий офицер, подходит к машине, козыряет:

– Гутен морген! Папире, битте.

Инга протягивает документы.

– Вир золлен постен бай ойх инспекти-рен!

Руки офицера в черных перчатках видны через окно машины. Они медленно перелистывают документы.

Сапог Лазарева то нажимает, то отпускает акселератор. Он перекладывает локоть, кладет его на автомат. Лазарев сидит, привалившись к дверце. Он поворачивает голову.

У длинного приземистого здания казармы в несколько шеренг стоят немцы. Рота, охраняющая станцию, делает утреннюю зарядку.

– Айн, цвай, драй, фир, – командует высокий фельдфебель.

Крепкие ребята в мундирах без ремней разводят руками, приседают. Здоровенный рыжий немец встречается с Лазаревым глазами, подмигивает ему.

Эстонец и Василий сидят, откинувшись на подушку заднего сиденья. Руки у обоих в карманах.

Офицер внимательно проглядывает документы, потом протягивает их Инге, козыряет:

– Ласст дас ауто фарен, – приказывает он.

Солдаты открывают ворота. Машина, покачиваясь на ухабах, въезжает на территорию станции, едет.

Немец у КПП запирает тяжелые ворота. Накидывает на них крюк.

**М**ашина останавливается на площадке. Здесь уже стоят несколько военных грузовиков, выкрашенных в белый цвет.

Лазарев выходит первым. Достает автомат, закидывает его на плечо. Открывает заднюю дверцу. Из машины выходят эстонец, Василий и Инга. Поеживаясь от холода, быстро идут.

Все четверо проходят мимо длинной казармы, мимо шеренги солдат, делающих утреннюю зарядку. Теперь шеренга солдат стоит к ним спиной. Лицом стоят только фельдфебель и офицер. Василий торопится, нервничает.

Лазарев шипит ему в спину:

– Спокойнее идите! Спокойнее! Они нам вслед смотрят.

– Айн, цвай, драй, фир, – провожает их в спину немецкая команда.

Они идут вдоль длинного пакгауза... мимо обледенелых пассажирских вагонов, сворачивают... идут поперек путей.

Они проходят мимо разбитых паровозов, взорванного поворотного круга.

– Сейчас налево и по путям до водокачки... Никуда не сворачивайте, – приказывает Лазарев. – Выйдем прямо к паровозу.

**Т**еперь они идут вдоль состава с удовольствием, мимо теплушек с белыми номерами, так же, как шли под титрами немецкие солдаты. Вагоны, вагоны, вагоны... Напряженные лица эстонца, Лазарева, Инги. Потом на лицах появляется недоумение и растерянность. Они останавливаются. Все стоят у первого вагона. Паровоза нет.

Лазарев оглядывается.

– Паровоз у водокачки, – цедит он сквозь зубы. – Идите туда. Я к вышке. Быстрее!





Они разделяются и идут в разные стороны.

Эстонец, Василий и Инга быстро идут к водокачке. Водокачка виднеется за штабелями шпал.

Лазарев идет к сторожевой вышке.

Едва он приближается к вышке, как раздается окрик:

– Стой! Назад!

Лазарев останавливается, смотрит вверх.

На вышке стоит часовой.

Лазарев узнает часового:

– Кутенко, ты?

Часовой на вышке перегибается через перила, всматривается в Лазарева:

– Лазарев? – неуверенно спрашивает он.

– Он самый, – Лазарев идет к вышке, начинает взбираться по лестнице.

– Холодина, будь она проклята, – ворчит Кутенко. – Замерз как цуцик. Ты это где так долго пропадал?

– В отпуске, – односложно отвечает Лазарев.

– А взводный про тебя такое плел... Закурить есть? – продолжает Кутенко.

Длинный паровоз шумно дышит, пускает пар. В клубах горячего пара возится машинист в грязной немецкой форме.

Эстонец идет прямо на него, на ходу сует руку в карман шинели. Потом быстро поднимается на ступеньки паровоза.

– Шнеллер! Коммен зи хинцу! Фолген зи мир зофорт.

Машинист выпрямляется, вытирает о штаны перепачканные руки. Поправляет на ходу фуражку, которая была надета задом наперед, идет к ступенькам.

Василий оглядывается, карабкается вслед за машинистом.

Инга остается стоять у обледенелого тендера. Ждет.

Из-за стоящего недалеко вагона выбегает парень в немецкой форме, бежит вдоль состава. Слышится негромкий тенорок – парень что-то напевает. Под мышкой он несет две пары новых валенок.

– Гутен морген, ваше благородие! – весело кричит полицай, пробегая мимо Инги.

Он пробегает еще немного и останавливается. Это тот самый полицай, который сидел в подвале с Лазаревым и потом сбе-

жал. Полицай стоит, мучительно соображает что-то, потом поворачивается и идет к Инге. Инга тоже узнала полицая. Она стоит, спрятав руки в карманы, спиной слыша скрип приближающихся шагов.

– Ваше благородие, – негромко зовет полицай. – Фрау ефрейтор. Эй!

Нервы Инги не выдерживают. Она резко поворачивается и стреляет. Полицай хватается за бок, но успевает отпрыгнуть за тендер.

**И**з паровоза появляется эстонец, тут же бросается к противоположным дверям. Поздно. Через сквозные двери паровоза видны пути. По ним, спотыкаясь, схватившись за бок, бежит полицай. Он останавливается, стреляет в воздух, опять бежит.

– Партизаны! Партизаны! – пронзительно кричит он.

Лазарев и часовой стоят на вышке, оба смотрят в сторону выстрелов.

С вышки видно, как от водокачки по путям бежит полицай.

– Давай сирену, – кричит часовой Лазареву и кидается к пулемету. Он разворачивает дуло в сторону паровоза.

Лазарев сует руку в карман и в момент, когда часовой поворачивается к нему спиной, бьет его ножом в спину.

Часовой хрипит, грузно оседает на настил. Его глаза с тоскливой предсмертной ненавистью смотрят на Лазарева.

– Су-ука-а! – хрипит часовой. Его голова свешивается назад.

Лазарев отталкивает его ногой от пулемета, разворачивает ствол.

Через спину Лазарева и пулемет на вышке виден бегущий полицай, бегущий ему навстречу патруль.

Лазарев оттягивает затвор, дает короткую очередь.

Полицай подпрыгивает на ходу и всем телом падает на опоясывающую станцию колючую проволоку.

На проволоку навешаны консервные банки с камнями.

Звенят, трещат подвешенные к проволоке банки с камнями.

Над станцией начинает выть сирена. Тревога.

**Л**ошадь вязнет в глубоком снегу. Пар-

тизаны на руках вытаскивают телегу с досками. К заброшенной железнодорожной ветке пробивается колонна саней. Партизаны, утопая в снегу, тащат к полотну деревянные настилы.

Вдоль пути идет Локотков. Он без шапки, весь в снегу.

– Чепырев, – хрипло кричит он. – Еще настилы давай! Коровы по воздуху не летают, у них крыльев нету.

– Господи, Иван Егорыч, – весело отзывается увязший в снегу Чепырев. – Были б коровы, я их на руках отнесу.

Петушков сидит на подводе, прутот постукивает по голенищу сапога.

Двое партизан с трудом тащат тяжелый настил. На усталых потных лицах одно и то же выражение томительного напряжения, ожидания. Они проваливаются в снег, пытаются подняться не выпуская из рук край настила.

Петушков поднимается, подходит к партизанам, одной рукой подхватывает настил, помогает тащить его к полотну.

**Л**азарев разворачивает пулемет, бьет длинная очередь.

Пули бьют по дверям и окнам казармы, наступают мечущихся по двору немцев, не дают им возможности выйти из дверей. В дверях давка, на пороге лежат убитые.

Немец сапогом выбивает окно, пытается выпрыгнуть. Очередь прошивает его, он повисает на подоконнике, потом падает вниз.

Пылает цистерна. Из-за пылающей цистерны, из дыма выныривает паровоз, идет. Один из эстонцев соскакивает на ходу, бежит.

Буфера паровоза тяжело грохают.

Руки эстонца сцепляют вагоны.

Лицо стреляющего Лазарева. Голова трясется в такт выстрелам. Пулемет грохочет, выплевывает стреляные гильзы.

**П**улемет бьет через крыши вагонов-теплушек по казарме, по станционным воротам, отсекая немцев, пытающихся приблизиться к поезду. Падают немцы под огнем лазаревского пулемета. Живые бегут назад.

Эстонец, закрепив сцепление, бежит к паровозу.

Колеса паровоза пробуксовывают на месте.

Дергается сцепка между вагонами.

Состав начинает медленно ползти.

Лазарев разворачивает пулемет.

Пули бьют по бочкам с бензином, стоящим на платформе. Яростное пламя взметнулось над бочками.

Горящие платформы пeрeзкрывают немецким автоматчикам путь к эшелону. Горящий бензин течет по шпалам. И кажется, что горит земля.

Лицо Лазарева, перепачканное сажей,

мокрое от пота. Он стреляет. Под вышкой, с которой он стрелял, медленно проходят вагоны.

Лазарев бросает приклад пулемета, ударом ноги распахивает дверцу пулеметного гнезда, начинает спускаться по лестнице. И вдруг застывает.

С отчаянием видит... вагон поезда,двигающийся к стрелке. Стрелку на путях, ведущую в тупик. Бегущих к стрелке немцев.



Лазарев поворачивается, бежит наверх, к пулемету. Пулеметная турель не дает Лазареву развернуть пулемет к стрелке. Он сбивает пулемет с турели. Садится на ступеньку и стреляет, уперев пулемет в край вышки.

Пули бьют по штабелям шпал, по снегу. Немцы падают. Только офицер в одном небрежно, наспех наброшенном на плечи кителе, потеряв фуражку, петляя по снегу, бежит к стрелке.

Стреляет Лазарев. С трудом ворочает тяжелым пулеметом.

Офицер добегают до стрелки и поднимает рычаг. Стрелка переведена.

Лицо Лазарева. Он стреляет.

Очередь прошивает немца. Он падает на рычаг стрелки. Под тяжестью немца медленно опускается рычаг.

Со щелчком переключается, становится в предыдущее положение рельс. В ту же секунду колеса вагона проскакивают стрелку.

Вагоны проплывают над стрелкой, над провисшим на рычаге стрелки немецким офицером. Мундир на офицере горит.

Стучат колеса мимо стрелки. Быстрее и быстрее.

Пули выбивают щепу из деревянной дверцы рядом с Лазаревым. Лазарев съезживается на ступеньке.

Падает, кувыркаясь, по лестнице, потом падает в снег, шипит, как раскаленный утюг, пулемет.

Лазарев, скорчившись, сползает по лестнице. Он видит... окутанный облаками пара паровоз, состав которого вырывается из узкой горловины станции и теперь уходит вдаль, набирая скорость.

Лазарев секунду стоит качаясь, потом тяжело бежит по рельсам. Пули опять попадают в него. Он бежит, уже смертельно раненный, на почти негнувшихся ногах.

Перепахканное сажей лицо бегущего Лазарева закрывает экран.

Лазарев делает несколько последних шагов и падает вперед на камеру, открывая за собой охваченную огнем станцию, затянутую клубами дыма, и пустые, ускользающие вдаль рельсы и небо в мареве пожара.

**Солнце.** Весна. Яркие солнечные лучи отражаются в большой медной трубе. В грузовике везут инструменты военного духового оркестра. Бесперывно летят самолеты. Идут танки, пушки, грузовики. Бесконечная колонна войск. "На Берлин. На Берлин". Обгоняя колонну, мчится "виллис" с офицерами. "Виллис" едет, разбрызгивая весенние лужи. Перед "виллисом", неловко развернувшись и перекрыв часть шоссе, стоит застрявший грузовик. Его колесо засело в воронке на дороге, несколько солдат суетятся вокруг грузовика. Подкладывают под колесо доски и ветки.



– Растяпы! – кричит полковник, вставая на переднем сиденье. Полковник совсем молод и, очевидно, поэтому кричит больше, чем нужно.

– Левее надо было брать... Кто старший?

Один из людей у грузовика оборачивается. Это Локотков. Худой, в выгоревшей гимнастерке, с помятыми капитанскими погонами. На груди у него ордена, медали.

– Елки-палки! – орет полковник. – Локотков, ты?

Он выпрыгивает из "виллиса", подбегает к Ивану Егорычу.

– Ну, что смотришь? Не признаешь? Большаков я, Гена Большаков, лейтенант!

– Не признаю, товарищ полковник.

– Ты нас в сорок первом под Галаховкой из окружения выводил... в августе...

– Многих выводил, товарищ полковник, – вежливо, даже как будто виновато говорит Локотков. – Всех не упомянешь.

– Ах, Иван Егорыч! Золото ты мое! – полковник обнимает Локоткова, тискает его своими ручищами. – Я ж тебя всю войну вспоминал, искал... Дай поцелую!

Они обнялись. Потом полковник отступает на шаг, оглядывает Локоткова.

– А ты чего это только в капитанах?

– Не дослужился, значит, – улыбается Локотков. – Зато наша артиллерия по Берлину бьет. Я на это вполне согласный.

Медленно подъезжает "виллис" полковника.

– Товарищ полковник! Давайте, Христа ради, опаздываем, – плачущим голосом кричит офицер из машины.

– Вот что, – говорит полковник. – Я про тебя маршалу напишу. Как ты нас выводил. Сколько народу спас...

– Товарищ полковник! – снова зовут из "виллиса".

Полковник бежит к машине.

Полковник садится.

– Напишу! Маршалу напишу! – кричит он, проезжая мимо Локоткова.

Иван Егорыч стоит на дороге. Смотрит вслед "виллису". Потом идет к своему грузовику, вокруг которого по-прежнему копошатся солдаты. Берется за кузов.

– А ну, давай, други-товарищи, – говорит он. – Раз-два, взяли! Еще раз! Е-еще взяли!

Мокрое от пота лицо Локоткова, который толкает грузовик:

– И-и-раз! И – и-взяли! И-и-и-разом! И-и-и-взяли!



1985 год. Банкет по случаю выхода фильма на экран. Стоят: Э. Володарский, Н. Бурляев, И. Шилова, Ф. Одинокоев; сидят: А. Герман, Р. Быков, В. Заманский.



**Алексей Герман:** ...Я Эдика Володарского помню молодого, прелестного, пижона. Мне дали почитать его рассказы, – он их так никогда и не напечатал, потерял половину. И я сразу тогда решил... мы решили, что все это будем делать. Я был никто, меня никто не знал, а он ко мне пришел, завалился на диван и стал звонить Тарковскому – чтобы меня поставить на место. А потом мы сдружились. Он прелестный был. Перед этим мне рассказывали, как он, получив свой первый гонорар, сидел пьяный во ВГИКе и всем деньги раздавал. Мы писали, писали, писали, потом ссорились, мирились, скандалили... Дружили. Эдька после картины тоже достаточно отважно себя вел, на него орал Баскаков, а он орал на Баскакова. Потом же нас совсем выгнали! Это после нас простили, потому что было письмо Симонова, Товстоногова, Хейфица и Козинцева в Политбюро. А в принципе нас совсем выгнали из кино – Эдька ходил устраиваться грузчиком. Сейчас смешно вспоминать: мы списались с Норильском, – надо было ехать куда-то работать, и Киселев Илья Николаевич, директор "Ленфильма", сказал мне: "Через три года приходи, – получишь работу. Три года не ходи". Тогда Караганов и Симонов пошли в ЦК, и на уровне отдела культуры ЦК нам решили дать работу. А вот с самим Киселевым дело оказалось хуже. Незадолго до этого он сказал, что готов поручиться партийным билетом за этот фильм, что фильм хороший. А потом в кабинете плакал: "Лешка! Порежь картину, порежь! Я сидел, меня опять выгонят, я больше не могу!" Но его уволили. Достаточно страшно было... Картину запретили, положили на полку, и она вышла только через пятнадцать лет.

Мы не были яростными противниками того режима, хотя нас и обвинял тогда секретарь ЦК Демичев, что мы сделали картину в пику "Освобождению", – а мы эту картину даже не видели. Но, с другой стороны, мы действительно делали "Проверку" в пику таким фильмам, как "Освобождение". Мы смотрели эти фильмы, и бесились, и делали в пику. И "20 дней без войны" – в пику, и "Мой друг Иван Лапшин"... Потому что когда начинаешь копать историю этой войны, собирать по крупицам, наталкиваешься на такое, от чего, как говорил покойный Витя Демин, "волосы стынут в жилах".





У меня была книга "Потери во Второй мировой войне", и в ней приводились факты, что мы сбрасывали десанты без парашютов. Ты можешь себе представить, чтобы страна сбрасывала десант без парашюта? Тебя передергивает, но это так. Где-то на Украине, над заснеженными степями, с очень небольшой высоты, с самолетов выбрасывались воинские части.

А дальше – это уже везение: шлепнулся в глубокий снег – встряхнулся, встал и пошел воевать. Шлепнулся об пенек, о дерево... Потери при этом были до двадцати пяти процентов.

**Алексей Герман:**  
**...А это – апологетика сострадания  
к своему собственному народу,  
вот что это было такое.**

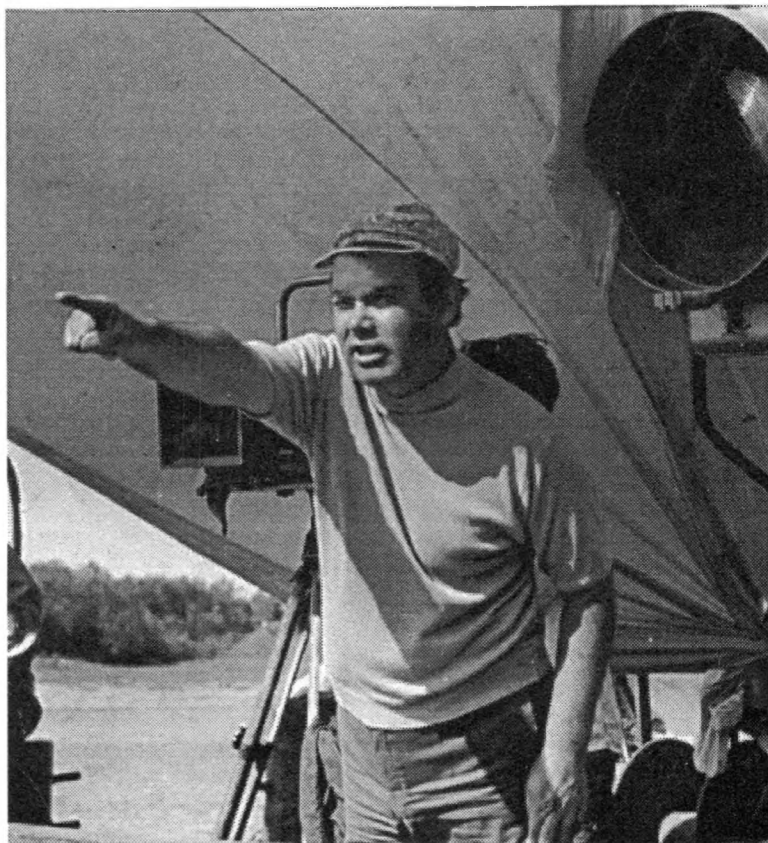
Про то, что это "апологетика предательства", писали, даже когда картина получила Государственную премию. Журнал "Москва" напечатал статью, что это "апологетика предательства". А это – апологетика сострадания к своему собственному народу, вот что это было такое.

Можно подходить к истории с точки зрения "зал был наполовину полон", – и тогда остается только Победа; а можно – "зал был наполовину пуст", тогда – чудовищные поражения, миллионы затраченных жизней, страшная жестокость военачальников, страшная жестокость Сталина...

Наша с Володарским картина не претендует на какие-то очень большие правды. Просто мы, я помню, рассчитали, что если было пять миллионов пленных, часть погибла в немецких лагерях, а три четверти из них сели в наши на 10 лет, то коснулась эта беда более 30 миллионов человек. Папы, мамы, дети, братья, сестры... А пропавшие

без вести?! Ведь там тоже подозревался плен. А плен – это "статья"... А потому семье ни пенсии, ни пособия, ничего. Мы хотели им как-то объяснить, что же это было такое. Кстати, мало кто знает, пленные не были реабилитированы даже при Хрущеве. Освобождены – да, но не реабилитированы. Вот откуда возникла в картине эта баржа с образом пленной России. До сих пор не могу понять, как нам удалось это снять. Мы же там заключенных снимали на самом деле, но говорить об этом боялись. Константин Михайлович Симонов посмотрел материал и сказал: "Вот этот комбриг, – он там сидит в центре, – мне нравится".

Симонов так никогда и не узнал, что это были зэки, а "комбриг" был на самом деле – налетчик, похудевший на тридцать килограммов. Страдающие лица, голодные, стриженные наголо, – иначе этого эффекта было бы не добиться. Как уж мы сделали, что набили баржу зэками тогда? Как-то вертелись, просили, клянчили... И самое главное, что "немцы", которые у нас на борту, – это ВОХР. Они, действительно, вооруженные были, да и во всех кустах на берегу сидели вооруженные вохровцы. Один, кстати, из заключенных, прыгнул и поплыл к берегу. Его там и взяли. Вот такая была штука. Это была беспримерная съемка. Нам нарочно мешали, хулиганили, а нам нужна была застывшая масса. Я сказал: "Будем плавать трое суток". А потом мне



прислали записку: "Говори не с начальством, поговори с "кентами", поговори с "буграми"... Я с теми поговорил, они сказали "тс-с-с!" – и все стали сниматься, тишина настала.

В принципе, если разобраться в том, что такое было партизанское движение 41–42 года, окажется, что это очень странная штука. Это была на самом деле в большой степени, действительно, гражданская война, и она действительно велась в своих окопах, потому что продвинувшиеся вперед немцы практически очень редко оставляли на завоеванных территориях какие-то серьезные гарнизоны. Если прочитать даже нашу, даже изданную в советское время партизанскую литературу, то можно поразиться тому, что хозяином в целом районе поначалу был "господин немецкий солдат". То есть не было ни комендатуры, ни большого количества солдат, ни одного грамотного офицера, там оставляли не кого-нибудь, – там оставляли солдата, который командовал целым районом. К нему, естественно, достаточно быстро присоединялись местные люди, предатели.

Партизанское движение всегда освещалось однобоко. Я вспоминаю наш разговор с Ириной Павловной Головань, главным редактором "Ленфильма": "Вот, Алексей, объясните мне одну вещь. После освобождения Ленинграда сюда вошли партизаны из Ленинград-

ской области. Их встречали цветами. Через несколько дней я, тогда молодая, получила редакционное задание с ними поговорить. Приехала туда, где они жили, брать у них интервью. И вы понимаете, никто со мной не стал разговаривать. Все опускали глаза, все шарахались. А прошло всего 4–5 дней. Вы мне можете объяснить – что это было такое? Я никак не могла понять". Я говорю, – сейчас просто объясню. Все дело в том, что их уже тогда начало НКВД трясти со страшной силой. Что такое были партизаны, откуда они взялись? Это что значит? С печи они слезли или, как в войну с Наполеоном, вышли женщины с колями? Да ничего подобного. Это были: а) беглые военнопленные; б) непробившиеся, – в гораздо меньшем количестве, – попавшие в "котел" люди, которые пристали к партизанам; в) люди, которые решили отсидеться, отсиживались до какого-то времени, а потом ушли в лес; г) наконец, – их огромное количество, – это бывшие полицейские, которые получили оружие, и в силу одних или других причин ушли к партизанам. Поэтому, говорю, они вас дико испугались. На них на всех уже были заведены дела, они это понимали. Их всех трясли следователи, всю эту партизанскую бригаду, которая вышла. Ирина Павловна думала, что она встретит радостных освободителей, созданный к тому времени образ партизан, а налетела на людей, которые тряслись, потому что за каждым был грех. Кроме очень немногих, выброшенных с Большой Земли, они проходили фильтрационную проверку. И часто эти партизанские части оказывались где-то на лесоповале, обжиге кирпича. Их вроде проверяли, проверяли, проверяли, и бывали случаи, что они только через год понимали, что они сидят. Им даже не объявляли, что они сидят. Их посылали, окружали колючей проволокой, – шла "проверка". Иногда "проверка" кончалась вот так (у меня есть такая запись): "Итак, граждане, не будем вас утруждать. Вы все получили по 10 лет. Мало кто из вас больше, мало кто меньше. Разойдитесь!"

Был такой знаменитый партизан, Герой Советского Союза, партизан Сабуров, армия которого во много раз была больше армии Ковпака и всех других партизан, вместе взятых. У него армия была чуть ли не тридцать–сорок тысяч человек, а у Ковпака никогда не было больше трех–пяти тысяч. Сабуров воевал на территории Белоруссии, Украины, но не был ни белорусом, ни украинцем, а потому не стал ничьим национальным героем. Ковпака поднимало его правительство, а Сабурова не очень-то "поднимали". Как говорил Симонов, "Сабуров был человеком очень жестоким, но очень мощным командиром". Была у него жена Инна, я не знаю, жива ли она сейчас. Как мне рассказывали, Инна во время войны была женой командира отряда, и когда тот, смертельно раненный умирал, он взял с Сабурова слово, что тот ее не оставит. Позднее Сабуров на ней женился. Мы их видели – они были замечательная пара. Так вот, когда он посмотрел "Проверку на дорогах", он расплакался и сказал, что картину никогда не выпустят, но он с Инной сделаю все, чтобы ее выпустили. Написал в Политбюро и в Госкино. Вообще, в начале войны он был полковником Госбезопасности. Как только его отряд начал в тылу работать, они послали на Большую Землю радиogramму. Там же предполагали, что он погиб. Первое, что сделали в ответ – к нему выбросили человека по фамилии Плохой с приказом разоблачить назвавшегося Сабуровым и расстрелять самозванца. Майор Плохой предъявил этот приказ, но он был человек разумный и понял, что Сабуров – это и есть настоящий Сабуров – зачем же его расстреливать. Так они провоевали до того момента, пока Сабурова не вызвали к Сталину. Когда Сабурова принял Сталин – исчез майор Плохой. Тогда еще Сабуров нам сказал: "Я немцев так не боялся, как я боялся майора Плохого".

И вот мы показывали только что разрешенную картину где-то под Ленинградом. Вдруг, предствляешь, Наташа, раздается звонок: "С вами хочет встретиться полковник Госбезопасности Плохой". Я прямо застучал ногами. Стал ждать, но больше никто не позвонил.

Вообще материала было очень много. На первом этапе работал мой отец, он был очень болен. Эдик подключился позднее, когда нарытого отцом материала было уже много. Например, отец нашел Героя Советского Союза по фамилии Никифоров. Он "работал с власовцами". Проблема "власовцев" тоже безграмотно нами трактуется.

Все они назывались "виновными", так же как все северные народы у нас называются "чукчами". А на самом деле это все совершенно другая штука. "Власовцы" появились в 1944 году, до этого времени Гитлер, который собирался Россию раскатать в какую-то непонятную колонию, никакой "Русской армии" терпеть не хотел. Просто начиная с 41 года, как грибы, при командовании немецких дивизий стали появляться подразделения – от роты до батальона, – так называемые вспомогательные добровольческие части. Эти добровольцы иногда ходили в советской форме, иногда немцы им давали свою. Они несли охранные функции, они строили дороги, они – из вспомогательных. Альтернативы у них были довольно тяжелые: либо сдохнуть, либо пойти сдать. Некоторые шли за еду, иные добровольно, ведь нельзя сказать, что так уж сильно все любили Советскую власть. И вот – до батальона при корпусе было. Это я знал от Никифорова, это же написано немецким генералом Типпельскирхом. Власов бился над созданием большой армии. В результате она была создана – "Русская освободительная армия". У нас в России никогда не бывает в меру. У нас бывает либо так, либо сяк. Либо все "власовцы" – только на струну и вешать, либо они же – несчастные герои-освободители, идейные. Я очень подробно этим занимался. Я считаю, что большая часть из них были подонки все-таки. Потому что, как бы там ни было, есть твоя Родина, тут уж ничего не поделаешь.

Среди них было некоторое количество людей идейных, озлобленных и огромное количество тех, что просто залетели между молотом и наковальней, погибли в зонах и лагерях. То, что "власовцы" освободили Прагу, – это действительно так оно и было. Но танки уже подходили к Праге, был 45-й год.

На многих из них лежит уничтожение гетто. Немцы очень заботились о здоровье своих солдат и стремились акции по уничтожению других народов делать не своими руками. Они считали, что это очень худо влияет на психическое здоровье солдата. И поэтому, допустим, даже у замечательного режиссера Климова в замечательной картине "Иди и смотри" есть неточность. В принципе это все делали полицаи.

Я с Адамовичем разговаривал на эту тему, и он со мной соглашался. Они стояли в оцеплении – немцы, солдаты, СД, но у печей или там еще чего-то – по возможности нет.

У меня есть копии допросов "власовцев". Там рассказы о том, как они "подрабатывали" – обматывали себе сапоги одеялами; ночью часами стояли и слушали в местечках, которые были уничтожены, – где кто в развалинах зашевелится, – ставили крест. А утром сдавали отловленных немцам – а те смотрели сквозь пальцы на осевшие в карманах колечки и еще что. Такой был "приработок". Так вот, Никифоров – человек очень пострадавший и, по-моему, очень достойный. Он получил Героя Советского Союза за то, что забрасывался в эти части и уговаривал их от имени нашего правительства выйти к нашим, обещая прощение. Они выходили, получали прощение, получали оружие. Сталин сказал: "Пусть пока воюют". В 46-м начали их брать, даже с орденами. К Никифорову пошли жены, и он напросился на прием к Жданову. Жданов его выслушал, а когда Никифоров уходил, его тут же, в вестибюле, взяли – и сразу на 10 лет. Через 10 лет он вышел уже больным человеком.

Это – "власовцы", свои... А здесь, у нас под Ленинградом, были и итальянские части. Итальянцы уже в октябре интересовались, когда кончится эта ужасная зима. Они уже тогда от холода ничего не соображали, просили у всех сало, натирали им уши, привязывали впереди перину, сзади перину, к ногам привязывали доски. Начиная с того момента когда Италия вышла из войны, их было запрещено брать в плен. Тем более, что пленных ведь партизаны не брали – они их убивали. А итальянцев – ну что с ними делать? Убивать их нельзя, и их прогоняли камнями... А солдаты они аховые – эти самые итальянцы. Оружие – пожалуйста, забирай, только оставь меня в покое. Плачут. И наши сердобольные бабы их разобрали по домам, этих итальянцев. Света нету, вши есть... И в результате, когда я снимал "Проверку на дорогах", стадо коров на съемку сопровождали пастухи: кавказцы не кавказцы, евреи не евреи, черноглазые, пьяные абсолютно мужики, воняет перегаром – все как полагается. Но какие-то они не русские.

Я спрашиваю: "Что такое?" Мне говорят: "Это итальяшки". Это дети тех итальянцев. Здесь, в Н-ском районе, их до хрена. Так их и зовут – "итальяшки", потому что итальянцы ушли с течением времени, а наши бабы народили "итальяшек". Их здесь довольно много, они, как и все здесь, соответственно, спились. Но интересно, что сколько я ни рассказывал итальянцам: "Съездите, посмотрите на ваших "итальяшек"!"; – нет, не едут. Вроде, осуждают отцовский грех – смешно!..

Они были добрые – итальянцы, их не боялись. Румын, допустим, боялись, хотя большими солдатами не считали. Серьезными противниками действительно являлись немцы и финны, и война там была жестокая, с обеих сторон звериная. Мне этот же самый Никифоров рассказывал про одного из партизан: "Славный парень, я только с ним разговаривать не могу – он человека загрыз". Я говорю: "Как загрыз?" Он говорит: "Его финны поймали, и мальчишка лет 14–15-ти его стерег. Связанного по рукам и ногам. Делать ему было нечего – он ждал лютой казни. Он взял, прыгнул на этого мальчишку и загрыз его зубами. И потом как-то связанный, то ли развязался или как-то "зайчиком" припрыгал куда-то". В принципе, по степени дикости ожесточения это не поддается описанию... Если полицаи ловили партизана – его нанизывали на борону. И наоборот. Или на морозе к дереву привязывали и наливали в сапоги и валенки воду.

У меня есть записи удивительные...

А что касается этих фотокарточек, Наташа, то это я в шесть лет в Полярном, на базе Северного флота, куда мы приехали в конце 44-го года. До этого туда мирное население не привозили. Командующим флотом был Головка, замечательный флотоводец. Я знаю разные истории, которые мне отец рассказывал. Например, про СМЕРШ. В начале войны начальник СМЕРШа стал "шить" очень многим "пораженческие настроения", а затем арестовал группу летчиков, а морской летчик – дело штучное, им не пробросаться. Головка не знал, что делать. И тогда он вроде бы совершенно закрыл глаза на



мелкие шалости офицеров СМЕРШа. Дал, так сказать, явлению дозреть. А потом послал комдантский взвод в баню, где происходил бардак с дамами. Там было черт знает что – в бане одеяла постелили и все такое... На том этих смершевцев и выгнали. Пришли другие, но разумнее, с которыми можно было работать.

Вообще говорить про Головка очень интересно. Его жена была актриса, во флотском театре играла Марию Стюарт. Когда ей отрубили голову, он нервничал и выходил курить. Говорили, что тогда к нему легче было обратиться с просьбой. Головка начал войну за 2 дня до того, как она началась официально. Он приказал стрелять по немецким самолетам, рассредоточил флот, и так далее.

...Как выглядел День Победы в Полярном, я сам помню. Все побежали на пирс. На эсминце, который был пришвартован вот здесь, правее, чем видно на этой фотографии, поднялся Головка и сказал: "Я счастлив, что в годы войны товарищ Сталин поручил мне командовать такими людьми, как вы", – и заплакал. А английские боцманы пришли на наш праздник Победы, – их был накануне, – и стали играть на аккордеонах. Все стали кричать "Ура!". Я как-то рассказал об этом Герою Советского Союза, летчику-торпедоносцу Бала-

шову, одному из немногих оставшихся в живых. Балашов сказал: "Этого не было". Я сказал: "Это было". Потом, недели через две, он позвонил, сказал: "Слушай, это было. Я у всех стал спрашивать – было!" У него, у Героя Советского Союза, это выпало. Мало ли чего там было, какие праздники в его жизни. А я, мальчишка семилетний, до сих пор помню. Мимо нашего дома проходили подводные лодки, иногда они стреляли – это значит, кого-то потопили, и тогда туда, на пирс подплава, бежал или ехал, я уже не помню, оркестр – встречать. И, как сейчас все знают, им преподносили жареного поросенка. Но почти никто не знает, что поросенка есть было нельзя – это был чистый символ. Поросят там было до хрена, но они были несъедобные, потому что питались рыбой, китами, которые выбрасывались, и дико воняли.

А еще в День Победы в Полярном по случаю большого праздника кто-то зажег дымовые шашки, и весь День Победы проходил в дыму и тумане. Все кашляли и чертыхались. А начальник связи спал пьяный на скале. Рядом с ним стоял отрезанный телефон, и дежурный-краснофлотец охранял их обоих. Среди дымного тумана бродила лошадь-водовозка с бочкой в поисках краснофлотца-водовоза, и все ее угощали чем могли. Этого никто уже не помнит. Такие вещи может запомнить только ребенок.

А на этой фотографии – эсминец "Гремящий", знаменитый военный корабль, который одним из первых стал гвардейским, а может быть, и первым. Человек, который здесь стоит, вот, видишь, худенький – это мой отец, военный корреспондент на Северном флоте, капитан, а рядом будущий адмирал Гурин, через год Герой Советского Союза. А мальчик – это я. Гвардейский флаг – это значит 43-й год, и это значит, что так называемый "конвой" пришел в Архангельск,



привел английские или американские торговые суда и благополучно миновал горловину Белого моря, которая кишела тогда немецкими подводными лодками. Знаешь почему?! Очень забавно. Гитлер закрыл все научные проекты, которые не давали результата через несколько месяцев: "Я смеюсь над всеми этими профессорами, академиками, которые всю жизнь изобретают микроб. Я приветствую немецкого дворника, который метлой сметает миллионы этих микробов в канаву". Уровень мышления приблизительно наших идиотов, верно? Ну вот, немецкие начальники приветствовали дворников и не заметили, как у англичан вдруг появился радар. Немцы ничего не понимали: у них шла охота, были свои волчьи места. Они перестали понимать, как топят их подводные лодки. Шел разгром немецкого подводного флота. А у нас радара не было. И поэтому, сознавая, что та охота проиграна и подводные лодки гибнут зря, их перебро-

сили к нам, в район Мурманска, в район Белого моря, для того, чтобы не допускать союзный конвой. Вот почему их стало так много.

Я такие вещи вспоминаю в основном из разговоров взрослых. Что-то, может быть, правильно. Что-то неправильно. Я помню, например, что, когда приходили большие американские корабли, наши офицеры стремились на них попасть. И знаешь из-за чего? Такая смешная деталь: из-за того, что там в уборных лежали навалом, сколько угодно, бритвенные лезвия. А у нас лезвия – это было Бог знает что: все ходили изрезанные, газетками клеивали себе порезы. И поэтому тот, кто отправлялся в гости – красиво, в фуражке белой и с кортиком, на самом деле отправлялся за лезвием. Я помню Лунина, Героя Советского Союза, помню, Валентина Стариков. Он был в войну капитаном первого ранга, очень знаменитый подводник, Герой Советского Союза, к концу жизни стал вице-адмиралом. Потом умер. Стариков был очень красивый человек, он с папой дружил, папу любил, потом к нам приходил в гости. Очень интересная судьба у него. Я его как-то спросил: "Валя! Почему вы столько лет были капитаном 1-го ранга?" Он ответил: "Я тебе расскажу, Леша". Он вообще все время пытался меня предостеречь – я болтливый был, а он был пуганный человек. То есть он был храбрый, но боявшийся. То поколение было битое. И вот он здесь сидел, в этой столовой, и говорил: "Леша! Ты столько болтаешь, у тебя будут неприятности! Ты знаешь, почему я столько лет был полковником? Несмотря на то, что был одним из первых Героев Советского Союза... Потому что я на пари пошел пообедать в американское консульство. (Или – в английское?) Мне сказали английские офицеры: "Вот вы – Стариков, Герой Советского Союза, а боитесь с нами пообедать!" И я пошел. Все – как отрезало в карьере военной. Столько прошло времени, пока меня простили! А я с девушкой был, просто – взял и пошел!"

На Севере были переводчицы, очень много девочек. Все сели, ни одной не было, которая бы не села. Вот мы в 45-м оттуда уехали, а они стали возвращаться в 56–57-м году и к нам здесь заходить. Выяснилось, что все отсидели "десятку".

Вообще, я должен сказать, что война была сначала проиграна, потом – на костях русского народа прежде всего, да и всех народов – выиграна... Мой отец увлекался Петром I, портрет у папы есть, и "Россию молодую" написал. Но в принципе что Сталин, что Петр I, что Иван Грозный – все один черт. В этой стране "проходят" полководцы и герои, которые были абсолютно безжалостны по отношению к своему народу. И гибнут, выгоняются, уничтожаются те, кто его жалеет. Как ни странно, и народ презирает тех, кто его жалеет. Какая-то дикая закономерность! Потому что уж более жестокого способа ведения войны по отношению к собственным людям нет на земле и не будет, чем то, что мы позволим сами. Мы оказались победителями, потеряв 30 миллионов, а немцы оказались побежденными, потеряв 7 миллионов. И в принципе истории как-то хорошо бы в этом разобраться. Бывает ведь, как правило, наоборот.

Знаешь, как гнали колонны наших пленных? Ставили танк в степях украинских или даже грузовик, на крыше сидел солдат или на танке сидел пулеметчик, и перед ним выстраивали тысячу людей, перед одним танком. И эти люди бежали, и вот так их сгоняли по всем степям в места сосредоточения военнопленных. Вот какой это был страшный разгром! Как-то это все вроде забыто... Сталин когда-то пошутил, что "ни один народ не потерпел бы такого правительства, которое привело его к такому разгрому, а вот русский народ – он такой мудрый, он это правительство возвеличил". И это правда! Это правда, а дальше – ну что уж там действительно, и научились воевать, и стали талантами...

Когда-то давно, совершенно неожиданно, нас пригласил сын скульптора Мухиной и показал нам ее проект памятника Победы. (За этот проект ей когда-то сильно досталось.) Огромная женщина, и ей в живот, обхватив ее руками, уткнулся лицом обрубок – солдат без ног... Пронзительнее памятника мы не видели. Все больше маршалы, все больше на конях.

**С Алексеем Германом беседовала Наталья Рюрикова**







ЕВГЕНИЙ  
АГРАНОВИЧ

СИЛЬНОЕ  
СРЕДСТВО



**Евгений Данилович Агранович**, чаще именуемый Женей несмотря на вполне зрелый возраст, – из славного кинематографического клана: старший брат Леонид – известный кинодраматург, племянник Михаил – один из лучших кинооператоров. А сам Евгений Агранович – мастер на все руки. Он и сценарист, и поэт, и автор текстов множества отличных песен (вспомним “Березовый сок”, ставшую народной “Одессу-мату”,

...”Не гляди!” – шепнул тайный голос философу. Не вытерпел он и глянул...

Н. Гоголь. “Вий”.

Навалиясь грудью на стол орехового дерева, в опрятном провинциальном городке Грабов на Эльбе, в уютном немецком особняке, в полном одиночестве плакал совершенно трезвый и невредимый лейтенант Советской Армии. Плакал он, не выказывая в этом занятии никакого навыка и умения заливать сладкими слезами. Противная болезненная судорога сводила и растягивала кольцевую мышцу рта, мелкие колючие вдохи и выдохи сталкивались в его горле, мешая друг другу. Слезы нестерпимо резали глаза, будто плакал он не соленой водицей, а едкой кислотой. А открыл лейтенанту шлюзы урчащий рядом приемник “Телефункен” – чистый и трепетный, почти забытый настоящий женский голос, а не хриплый от вечной простуды, махорки и мата: “...И вот этот праздник наступил, в блеске весны...”

Победа для нас и не была, как теперь описывают, внезапным ударом колокола или ослепительным салютом во мраке пещеры. Мы побеждали тяжело, по чуточке, наш миг победы растянулся на годы – Москва, Сталинград, Курск, Одер, Берлин...

Кроме всеобщего праздника – подписание капитуляции, залпы, ракеты и тосты – был и для каждого вполне личный, а то и тайный час победы. Так и лейтенант праздновал совсем тихо, но глубоко – в компании с невидимой девушкой “Говорит Москва”.

“Гляди-ка, она таки кончилась. Совсем она закончилась, и заметь, раньше, чем я...”

Еще год носить ему погоны, и стрельбы еще наслушается. Но сейчас он увольнялся из рядов, возвращался к своей жизни. Студент, гордость факультета, бабовень целой ватаги ярких и талантливых друзей, он как-то пел свою жизнь, дни были находками – строчками забавного и высокого стихотворения. В таком соловьином состоянии хрен бы выдержать ему всю Отечественную. Доброволец с первых дней войны, он сразу понял, что одна только гимнастерка его не замобилизует. Надо было и глубоко под нею стать другим. Не то чтобы притвориться, а надолго припрятать даже от себя некую свою основу, стать убивающим и убиваемым, способным это приказать и этому подчиниться.

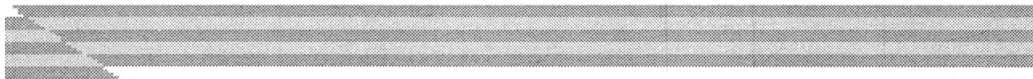
Яркого геройства он, правда, не проявил, но дело делал и со службой справлялся не хуже людей. Помогло, что еще летом сорок первого в одну неприемную, даже без бомбежки, ночь он так ясно увидел себя растерзанной миной, подышающим в кровавой грязи, что примирился с фактом своей гибели и больше на эту тему не размышлял.

песню из фильма “Офицеры”). Ему же принадлежат изящные стихи – переводы песен, объяснявшие нам, о чем поют Лолита Торрес в “Возрасте любви” и Радж Капур в “Бродяге”. Не менее изящны статуэтки, которые он режет из дерева у себя дома – просто так, для собственного удовольствия и на радость друзьям.

Его стихотворные юморески и хлесткие эпиграммы мало кому известны: в доперестроечные времена печатать их было бы рискованно.

Ни разу не печатался и помещенный ниже рассказ: старший лейтенант Агранович хорошо воевал и хорошо рассказывает о войне.

(На фоторазвороте: Е.Агранович в Германии в мае 1945 года.)



И вот сегодня с этими слезами выходил из него наркоз. Теперь не убьют. Он возвращался в тепло шумных институтских коридоров, прокуренных дружеских каморок к песням, спорам, стихам и поцелуям голодной, но прекрасной юности. Вы поморщились от “прекрасной”?! Да, и в ту пору, с колыбели, пропитанной советской религией, он иногда трезвел вдруг на минуту и видел вокруг беспощадную людоедскую тюрьму, но ближайший слой жизни – любовь друзей, хмель поэзии – защищал надежно. Это как на сорокаградусном морозе, но в меховом комбинезоне.

Лейтенант собрался в собственный глубокий тыл, в свою спасенную Родину, не ведая, что этих приятельских ватаг, “поселков”, “бригантин”, “голубятен” уже не существует и никогда не будет. И самого его теперь, прямо по пословице, родная мать не узнает.

А я узнаю тебя, лейтенант, более того, я тебя уважаю. А ты меня можешь себе представить? И тоже уважать?

Не думаю. Так далеко, на полвека вперед, лейтенант не заглядывал. Его пока что тянуло обратно в довоенный год. Хотелось снять с себя четырехлетнюю войну как обгорелую гимнастерку.

От первой атаки взрослеют солдаты,  
И сердце седеет за десять минут.  
С победой на склад мы сдадим автоматы,  
А нам беззаботную юность вернуть.

Однако оказалось, что и конец войны еще не свобода. Армия вроде и не собиралась расставаться с лейтенантом. Поднаторел в деле, бывает, и пригодится... Дивизию расформировали, солдат – домой, а офицеров – в резервный полк. И службы никакой, и на волю не пускают. Утром построение, поверка. Трижды в день столовая. В остальном утешайся как сможешь. Жили в берлинском пригороде Эйхвальде, в немецких особняках. Лейтенант поселился на пару с высоким, сутулым и контуженым капитаном. Определение “контуженый” у нас означало – дурной. Но капитан был тонок, умен и неприлично для пехотинца фундаментально образован. Контузия проявлялась только в заикании, почти сносном, пока капитан не наезжал на какую-то опасную гласную. Чтобы сдвинуться с проклятой буквы, он все возвышал и усиливал звук до нестерпимого и бесконечного воя, который даже на соседней улице принимали за сигнал воздушной тревоги. Наконец, ему удавалось преодолеть препятствие, и красный от напряжения капитан переходил на нормальную речь и мирно заканчивал свою фразу. А потерпеть в ожидании этого стоило, ибо мысль его была обычно существенна и оригинальна.

Лейтенант и терпел, чего нельзя было сказать о женщинах, с которыми капитан норовил завязать приятное знакомство. Первая же тянучка в любезной капитанской

фразе сдувала немок за горизонт. Лейтенант в то же время неизменно встречал на этом поприще полное понимание и радостную готовность молоденьких и ухоженных немок. Подкупал легкий веселый нрав, рыцарское отношение и немецкий язык лейтенанта, полный потешных ошибок, но не скудный и пополняемый новыми фразами с одного касания. Женщины раздолбанной империи тянулись к победителю, под золотые крылышки русских погон. Текли они через лейтенантское лето непрерывной лентой, создавая забавный веселый праздничек. Имели все они одно имя "дэр энгель" – ангел мой, один голос и облик, иногда только лейтенант с удивлением замечал, что утренняя шатенка к вечеру стала рыжей... Сложился трехмесячный роман как бы с одной дамой, которая при всей приятности стала уже маленько надоедать, и лейтенант подумывал об измене, даже о разводе. Но наработанный ритуал и обряд как-то затягивал.

Капитан, слишком близко для своего самолечения наблюдавший эти победы, отзывался о них пренебрежительно:

– А! Все это – твои хохмочки, песенки, обкатанные приемчики, неотразимые на уровне местных кассирш и маникюрш. Ты – принц ширпотреба, кружишь головки, которым завивка заменяет извилины. Показать бы тебя настоящей девушке, духовной, поэтичной, скажем, блестящей студентке ИФЛИ. Да она пройдет сквозь тебя не оглянувшись, как сквозь легкий дымок...

– В чем же дело? – согласался лейтенант. – Покажи ей меня. Да вряд ли тут найдешь студентку ИФЛИ.

– Уже нашел, – злорадно ответил капитан. – Поехали утром в Потсдам?

У кружевных позлащенных ворот Сесилианхоф – резиденции маршала – клубилась стайка приютженных офицеров разного ранга в ожидании открытия приемной. В сторонке наблюдали и капитан с лейтенантом. Без минуты девять подкатил длинный "опель-адмирал", штабные офицеры бросились открывать дверцы и, казалось, вынесли к воротам девушку лет двадцати в голубом платье. По дороге каждую руку ее целовали два офицера сразу. Как тут не стать принцессой? Но девушка, напротив, играла свойскую школьную подружку:

– Мальчишки, не дурите! Ну перестаньте! Там маршал у окна...

– Она? – спросил лейтенант, ощутив непривычный холодок на губах.

Капитан кивнул: – Переводчица самого.

– Они как-то кричали "Ула, Уля"... неужели Ульяна? Непохоже.

– Подними выше, – посоветовал капитан, – Суламифь.

Капитану она была еще по Москве знакома, но представить ей друга он собирался в обед, а пока помчался по разным отделам, пробивая для себя и лейтенанта липовую командировку в ту область Германии, которую американцы уступили нам по договору (Лейпциг, Гота, Веймар, Эрфурт, Дрезден), а лейтенант пошел искать буфет. На каком-то переходе он чуть не толкнул эту голубую, прошелестевшую мимо с пачкой бумаг в руке. Проскочив три шага, он тормознул и оглянулся.

Она тоже стояла в нескольких шагах и смотрела на него.

– Кто это скомандовал нам "кругом"? Вы не расслышали? – спросил лейтенант.

– Действительно, с чего это мы разом оглянулись? – чуть растерянно отозвалась она.

– А я вас знаю, вы Суламифь, правда?

– Ну и я вас знаю, – парировала она, – вы Генка Шмерцин.

Лейтенант аж охнул: – Где же это мы познакомились?

– У меня дома. Но мы не знакомились, – и, сжалившись над ошеломленным лейтенантом, пояснила, – вы как-то пели у моей старшей сестры, на Бронной. Большая компания была, вы и не заметили такую малявку.

– На Бронной? – обрадовался он. – Кажется припоминаю, скажите, а сестра...

– Простите, – перебила она, – мне надо бежать.

– А можно мне бежать рядом? – взмолился он.

– Пожалуйста, бегите, но только до часового.

Пошли рядом. Генку знобило от страха, что сейчас она скроется в апартаментах маршала навсегда.

– Все это надо серьезно обсудить и не на ходу. Где подождать?

– Я на дежурстве, – Ула виновато пожал плечиком.

- Ну так пообедаем вместе?
- И обед занят, – извинилась она.

Генка почувствовал себя ограбленным:

– Ну конечно, вы кому-то уже обещали этот вальс...

Девушка стрельнула в него насмешливым взглядом:

– Крутиться придется, но это далеко не вальс. У маршала минутки расписаны. С неким господином он будет беседовать за обедом. А я перевожу.

Генке стало полегче:

– Оригинально, начальство обедает, а вы остаетесь голодной?

– Почему же, прибор мой стоит и вилка в руке, но мне надо повторять фразы обоих моих сотрапезников. Тут лови момент, когда оба жуют, и сама схвати кусочек.

– И вдруг один произносит что-то исторически политическое. Вы свой кусочек выплевываете?

– Как можно! – глаза Улы округлились.

– Не положено по протоколу. Давись-глотавай нежеваное.

Оба засмеялись.

– В котором часу сменитесь с дежурства?

– Узнайте у маршала, – посоветовала она, – как он пойдет к себе отдыхать, так и конец дежурства.

– А потом где вы будете?

– Казарма переводчиков у моста, дом с орлом на башенке. Но там часовой...

– Ну у вас, небось, шелковая лесенка найдется? – сообразил Генка. – Постою под окном...

Так они пересекли зал с жирными ангелочками на потолке и почему-то забеленными мелом зеркалами и оказались перед двухстворчатой дверью, которую автоматчик-часовой уже приоткрывал для Улы. Лейтенант в отчаянии штрафной заработал, по-футбольному сказать, сыграл рукой, чтобы остановить ее, но Ула и сама сдержала шаг. Уста их лепили какие-то фразочки, вполне, впрочем, логичные, но глаза говорили кратко и открыто:

“Я не могу тебя упустить. Услышь, помоги”.

“Сама это чувствую, упорхну – а тебя ушлют куда-то... Что тогда?”

И уходя сказала тихо, но четко:

– Будь в десять под каштанами против ворот.

Только в парке лейтенант перевел дух. Поразительно, но он не мог вспомнить, какая она, тоненькая или пышная, цвет волос, глаз... Ее нельзя было с кем-то сравнить. Да никого у Генки раньше не было. Он с облегчением кинул к ее ногам все свои победы, как знамена под Мавзолеей. Сейчас стряслось что-то огромное, важнейшее... То, что он чувствовал, было восторженное доверие. Поцелуй двух крылатых душ.

Тут же, в Потсдаме, за аркой, одна в современном особняке жила тридцатилетняя немка, подруга, которая Улу любила, да и обязана была, кажется.

Комендатура ее никак не притесняла, не трогала и в дом никого не поселила. Видно, Уле довольно было одно слово коменданту шепнуть. Девочка всегда была в двух шагах от маршала, и попроси она роскошный автомобиль или коллекцию картин – все бы нашлось сей момент. Впрочем, Ула расположением начальства никак не злоупотребляла, трофеев не искала и подарков не принимала.

Впустив молодую пару, подруга без слов поняла, что от нее требуется. Уступила уютную гостиную внизу, застелила тахту хрустящим бельем, подкатила журнальный столик с бутылочкой, фруктами и сигаретами и принесла для Улы нахтхемд – роскошное ночное одеяние в запечатанном магазинном пакете. Сама же бесшумно растворилась на полутемной лестнице, ушла на второй этаж.

Неловкости, нервности, искусственной нотки в этой подготовке и на волосок не ощущалось. Свидание, оказывается, началось еще в довоенной Москве. Ула, школьница, зеркально отражающая голос, манеры и склонности старшей сестры – своего идола, тоже постоянно мычала мелодии Генки Шмерцина – домашнего менестреля молодежных компашек. И сейчас она с забывшими глазами вспоминала те нехитрые напевы, ласково отстраняя его нетерпеливые руки (пусть она там уснет!), требуя подсказки, где нетвердо знала слова или мелодию.

– А новые, фронтовые есть, небось? Правда, что эта, на Киплинга, “пыль – пыль от шагающих сапог” – твоя музыка? Молодец, за это поцелуй, напомним потом. А

“Лина” тоже твоя? Весь фронт поет, но по мне, извини, примитив. И еще есть? Спокойно тихоньку...

Нынешние достижения сексуальной компетентности, то что сейчас на детских киносеансах показывают, были им неизвестны, ничего такого они не умели, да и не надо было. Самое простое, бесхитрое объятие давало им столько, что чего-то более сильного никакому сердцу не выдержать. Стали они жить от свидания до другого, мучительно перенося разделявшие их часы. Ула, по ее выражению, совершенно одурела и принимала его почти не таясь то у немки, то даже в своей спальне, когда подруга на дежурстве. Она частенько цепенела от ужаса, что ему вот-вот сунут назначение в Венгрию или в Монголию, даже проститься не забежит. Она и ждать его под крышей не могла, выходила к арке ворот вечером в халатике и могла так стоять часами, пока он не подлетал на своем “цундапе”. Этот мотоцикл, длинный, низкий, как тигр, присевший для прыжка, бойцы притащили лейтенанту аж с выставки, за рога. Совершенная по тому времени машина расстояние между Эйхвальде – полк и Потсдам – Ула делала совершенно незначительным. Последняя цифра на спидометре была 140, и это не километров, а миль.

Не в том была проблема. В полку наличием офицеров интересовались только на утренней поверке, а там, где он есть, не чувствует ли дома – без разницы. Но на любой дороге в Потсдам не миновать было КПП с автоматчиками. Несколько раз в штабе полка выписывали по дружбе липовое увольнение или командировку в ставку Группы, потом забеспокоились:

– Куда это ты каждую ночь мотаешься? Хватит, отдохни. Отвечать еще за тебя!..

Иногда на КПП удавалось отбрехаться или сделать вид, что конвоируешь какой-нибудь генеральский “хорьх”. Днем настоящей строгости не было, ну видят – лейтенант с парабеллумом, с четырьмя орденами, другое дело – с наступлением темноты. Приходилось прибегать к шутке небезопасной.

Издали Генка видел красный огонек на закрытом шлагбауме, размыто отраженный во влажном бетоне, и белый фонарь в руке автоматчика. При виде мотоциклетной

фары сержант показывал фонариком, куда причалить для проверки. Генка послушно сбавлял скорость, тихонько поддуливал к будке КПП, часовой вразвалочку приближался... И внезапно, в сотую долю секунды, лейтенант вырубал свет, припадал лицом к рулю, полный газ! И как взрывом брошенный вперед, вплотную проскребался под шлагбаум, чиркнуло железо по кителю... И вот он уже в ста метрах. На три уставных команды автоматчика: “Стоять! Стой, мыть твою муть!”, предупредительная очередь в воздух и боевая очередь на поражение, все-таки секунд семь уходит. Генка делался невидим и для прицельного огня практически недостижим, однако треск, цоканье, а то и свист слышишь, и пуля-то дура как раз и найдет сдуру-то... И к любушке своей лейтенант являлся в приподнятом настроении, как из боя.

Контуженый капитан, незлобивая душа, радовался за Генку, но все чего-то опасался: непривычно видеть такого счастливого человека, что-нибудь, тьфу-тьфу-тьфу, стряется.

– Вот стартиnant Ярополк, ты же знаешь его? Такая у него красавица, такая любовь, а в беду попал.

– Что-то трофейное добыл? – догадался лейтенант. – Скажи, у меня блат в госпитале, вырчим.

– Не там болит, где ты подумал, – с легким укором поправил капитан. – Но если кто и может его вырчить, то только ты.

И Генка привез Ярополка в Потсдам. Ула встретила их в парке Сан-Сузи, музейно чинно и совершенно пустом. Присели на мраморной лестнице дворца... Ярополк доложил обстановку. Старался кратко, о главном, заметно волновался, получалось казенно, Генка боялся, что приятель не понравится Уле. Но она так слушала, что, напротив, стало боязно, как бы Ярополк ей не понравился уж очень.

“Красивый какой, черт! – вдруг заметил Генка. – Выше меня на голову, глаз синий, талия, плечи во!..”

Помаленьку воспоминание рассказчика разогрело, стало видно и слушателям, как было дело. В самый день выхода к Эльбе дивизия уже двое суток не спала и валилась с ног. Спящие танкисты врывались в укрепления, спящие саперы снимали мины,

пехотинцы на марше вдруг на несколько секунд отключались не замедляя шаг и в глубоком сне выходили из строя... Надо было занять рубеж Эльбы раньше союзников. Хотя противник серьезного сопротивления уже не оказывал, только спешил сдаться не нам, а американцам, нельзя было допустить планомерного отхода врага – взрывов, поджогов, минирования, вывоза оружия, ценностей. И немцы бежали, что называется, босиком.

Грабов нам достался живехонький, с водопроводом, электричеством, нетронутыми магазинами и законопослушными горожанами. Кое-как выставив охранение, дивизия провалилась в сон. Около двух ночи Ярополка, не проспавшего и часу, вызвали к генералу. Комдив сидел в нижней рубашке на тахте и засыпал, не успев снять второй сапог.

"Карта на столе, посмотри, – сказал он Ярополку, – второй полк по магистрали прошел, третий – лесом, по рокадной дороге. Между ними огрех, участок, где никто не был. По данным местного населения, старуха сказала, там какое-то хозяйство, небольшой лагерь что ли. Разбуди любого офицера, возьми мой "виллис" с шофером, часового с крыльца и дуй, наведи там порядок, моими правами..."

"Мне бы хоть один танк, – плаксиво взмолился Ярополк, – мало ли что там?!"

Но генерал уже спал.

Уже рассвело, когда "виллис" взлетел на горб дороги. Ближе, в километре, показали огороженные колючкой бараки и вышки с часовыми. Побелевший водитель дико скосился на Ярополка.

"Чего глядишь? – поинтересовался тот. – Завиляешь – сшибут. Жми прямо к воротам да посигналь".

– Вы ничуть не боялись! – восхитилась Ула с легкой иронией. Ярополк сбавил тон.

– Минутку неприятно было, – признался он. – На вышке зашевелились, за оградой какая-то суета... Ну, мы на таран идем. Шагов сто осталось, гляжу – открывают ворота. Сержант комендантского взвода, генеральский часовой, толковый, прыгнул с заднего сиденья, немчуру эту, у ворот, разоружил, посадил наземь. А пулеметчиков с вышки снял – просто пальцем поманил: спускайся, мол. Правда, и вояки эти были последние гитлеровские поскребыши, то-

щие сопливые школяры и хромые старики. Но при настоящем оружии и силами не менее взвода.

Другой офицер, однополчанин Ярополка, и шофер бросились в белый двухэтажный домик – явно резиденцию начальства. Ярополк прошел на квадратный плац, поднялся на дощатую трибуну, там висела чугунная втулка от грузового колеса и болт на проволоке. Ну, Ярополк и стал звонить. Довольно скоро отворились двери бараков и высыпал на плац, быстро выстраиваясь в прямоугольники, мелкий, спичечно тощий народец, серолицый, в пыльной одежде, с разными на каждом рукавами (заставляли меняться для наглядности на случай побега).

Не понимая, кто перед ними, Ярополк кое-как повинулся, что приходится объясняться на языке наших врагов, и на фантастическом немецком объявил, что войне конец и все они освобождены. Арестанты, на взгляд несколько сот, человек с тысячу, приняли сообщение совершенно безучастно. Ярополк недоумевал. И вдруг выскочила из строя тоненькая фигурка, лапкой – сухой веточкой указала на офицера и завопила звонко:

"Гвезда! Гвезда!"

– Звездочку на фуражке разглядела, – поняла Ула. – Гвезда, это по-чешски?

– На польском, – поправил Ярополк. – Тут строй смешался, бросились к трибуне, облепили, стараются до руки дотянуться, шинель потрогать. Личики маленькие, серые, как картофельная шелуха. Одни глазищи. Плачут, кричат на десяти языках...

– И по-русски? – спросила Ула.

– Нет, русских не было. Польки, чешки, французенки, югославки, еврейки из Риги, даже норвежки.

– Неужели военнопленные? – удивилась Ула.

– Нет, конечно, собрали там штрафных из завезенной рабсилы, кто бежал, кто булку украл, кто чересчур нежному хозяину харю расцарапал.

– Все молодые? – спросила Ула.

– Понять нельзя было, голодные заморыши без всякого возраста. Тут мой напарник и шофер выводят из коттеджа четверых полуодетых эсэсовцев. Каторжницы, гляжу, вмиг переключились на этих господ. Моих товарищей оттерли, взяли фашистов

в кольцо, орут, плюются, кулачками машут и наступают плотней, плотней...

"Ах, они вас тут обижали? – говорю. – А ну, девки, берите их!" – и только рукой махнул... Так барышни эти в одну минуту на телефонном проводе повесили всю четверку на воротах.

– Вы самосуд устроили, – печально опредила Ула.

– Вернее, допустил, – поправил Ярополк.

– Лучше сказать, не смог предотвратить, – предложил Генка. – Однако ты, братец, крут.

– Видел бы ты, Генка, этих девочек, – вздохнул Ярополк.

И Генка увидел на секунду, но со страшной четкостью: Ула, юная богиня победы, которая сидит так близко, касаясь его бедром, стала землисто серой, с запавшими щеками и глазами, с темным потрескавшимся ртом. Долго голодная, избитая, оскверненная, на последней черте унижения, да еще и с разными рукавами... Через секунду вернулась Ула настоящая, но ненависть, перехватившая дух, осталась, и Генка готов был вешать палача лично и немедленно.

– И какие были последствия этой вашей... ошибки? – спросила Ула.

– А никаких. Нигде факт не зафиксирован.

– Тогда в чем же ваш вопрос? – с облегчением сказала Ула.

– Совсем с другой стороны удар получил, – чуть улыбнулся Ярополк. – Как генерал доверил мне действовать его правами, я и развернулся. Собрал в ратуше всех гешефтфюреров – управляющих отелями, магазинами, парикмахерскими. Господа, вы хотите кушать? Весь ваш штат чтоб был на месте – горничные, маникюрши, парикмахеры... Конфекцион – дамский магазин привести в боевую готовность, полный комплект товаров и продавщиц. В гостиницах новое белье, ванны, парфюмерия... Будут дорогие гости. И Боже вас упаси, если останутся недовольны.

Мобилизовал наш автобат, армейского подчинения "студебекеры", снаряды-то возить не надо больше, перевез, разместил, накормил своих подопечных. Велел составить списки, кто какой державы-короны, выбрать себе старшин в группах.

Адъютант комдива говорит – к генералу не лезь, не до тебя, действуй самостоятельно, по обстановке. Я помчался в штаб фронта, ищу начальника комитета по репатриации...

– Генерал-майор Алексеев, – вспомнила Ула, – вот такая черная борода.

– Ага, она и подвела меня, – грустно улыбнулся Ярополк, – довел меня волокитой бородач: то завтра, то послезавтра, то совещание... а у меня тысяча несчастных на горбу... Ну, выскочил я от этого попа и на всю приемную определил: – Репатриарх всея Руси! Погодите, мой генерал не паркетный, он вас живо побреет!

Неделю не видел своих овечек. Вернулся – разинул рот. Что делает юность, свобода и забота! Свеженькие, бело-румяные. Прически, фигурки... Сто процентов красавиц!

И Ула с ревнивой, как понял Генка, прозорливостью, угадала:

– А уж одна так прекрасна, больно смотреть!..

Ярополк сделал "хенде хок":

– Чешка из Праги. Русская семья. Французский тоже знает. Взяла на себя мою канцелярию, писанину. Ну и другие заботы, воротнички, пуговицы. Я уже без должности, ординарец не положен, легко ли одному...

– Знаем-знаем, Бог подаст, – остановил Генка. – До слез нас разжалобил.

– Помаленьку группами отправляем француженок, скандинавок через Эльбу, к союзникам и домой. Польки, чешки на восток. А моя пражанка все из списков не исчезает.

"Что это, – спрашиваю, – на родину не тянет?"

"Разрешите, – говорит, – я буду вашей кухаркой-прачкой-горничной?"

"И не проси, – отвечаю, – не пойдет. Только замуж. Последнее мое слово!"

– В чем дело? – удивился Генка. – Все знают, если у офицера и есть кто-то под плащ-палаткой, начальство не замечает.

– Да, если втихую, – грустно возразил Ярополк, – а я свою аж в офицерское собрание привел. Моя невеста, господа офицеры, прошу привечать-жаловать в столь высоком обществе. Скандал. Начальник политотдела на дыбы: иностранка, даже беспачпортная, кто разрешил? Пусть не-



медленно покинет... Тогда, естественно, и я покину. Взял под ручку и увел не откланявшись. В зале немало друзей было, даже крестников, кого, случалось, выручал и не в таких уютных условиях. Знаете, первый раз в жизни сердце кольнуло, физически, что никто и не пикнул в мою поддержку...

Отговорил Ярополк и как-то сник, сапоги свои разглядывает. На Улу смотреть неловко ему. Примчался со своими бедами, норовит на ее плечи груз переложить?

Ула минутку подумала серьезно:

– Эх, была не была, никогда ни о чем не просила... Не съест же он меня? Пишите рапорт маршалу. Коротко, не больше полстранички – суть дела, о чем просите. Приходите с Генкой к восьми утра. В приемную проведу и доложу самому.

Маршал появлялся в кабинете за час до официального начала занятий, разбирался на свежую голову в накопившихся бумагах. Усадив приятелей на старинные стулья в приемной, Ула сама прочитала рапорт кивнула Ярополку – годится, дескать. Вложила листок в папку, постояла сосредоточившись, потом выпрямила спинку, поплыла. Открыта была настесь дверь в просторную секретарскую и в противоположном конце ее видна была тоже раскрытая дверь в кабинет. Все три комнаты были большие, но в строгой тишине слышно было, как там маршал щелкает зажигалкой, кашляет, бумагой шуршит.

Кажется, минуты не прошло – впрорхнула Ула, подбородком показала Ярополку – иди, зовет! Он коротко глянул в лицо девушке, надеясь, видимо, прочесть на нем решение маршала, и пошел, широко, быстро, но стараясь не топать.

Донесся негромкий вопрос, ответ... И вдруг крик, бешеный, злобный:

– Что?! В России девок мало? Достойной не найдется? Вас там ждут, а вы...

Ярополк очень тихо, но возразил что-то.

– Блажь! Мальчишка! Выгону, погону сниму!.. – обычно ровный голос, приводивший в трепет обе величайшие армии двадцатого столетия, грохотал над вихрастой головой пехотного лейтенантика. – Немедленно отослать ее, и выбрось из головы. Повторить приказание!

Тут стал слышен голос Ярополка:

– Воля ваша, я ее люблю.

В крике зазвенело железо:

– Так она тебе дороже армии? Дороже академии? Последний раз, откажись от этой глупости или в рядовые.

– Это в ваших руках, но мне без нее... не жить.

– Вон! – последовала команда.

Ярополк упал на стул рядом с Генкой, прошептал:

– Конец. Ни жены, ни академии...

И в ту же секунду, хотя еще люстра звенела от маршальского крика, раздался буднично-скучно спокойный голос:

– Ула, зайдите ко мне.

И девушка вынесла из кабинета рапорт с ровной крупной надписью: “Свидетельствую брак, разрешаю въезд в Россию. Жуков”.

Этого было достаточно, чтобы оградить от всех вопросов в штабе, на границе, в загсе, даже в академии. Ярополк, надо сказать, был для армии золотой кадр, врожденный вояка, талантливый и удачливый. Одна беда – не дипломат. Неграмотность или трусость иных начальников замечал открыто. Тем и продвижение по службе тормозилось, награды где-то застревали – генерал представил к золотой звездочке, приходит “Красного Знамени”, и так всю кампанию. Сейчас ему в академию экзаменоваться, от комдива самые высокие рекомендации, но есть и другое мнение. Представляете, какой козырь в руке недоброжелателя была эта чешка?

Ах, Суламифь, опасно рискнули родители, нарекая тебя таким именем, ты могла бы стать мишенью насмешек, анекдотом... Но не просчитались. Душа и тело были в ней сплавлены настолько хорошо, что отличить было невозможно, к чему ты в эту минуту прильнул, особенно в полумраке и полудреме, порой Генка отчетливо чувствовал, что поглаживает губами атласную душу ее где-то у груди или вникает в шепот ее тела, открывающий тайну. Иногда он на полуслове каменно засыпал, правда, ненадолго, и, очнувшись, всегда заставлял Улу глядящей ему в лицо. И она сама знала, что ему подать, стакан, сигарету или бутерброд, на него напалдой порой зверский голод.

– Ну и характер, – сказал Генка, осторожно перенося руку через Улу, чтобы страшнущий пепел не на нее, а в пепельницу, – рассвирипел и тут же разрешил. Где логика?

– Была логика, еще какая! – возразила она. – А ты не уловил? Ничего особенного не заметил?

– Меня вот что поразило: только что человек орал и через секунду совершенно спокоен.

– Тепло, – одобрила она, – и что это означает?

– Это значит, притворяется человек.

– Горячо! – обрадовалась она, – Притворяется... каким?

– Притворяется спокойным.

– Совсем холодно, дурачок, – печально отметила Ула.

– Так я глуповат? – заподозрил Генка.

– Что ты, миленький, ты очень умный дурачок, только соображалка твоя нуждается в разминке и гимнастике. Вот ты – маршал. На плечах твоих многомиллионная армия, еще бурлящая страна, нацисты, преступность, недобитые дивизии, проблемы с продовольствием, непростые стыковки с союзниками... Есть у тебя время заниматься любовными страданиями отдельного комроты?

– Исключено, – Генка охотно вошел в роль. – Разве что ради симпатичной переводчицы.

– И как будешь действовать, еще не понял? – Ула приподнялась на локотке, чтобы видеть его глаза. – Может, пригласишь молодых на яхту денька на два-три, познакомиться, присмотреться... Хорошо бы, но у тебя на решение вопроса всего сорок секунд.

Только тут Генка вышел на прямую:

– Впадаю в бешенство, ору, топаю ногами. Мигом из него эта дурь выскочит. Тут бы любой генерал брюки испортил, а уж лейтенантишко...

– Так, миленький. А если он готов лишиться погон, орденов, академии, всех надежд и планов...

– Если даже мой гнев его не сломил – значит, любовь настоящая, надо уважать и помогать... Ты это предвидела, когда Ярополка привела?

– Нет, конечно, – призналась Ула, – просто понадеялась...

– Это личность! – Генка был восхищен.

– Находит решение мгновенно и безошибочно, как в бою.

Суламифь почему-то вздохнула в ответ, коротко, глубоко и слышно.

Девочка была наблюдательна, природно умна, да и выросла в семье, где рассуждали об устройстве человека и мотивах поступка. С легкостью могла бы помочь и себе, потрудись она оглянуться и уразуметь обстановку. Но счастливые в любви, особенно женщины, удивительно глупеют.

Все люди вокруг кажутся им нежными друзьями и горячими сторонниками, злобы, зависти быть не может!.. Только через двое суток разузнала она, что лейтенант Геннадий Шмерцин услан в командировку, не по званию ответственную, похоже, что и опасную. Даже записочки не оставил. Долговязый друг-капитан передал на словах просьбу ждать-любить-не волноваться... Тут же к ней стал подкатывать с настойчивыми знаками внимания крупный штабной начальник по кадровой части. Да, вспомнила! Это он все косился на юную парочку, когда она в концерте или на банкете открыто висела на лейтенанте, как рубашка на заборе. Нетрудно было догадаться, что этот поклонник и сдвинул офицера с шахматной доски. Более того, обиженный ее упорной нечуткостью штабник туманно намекнул, что чем скорее она забудет офицера, тем лучше для нее и для лейтенанта... Москва выручила, пришел долгожданный приказ – студентов-добровольцев демобилизовать, если желают немедленно, к началу учебного года. Распоряжение равно относилось к Суламифи и к Шмерцину. Ула нырнула под расставленные для объятия руки начальника и улетучилась в Москву. Догоняй, Генка!

А он уже знал, возвращаясь, по сосущей пустоте в сердце, что Улы в Потсдаме нет.

И все тут, на что ни глянь, цвет поменяло. И сам Генка, чудом выпорхнув из мясорубки, недавно был тут знатным путешественником, осматривал дворцы и соборы, благожелательно беседовал с прохожими, щедро угощал случайных соседей в кафе. Приятелей заводил, в домах бывал. Он входил с другом-капитаном в кафе "Фемина" на Кюрфюрстендамм, оркестр замолкал на полутакте, свет направлял на

вход, и капельмейстер возглашал с поклоном:

– Нах ден вунш унзере таере гесте... по желанию дорогих гостей – русских офицеров “Вольга-мутер”. Вступали скрипки и рыдали трубы “Из-за острова на стрежень...”

Теперь льстивая предупредительность эта была отвратительна. И Генка глядел на веселящийся зал свинцовыми зрачками: – Танцуют, а? Никто не виноват, все – жертвы фашизма. А кто расстреливал, этот или извините, вон тот? Кто в печах сжигал? Вон те господа? Стрелял-то в меня, бомбил, танками давил четыре года кто? Никто?

Снова вокруг была страна-убийца, логово людоеда, устланное смрадными костями. И воскресло первое, значит верное, чувство. Помнишь, была весна. И когда роты шли по глянцевым дорогам Померании и Бранденбурга, не ласкала взгляд красота чужой прокаженной земли. По обе стороны шоссе выстраивались яблони все в белом цвету, а лейтенант Генка заметил, недобро улыбнувшись, будто каждая веточка капитулирует.

Шмерцин стал проситься домой. Но сперва и здесь нашлось неотложное дело, через месяц отправили в Москву, но все еще не домой, а в резерв ставки. Ждите назначения или демобилизации, как решат. Многие предпочли службу в европейских гарнизонах, или в Японии прозябанию в голодной России. Пока жили у Донского монастыря, в соседстве с крематорием, в старых казармах по тридцать душ в комнате. Дневальства, дежурства, наряды на кухню и в котельную. Боевые офицеры в наградах, как зеркальные карпы в чешуе, грузили уголь, скребли полы, картошку чистили, для себя, конечно. И самое удивительное – с непостижимой чиновной жестокостью домой не пускали даже москвичей, с сорок первого маму не выдавших. У поганых фрицев отпуска-то были до самого разгрома, у нас такого послабления и в заводе не было. Но здесь-то до дому полчаса езды. Нет указания. Сперва отпускали, но кто-то напился, к поверке не пришел, пришлось воздержаться от увольнений.

Офицеры-москвичи вслух материли... Кого? Как вы думаете? Ага, подполковника, начальника резерва. Диву даешься, как слепы мы были. Все нелепости обраще-

ния с людьми, кровезатратная стратегия и тактика боя, глупейшая жестокость отношения к советскому человеку, который “проходит как хозяин”, объяснялась тупостью ближайшего начальника, случайной ошибкой отдела кадров. Прогнать дурака, назначить нормального, и все образуется. Далеко не глупые и не слабые офицеры, такого врага сокрушившие, в упор не замечали очевидного факта, что для их великой державы люди – просто дешевый материал, бутовый камень, завалите-ка телами траншею, чтобы колесница проехала...

Ну, для заморочки головы и напоказ что-то делалось, что денег не стоит и владык не тяготит. Погоны, медальки, офицерское собрание. Культивировалось понятие офицерской чести, хорошие манеры, церемониал приветствий. В столовой резерва, где можно было, отмывшись от погрузки угля, посидеть, побеседовать и выпить водки в компании господ офицеров, поддерживался известный политекс, обращение на вы, учитывая внимание к собеседнику.

Обалдевший от мотания по коридорам лейтенант Шмерцин спустился в столовую, взял в буфете стакан водки с закуской и подсел к столу. Здесь шла беседа о наградах и назначениях, о причудах начальства, о разных разностях фронтовой службы, только почему-то не о боях. И самая популярная тема – женщины. Сыпались рассказы об ослепительных победах, о роскошных дамах всех четырех мастей трофейной колоды. Правда, изредка в медовую чашу этих сладких баек, идущую по кругу, падала и капля дегтя.

– Не всем так везет, учтите, – сказал средних лет офицер-связист, – несем потери в личном составе. В мое дежурство прибыл артиллерист-капитан. Глаз заплыл, личность расцарапана, ус вырван, мундир в дырах, походка – маятник. “Вы, говорю, капитан, подвинтитесь. Тут начальство знаете как вас долбать будет!” А артиллерист этот добрый разрешил:

– Пожалуйста, пусть долбают, триппер получат.

За столом соглашались. Да, немок не разберешь, где баронесса, где проститутка. Другой вообще немок не признавал, холодные лягушки. Вот наши связистки, сестрички в санбате куда слаще. Третий возразил.

– Какие на передовой барышни? Девня, доярки...

– Не скажите! – вступился сосед Шмерцина, цветущий румяный майор. Генка как-то перемолвился с ним парой слов. Человек приятный, общительный, похоже – седьмой отдел, по работе среди населения и войск противника.

– Факт перед вами, лично мне посчастливилось встретить такую сказку!.. – майор заговорил с искренним увлечением, обращаясь главным образом не к далеко сидящему оппоненту, а к соседу Генке, человеку вроде бы знакомому. Хорошо рассказывал, рисовал в красках мимолетную фронтную любовь. Генка слушал впол-уха. На другом конце стола ручными часами менялись “втемную”. Тут кто-то свежую газету раздобыл, можно издали заголовки читать... Румяный майор с грустью пел о промелькнувшем счастье...

И нежданно Генку тяжко стукнуло, к столу пригнуло одно слово – полыхнуло в майорской байке редчайшее чисто библейское женское имя. Оглянувшись на безучастно прослушанный рассказ, прокрутив его в памяти, Шмерцин убедился – да, все совпадает, она, Суламифь.

Генка поставил стакан на стол, уперся взглядом в теплые карие зрачки майора и глухо сказал:

– Ты врешь, гад.

Он не вскочил, не крикнул, но весь стол затих и оглянулся. Не курок ли щелкнул? Серьезный скандал тут был в диковинку, а офицеры-то при оружии...

За долгую душную паузу майор несколько полинял, но глядел не испуганно, а скорее, печально. Не в его правилах, сказал он, в беседах такого рода называть чьи-либо имена. Оно вырвалось невольно. Он глубоко сожалеет, признает ошибку, даже вину... Но поскольку так уж случилось, он вынужден подтвердить, что не солгал, было.

В решающие минуты Генка соображал быстро. Да, вижу, ты знал ее. Мало ли что, сотни офицеров ее знали. Может, говорил с ней, пусть даже и поцеловал. Но чтобы близость?! Думаешь, нет возможности тебя уличить? Никак нельзя тебя проверить, да?

Вовсе уж нехстати мелькнуло в памяти, как маршал проверил Ярополка. Сильное средство? Было оно в запасе и у лейте-

нанта Шмерцина. Не колеблясь, Генка пустил его в ход:

– Что она говорит?

И майор еле слышно, но мгновенно прошелестел на ухо соседу три коротких словечка, даже интонацию, кажется, повторил, подлец.

Сколько раз слышал Генка эту фразу в ночной теплоте, в самую интимную минуту жизни. Даже себе, вспоминая, он никогда не произносил этих слов вслух. Какие это были слова? Ну уж, конечно, не всем знакомые, привычные, вроде “любимый, милый, я вся твоя...” – то, что и угадать мог бы проклятый майор. И все-таки что это за слова? Сказать? Вот они:

ОТДАЙ МНЕ ВСЕ.

И что же они означают? А вам действительно надо знать?

Времена были жестокие. Молодые обычно не имели ни денег, ни порядочной крыши над головой. Появление ребенка страшило, как беда. А избавиться тяжело было, дорого, больно, унижительно, даже для жизни опасно. Самые прекрасные минуты были отравлены: ни на секунду не забудь, что нельзя быть с нею в тот высший миг... пора, уходи!

И вот короткий возглас, знак самоотверженности почти жертвенной – любви меня без границ, беспредельно, а там не твоя забота, ни о чем не думай.

Через день-другой Шмерцин освоился в резерве, порасспросил старожилов о здешних порядках. Зашел в штабную комнату к тыловому пыльному очкарику в старшинском чине. Тот, разумеется, перед офицером не встал, не козырнул, только буркнул “шонадо?” не отрываясь от своих ведомостей.

– В город? Никак невозможно, – строго сказал он, но, заметив, что офицер положил на его бумаги позолоченную трофейку, поддельную брошь, продолжал голосом другого человека: – Вот увольнительная в центр, в магазины, купить для стенгазеты, для красного уголка... Но только до проверки.

Генка молча положил перед ним наручные часики – штамповку.

– Я пишу вам направление в госпиталь на обследование, – это уже был голос третьего вида. – Телефон на обороте, в восемь утра будете мне звонить. Если нет

вам назначения, свободны до следующего звонка.

И лейтенант вернулся с войны. Он должен был семь раз позвонить в дверь своей коммунальной квартиры, открыла мама, увидела в ярком солнечном свете офицера с чемоданом и спросила: – Вам кого?

– Вас, – ответил Генка и, взяв ее на руки, внес в квартиру.

Конечно, сбежались соседи, родня, кое-кто из приятелей – инвалиды, белобилетники... Слетали за водкой. Мать собрала что нашлось на закуску. И надо же! Генка вспомнил, что в сорок первом, когда его провожали, мама боялась, что перепьются, водки многовато, а он пару бутылок засунул в стенной шкаф под старые журналы. Бутылки были на месте. Мама ахнула: знать бы! В тяжкие времена этот литр сильно бы ее подкормил.

Генка сразу пить не разрешил, велел каждому поставить вторую рюмку, сравнить напитки. “Белая головка” хлебом и праздником пахла, а новая водка – безвременной погибелью.

Сперва Генка и носу из дому не казал, надо же день-другой уделить матери? Потом отсыпался от огневого налета гостей. А на следующее утро принял костюм уютить. Тоска по галстуку. Да и ходить по городу лучше в вольном, патрули цепляться не будут, и козырять надоело...

Наконец, заметил, что боится встречи с Улой. Смешно, ей-Богу, с чего я буду переживать, как гимназистка? Что, собственно, стряслось? Знал, небось, что у нее раньше было что-то, и сам пришел к ней не мальчиком. Прошлое списывается. Яблочный майор – это давно, до тебя, не измена. ДО – понял?

Но узнал-то Генка ПОСЛЕ, царапинка на сердце легла только что. Выходит, вслед за мной появился приятный офицер с яблочным румянцем на щеках.

Сердце в логику не вникает, царапина саднит. Предательство, измена.

Да бред это, чушь. Один ее поцелуй – и растают все твои страдания.

И помчался к ней на Бронную. Старый дом, полутемный подъезд. Открыла сама. Линялая домашняя кофточка без застешки, полотенце вместо фартучка, космы каштановые в первобытном хаосе, круглые руки по локоть в муке. И вся она тут стала настолько своя, такая близкая, что у Генки в носу защипало. Не принцесса трофейных дворцов, на которой отблеск славы великого полководца, а жена моя, крыло берегущее, опора и отрада. Эх, пропадай пижонский костюм, если мука не очищается. Обнял и поцеловал, как сорок тысяч братьев не поцелуют.

И уже знал, что ничего не будет. Вот сольемся мы сейчас ближе некуда, скажет она мне... и ввалится в нашу постельку яблочный майор. Нет уж, ты отдай мне все, красная рожка, а я – счастливо оставаться!

Подумаешь, осколок в лоб. Да пройдет через неделю, не такое перенес. А это что? Дым, пар, фу, и нету. И за это отдаешь?.. Опомнись. Нет, врут, сам собой управляешь, не подчиняется мне мое же нутро. Тонкое устройство – фарфоровый лотос души человеческой, нечего было соваться туда с железной отверткой.

Лейтенант Геннадий Шмерцин принял первое же предложенное назначение и улетел аж на Курилы, ничего не объяснив.

Через целую четверть века пасьянс московских компаний где-то на именинах свел Шмерцина с красивой пышно-седой дамой. Живет неплохо. Интересная работа – дубляж фильмов с немецкого. Две дочки-невесты... Слушай, а почему ты сгинул тогда, в сорок пятом?

Генка рассказал.

Ула на минуту застыла, напряженно, глубоко копаясь в памяти. И виновато пожала плечиками... Нет, она не могла вспомнить яблочного майора.

Москва, декабрь 91

Подписаться на наш журнал можно начиная  
с любого номера.

Индекс по каталогу ЦРПА – 70434.



**Михаил Танич** на войне насмотрелся всякого и понял многое. Не понял только, по молодости лет, что не обо всем надо было рассуждать вслух. За это и попал в ИТЛ, исправительно-трудовые лагеря. Но и лагерный труд его не исправил, а главное, не сломал, не лишил веселого нрава и писательского все замечающего глаза. Из-под его легкого пера вышло несколько поэтических сборников.

Мы печатаем несколько стихотворе-

---

### *Плюс наши восемнадцать лет*

Ну, мыслимое ли дело – 50 лет Победе?

Нет, конечно, и юбилей, и торжества – это все нормально, а вот наше ветеранское присутствие в такой дате – из ряда чудес, которые, оказывается, бывают на свете!

Сколько же нам, значит, стукнуло? Пятьдесят победных плюс восемнадцать призывных лет. Плюс сама война, плюс Первый Прибалтийский и Первый Белорусский!

Плюс ранения, контузии, госпитали и тюрьмы – все год за три – вот и получается: столько не живут.

Но – живем! Бесплатно ездим в метро и красивых женщин все еще замечаем, и шеи свои, без подворотничков, как подсолнухи – по солнцу, за ними поворачиваем! И благодарим Бога за то, что промахнулись целившие нам в лоб снайперы и осколки.

Из моего стихотворения:

А если о правде, о матушке,

Меня бы спросили друзья:

– А страшно вам было, ребятушки?

– Еще бы! – ответил бы я.

Не "Бородино"!

И дальше – стихи мои, прошу прощения.

---

### *Вальс "Березка"*

Оркестр вдыхал и выдыхал,  
Порхал по нотам легкий ветер,  
Горсад под вальсы отдыхал,  
И детство праздновали дети.

Стихала к вечеру жара,  
Слетала бабочка с левкоя!  
Была навеки та игра!  
Вы тоже помните такое?

ний, которые стали песнями знаменитой группы "Лесоповал", созданной и руководимой Таничем. Вообще-то песни на слова Михаила Танича поют едва ли не все звезды нашей эстрады (в том числе и "американка" Люба Успенская). Но лесоповальские песни – особь статья. Музыку к ним написал и первым спел талантливый самоучка Сергей Коржуков.

Человек тонкой душевной организации, не имевший фронтовой и лагерной закалки своего старшего друга, он – по причинам ему одному известным – очень рано решил уйти из жизни. Как сказал кто-то, "жизнь подбила его на самом взлете".

Из уважения к его памяти Танич воскресил "Лесоповал", воскресил музыку Коржукова: теперь их песни поют трое ребят, из них двое – по странному совпадению – тоже Сергей.

---

Поэт. Еврей.  
Смешно.  
И некрещеный,  
И трубка не закутана в уста,  
И ни в обычный день,  
И ни в прощенный  
Я не ношу нательного креста.  
А верую?  
Да верую, пожалуй:  
Не все, не краду, не предаю!  
И не гонюсь за модой залежалой,  
На чем стоял,  
На том и постою.



Михаил Танич (1942 г.)

Приди, волшебник, и сделай  
пас,  
Спаси, волшебник, от смуты нас,  
Приди из сказки, из братьев  
Гримм,  
Чайку заварим, поговорим.  
От нас, ты знаешь, который год  
Не самый худший бежит народ,  
Летят по свету, перо им в зад!  
Еще вернуться, глядишь, назад.  
Мы будем ждать их у тех берез,  
Не где Распутин,  
А где Христос.

---

### *Мне не в чем каяться*

Мне не в чем каяться,  
Я прожил, как в пробирке,  
Но опыт мой поставлен был в тайге,  
Где химики привязывали бирки  
Отчалившим веревочкой к ноге.

Мне не в чем каяться!  
Стучать не вербовали,  
И опер не ухаживал за мной,  
Не знаю, как я на лесоповале  
Не опочил под плановой сосной.

Мне не в чем каяться,  
Но выпью эту чашу –  
И вспомню, тайне сердца вопреки,  
Жену мента, Колесникову Машу,  
Джюльетту моей лагерной тоски.

Мне не в чем каяться,  
Но врезалось навеки,  
Как пряно пахло хвоей и травой,  
Как в глушь мы с ней свернули с лесосеки,  
И офицерский плащ – под головой.

# ПЕСНИ ГРУППЫ "ЛЕСОПОВАЛ"

## *Птичий рынок*

Птичий рынок, он и лаёт, и поет,  
Птичий рынок покупает – продает!  
Попугай, черепахи, пуделя,  
Птичий рынок, разлюбезная земля.

Птицы – в клетке,  
Звери – в клетке,  
А на воле – воронье!  
Это – плач по малолетке,  
Это – прошлое мое!  
Мы кормили в малолетке  
За решеткой воробья!  
Небо – в клетку,  
Родословная моя!

Дядя Вася отложил радикулит,  
Дядя Вася птицам клетки мастерит!  
Ах, барыга ты, ханыга ты, чума!  
Это ж птицам – Воркута и Колыма.

Птичий рынок, твари милые мои,  
Меченосцы, волкодавы, соловьи!  
И на вас я, сизари и пуделя,  
Все истрочу до последнего рубля.

Птицы – в клетке,  
Звери – в клетке,  
А на воле – воронье!  
Это – плач по малолетке,  
Это – прошлое мое!  
Мы кормили в малолетке  
За решеткой воробья!  
Небо – в клетку,  
Родословная моя!

## *Я куплю тебе дом*

Я куплю тебе дом  
У пруда, в Подмоскowie,  
И тебя приведу  
В этот собственный дом,  
Заведу голубей,  
И с тобой, и с любовью  
Мы посадим сирень под окном.

А белый лебедь на пруду  
Качает павшую звезду,  
На том пруду,  
Куда тебя я приведу.

А пока – ни кола  
Ни двора и ни сада,  
Чтобы мог я за ручку  
Тебя привести!  
Угадаем с тобой –  
Самому мне не надо –  
Наши пять номеров из шести.

Мало шансов у нас,  
Но мужик-барабанщик,  
Что кидает шары,  
Управляя лотом,  
Мне сказал номера,  
Если он не обманщик,  
На которые нам  
Выпадет дом.

А белый лебедь на пруду  
Качает павшую звезду,  
На том пруду,  
Куда тебя я приведу.



Группа  
"Лесоповал":

В.Соловьев  
С. Коржуков  
В.Смирнов  
И.Бахарев



## *Когда я приду...*

Когда я приду,  
От звонка до звонка отмантуля,  
В том случае, если,  
Опять же, останусь в живых,  
В затертом году,  
Но опять же, я помню, в июле,  
Тебе из тайги  
Привезу я цветов полевых.

Когда я приду,  
Отмахав задарма пол-России,  
И с тем, как я жил,  
Не за-ради тебя завяжу,  
Ты мне не должна,  
Но опять же, цветы полевые  
На третий этаж  
Я тебе без звонка положу.

Когда я приду,  
Будет все на земле по-другому,  
И даже тебе –  
Я пришел не пришел – все равно!  
Ты мне не должна,  
Нам все больше дорога из дому,  
А если б ждала,  
Это было бы просто смешно.

Когда я приду,  
Вспоминая, опять же, что было,  
И эту беседку, и летнее это кино,  
И если, опять же,  
Случайно меня не забыла,  
Букет из тайги  
Ты за шторку поставь на окно.

Когда я приду  
После этого крыма и рыма,  
В окно погляжу –  
И опять же, цветов не видать –  
И станет мне легче  
Шагать во все стороны мимо  
И в каждом прохожем  
Твоих мужиков узнавать.

Михаил Танич  
и  
Сергей Коржуков

## *Письмо матери*

Не пишу,  
Ты не жди почтальона  
И на стук не срывайся чуть свет!  
Это – блажь воровского закона,  
Но у жулика матери нет.

Ты пойми –  
Нам нельзя по-другому,  
И не видно дороги назад!  
Только раз вор уходит из дому,  
Как пропавший без вести солдат.

Ну зачем  
Хоронить меня снова,  
Толковать подходящие сны?  
Написать – это будет сурово  
И нечестно с моей стороны.

Мы живем  
Не на воле, а в зоне,  
И по нашим раскладам правы,  
И твои я снимаю ладони  
С непутовой своей головы.

Не пишу,  
Ты не жди почтальона  
И на стук не срывайся чуть свет!  
Это – блажь воровского закона,  
Но у жулика матери нет.





**Михаил Давыдович Вольпин** – друг и соратник Николая Эрдмана. Дружба началась в 20-е годы, а в тридцатые друзья попали в лагерь – по счастью, ненадолго. В начале 40-х они вдвоем ушли на войну. Вдвоем написали несколько лихих сценариев: "Старый наездник", "Смелые люди" (первый советский вестерн).

Сочинял Михаил Вольпин и в одиночку – сценарии для мультфильмов ("История одного преступления"), киносказки и стихи. Стихи не все были веселыми. Многие при жизни Вольпина опубликованы быть не могли: лагерная грусть была не в моде.

Слушать рассказы Михаила Давыдовича о

Там не кочуют табуны оленей.  
Там все наполнено щемящей пустотой.  
Пустой простор. Ни чумов, ни селений.  
Пустой простор над вечной мерзлотой.  
Проклятый край осточертелых ветров,  
Коварных кочек, гнуса и болот.  
Как много долгих лет и длинных километров  
В том проклятом краю нас отделяли от  
Обыкновенной почвы под ногами –  
Простой земли, деревьев и кустов,  
От скошенных лугов с душистыми стогами,  
От первой бабочки над клумбой без цветов.  
На воле воли мы не замечали  
В слепой привычке торопливо жить.  
В погожий день мы на жару ворчали,  
Не отличали горя от печали.  
В начальных школах нас не обучали,  
Что и печально надо дорожить.  
Нам в голову не приходило прежде,  
Что счастье прячется в привычных пустыках,  
Что много лет мы будем жить в надежде  
Встать перед зеркалом не в стеганых  
портках,

А в нашей прежней сказочной одежде –  
В бостоновых штанах и пиджаках.  
Нас расстояния и годы отделяли  
От пухлых ромбиков на ватном одеяле,  
И от подушки мягкой пуховой  
Под неготовой к бедам головой.  
Да, годы эти, километры эти

Нас отделяли от всего на свете.  
От птичьего базара на заре.  
От летних звезд. От солнца в январе.  
От старенькой, едва живой избушки  
В роскошных деревянных кружевах.  
И от московской дружеской пирушки,  
От пьяной правды в путаных словах.  
От тех ночных дискуссий дерзновенных,  
Где каждый прав и лезет на рожон.  
И, главное, от необыкновенных,  
Таких красивых, добрых, неизменных  
Ревнивых, ласковых, любимых наших жен.  
Двухспальные трехъярусные нары.  
Скамейка. Стол. И ржавый чан с водой.  
Здесь мы живем, разводим тары-бары.  
На нарах ночью спят мужские пары.  
И все идет привычной чередой.  
Бывает иногда... Но только мы не ропщем.  
Стараемся не думать о худом.  
Работаем – не ленимся и, в общем,  
Исправно исправляемся трудом.  
А по ночам женатым снятся жены.  
Был роздан всем один и тот же сон:  
Целуют жен роскошные пижоны –  
Уже мужья, уже не наших жен.  
Такие сны не снятся без причины...  
И мы женатые рогатые мужчины,  
Тоску свою скрывая от людей,  
Хвалили мусульман и сочиняли шутки –  
Все бабы, мол, на свете проститутки,





**Доброницкий Виктор Васильевич** (4.04.1910 – 16.06.1948) – кинооператор, окончил ВГИК в 1936 году. Работал на Московской студии кинохроники (ЦСДФ). Членом партии не был.

В качестве кинооператора участвовал в трех войнах. В 1939 г. снимал разгром японских войск на реке Халхин-Гол, в 1939–1940 гг. – прорыв линии Маннергейма в войне против Финляндии. На Великую Отечественную войну попал в составе кинобригады

## Виктор Доброницкий

### *Из дневника фронтового оператора*

29 июля 41 г.

*К войне готовился.* Ждал войну – она неизбежно должна была быть... Речь Вячеслава Михайловича 22. VI в 12.15 дня дала знать, что война уже с утра идет.

Готов был выехать в тот же день: аппарат в готовности всегда, пленка заряжена. Личные вещи – вещь простая, да и не до них... Семья, Натulyка-малышка, родные – вот забота. Как оставить их, не приспособленных к лишениям, к бомбежкам, которые неизбежно будут? Это волнует и посе́йчас – как они там, куда совалась банда фашистов, потихоньку подкрадываясь с воздуха с запада, где еще от солнца осталась светлая полоса на небе поздно вечером, когда народ после напряженного трудового дня хочет отдохнуть?..

Для меня с моей семьей и родными война началась сейчас же, как послушали речь: заметалась Танюшка – как бы скорее заложить облигации и купить для Натulyки побольше питания на ближайшее время. Меня вызвали на фабрику – снимал весь день митинги, слушают радио с фонограммой речи, читают речь, расклеенную на улицах; улицы, полные народа, – все говорят об одном – о войне.

Так шли дни, бессонные ночи до 4 июля. Они полны были работой на студии, съемками, окончательной подготовкой, мысли о Натulyке, Танюшке, родных моих не покидали ни на минуту.

*... Сегодня 25 дней, как я уехал на фронт.* Где мои девчушки родные, не знаю. Ни одной весточки, ни строчки ни от кого не получал. Догадками живу – а это тяжелее всяких неприятных известий.

4 июля 1941 г. – на Северо-Западный фронт, в 11-ю армию. Закончил военные съемки в 1945 г. на 2-м Украинском фронте, в Чехословакии.

За время работы им снято 53 фильма и около 300 сюжетов для киножурналов. Наиболее крупные картины: “Чрезвычайный 8-й съезд Советов” (1936), “Серго Орджоникидзе” (1938), “18-й съезд ВКП(б)” (1939), “Линия Маннергейма” (1940), “Концерт фронту” (1942), “Орловская битва” (1943), “Конференция трех министров” (1943), “Возрождение Сталинграда” (1944), “27-й Октябрь” (1944), “Крымская конференция” (1945), “Парад Победы” (1945), “Освобожденная Чехословакия” (1945), “Освобождение в Европе” (1946).

В.Доброницкий четыре раза удостоен Государственной премии: за фронтовые съемки для киножурналов (1942), за фильмы “Возрождение Сталинграда” (1943 – 1944), “Молодость нашей страны” (1946) и “Москва – столица СССР” (1947). В 1944 году награжден орденом Красного Знамени.

... Вот с этого для меня началась война.

Участником ее я стал на рассвете 12 июля, когда, попрощавшись в Новгороде с полусонными товарищами, первым выехал на фронт снимать войну. Легко сказать: снимать войну!

В это утро война для меня началась во всей своей полноте. Не успел выехать за город, подъехал всего лишь к вокзалу, чтобы взять вещи для товарища, прилетели 4 “мессершмитта”, начали пикировать на вокзал... Вижу, посыпались по 4 бомбы из них... Свист, все усиливающийся с приближением к земле. Командую еще неопытным ребятам, членам своей бригады: “Ложись!..” Разрывы бомб... Грохот... Звон стекол... Крики раненых.

Немец промазал по вокзалу – попал рядом, по домам с мирно спавшими жителями. В 100 метрах от вокзала упали бомбы, разбив осколками лишь заборчик вокзала, но в ста метрах пострадало мирное население – дети, женщины. Вдали от вокзала враг сбросил еще по две порции бомб – метал в депо и товарный состав, а попал на поле, шоссе и в жилые дома.

Судьба спасла нашу машину от этого смертоносного груза. Я должен был заехать на вокзал и к этому самому товарному составу за одним журналистом. Спросил шофера, куда раньше выгоднее – ответил: все равно. Я и решил заехать раньше к вокзалу, а потом туда. По времени вся эта бомбежка длилась 15–20 секунд. По подсчетам, если бы мы раньше поехали к составу, то как раз угодили бы под бомбы, упавшие на шоссе!

По пути к составу лежали изуродованные ребятки, женщины без голов, без рук, с вскрытыми животами. Стон. Плач. Зов на помощь. Стойко и самоотверженно работали группы самозащиты из Н. Ехал с негодованием в душе. С какой-то адской силой злобой думая о варварстве врага... Снимать все это решил – не буду, хотя в задании и было. Не хотел начинать первую съемку с бедствия, с горя женщин и детей, хотя кровь хроникера кипела и дико рокотало под защитного цвета гимнастеркой сердце.

Это была первая бомбежка Новгорода.

... С ужасом думал о Натульке, Танюшке, о папе, маме, Соне, Тане, о всех своих родных, близких, оставшихся в Москве, но успокоил себя тем, что, во-первых, в Москве дисциплина ПВО блестящая, есть убежища, население заранее узнает о приближении врага и



укроется. А ведь здесь дают тревогу, когда враг отбомбится! Правда, здесь рядом фронт, и появляется он внезапно...

*... Побывал за эти 15 дней на переднем крае обороны.* Посмотрел, как мужественно дерутся наши красноармейцы и командиры, как лихо они отвечают на каждое зверство врага. Что они делают с гадами? Уничтожают всеми видами оружия. Делают шашлыки из него, насаживая на наш штык в схватках.

Лейтенант, командир разведвзвода (грузин) получил задание выйти на своем броневике в г. Дно на окраину, где возник пожар, и узнать, в чем там дело. Встретил он 20 человек немецких мотоциклистов. Они подожгли Дно в расчете выгнать оттуда нас. Он открыл огонь по ним из пулемета. Они по нему. Все же отважный лейтенант вывел шестерых мотоциклистов из строя. Убил часть из них, часть ранил. Вылез из броневика, вступил в рукопашный бой, побросал немцев всех до одного в ими же зажженные дома, прицепил 4 исправных мотоцикла к броневикам и притащил их к себе в разведвзвод для езды на них. Тут же разведчики на этих машинах пошли на разведку в тыл врага.

И вот с таким человеком говорил я. Смотрит он тебе в глаза, улыбается, спокойно рассказывает обо всем, как будто ничего особенного не произошло, а ведь на самом деле это герой. И по сей день он ходит в разведку, он жив и здоров, и такие умницы не могут умирать – им дана воля, мужество, им вверена защита Родины.

*14 июля уходил из окружения вместе с операторской группой.* Членам моей киногруппы

Судьбой Виктору Доброницкому было отпущено всего 12 лет работы. О своем боевом товарище вспоминают его коллеги-фронтовики:

“Оператор Виктор Доброницкий, говоря без преувеличения, был гордостью нашей кинохроники. Мастер событийного кинорепортажа, он был автором великолепных индустриальных сюжетов, рассказов о людях труда. Удивительное было у него владение светом, композицией кадра. Был он мастером на все руки. Великолепным механиком, знатоком киноаппаратуры, через год после того, как вышел из стен института кинематографии, Доброницкий стал в первый ряд мастеров советского документального кино.” (Роман Кармен “Но пасаран”, изд-во “Советская Россия”, 1972г.)



говорить об окружении не было велено. Знает, переживает это положение и нервничает один. Еще ночью наклеивалось окружение, меня об этом как старшего предупредили, велел подготовить машину, заправить горючим, водой, маслом. Ребят уложил спать. Сам не спал, хотя тянуло ко сну. Кругом рвались снаряды... ну, к этому все мы изрядно привыкли, и кто очень хотел спать и не знал об окружении, с каждым часом сужавшемся, тот мог спокойно спать. Утром, когда машина еще продолжала вздрагивать – больше от храпа, чем от снарядов противника (обстрел стих), разведка сообщила, что есть “ворота”, можно выйти из круга. Взяли курс на местечко В. Не успели и выйти за пределы г. Дно, как сзади колонны наших машин (не люблю ездить колонной – приманка) и рядом идущего обоза лошадей показался “юнкерс”, широко распластавший крылья и пикирующий на нас, пуская из-за холостого хода моторов черные струйки дыма. Остановились. Врассыпную. Схватили, кто успел, винтовку. Укрылись. Встретили его огнем. Он шел и поливал из двух пулеметов колонну. Ни одна машина не загорелась. От пальбы понеслись повозки с лошадьми. Это было какое-то необычное зрелище. Кое-кто натерпелся страха. Все живы и здоровы. До позднего вечера, на протяжении 80 км, то и дело налетал бандит, под конец начавший бомбить колонну, но никто так и не пострадал. Все со смехом вспоминаем об этом дне. Шутили над отдельными товарищами, “особо отличившимися” в этом переходе.

... Идет 13-я страница, а кажется, что еще не начинал писать. Много всего. Массу пережил за это время. Руки не опускаю, голову тоже, хотя очень устал. Мало сплю.



*“Мне повезло с напарником, очень повезло. На фронте я работал, главным образом, с оператором В.Доброницким. Он был “старшим” в нашем звене. Это был талантливый оператор, настоящий кинохроникер-универсал, одинаково хорошо снимавший и события, и организованные кадры со светом. Доброницкий был признанным мастером репортажа. Он очень быстро ориентировался, снимал уверенно в любых условиях – в жару, в мороз, в пыли и под дождем. В его материале никогда не было ни творческого, ни технического брака. Он хорошо знал и любил технику. Аппарат у него всегда был в образцовом состоянии. Как сейчас вижу Виктора в минуты затишья в нашем операторском “фургоне”. Расстелив белоснежную тряпочку, он методично кладет на нее одну за другой детали съемочной камеры. Под рукой портативная сумка с полным набором необходимых инструментов.*”

Много ездим по ночам, т. к. днем или снимаем, или нельзя передвигаться, т. к. демаскируемся. Днем стоит жара. Ночью холодно, правда, темень спасает. Спим в машине и возле нее. Питаемся очень хорошо.

Вчера ездили на передний край. Снимал работу нашей артиллерии. Снял отличные планы. Был свидетелем, когда озверелый враг забросал деревню Ручьи зажигательными снарядами. В деревне было население. Начался пожар. Бойцы не отступили ни на шаг, хотя шел ураганный минометный обстрел деревни, где были расположены на огневых позициях наши. Уже было совсем темно. Подошла к комиссару женщина. Лицо ее в крови. На руках грудной ребенок с изуродованным личиком в слезах. За руку держится девчурка лет 3–4. С пробитой головкой, тоже в слезах. Мать показывает на свой горящий домик – просит помощи. Комиссар немедленно отправил ее на машине в госпиталь, успокоили по возможности. Но как и чем можно успокоить мать, у которой на руках двое изувеченных ребятишек, полужертв “вегетарианца Гитлера”?

Снимаю артиллеристов. Залп за залпом посылаются тяжелые снаряды на врага. С огнем и громом разрываются они среди полупьяных [?] гитлеровских бандитов. И в каждый снаряд вкладывается заряд ненависти к врагу, которая выражается даже в команде командира батареи:

“По гитлеровской пехоте орудия № 1, 2, 3, 4 – огонь!”

Команда не соответствует уставу артиллеристов, но обстановка и гнев, с которым идет Красная Армия на врага за все его зверства, позволяют командирам делать эти “вольности” в подаче команды.

С еще большим остервенением бросаются расчеты к своим орудиям после каждого



Работает он точно, быстро. Ему наша группа обязана и тем, что наши съемочные камеры не замерзли даже в самые сильные морозы: помнится, Доброницкий применил какую-то особенную смазку, очень эффективную. По его же инициативе с наступлением холодов всем операторам группы пошили специальные двойные ватные мешки для съемочных камер и пленки. В.Доброницкий был храбрым человеком и в то же время достаточно рассудительным и осторожным. Он никогда не сидел в штабе фронта. В течение почти года совместной работы мы все время были в передовых частях 11-й и 27-й армий. Виктор хорошо читал карту, легко ориентировался на местности, знал оружие и владел им. Я многому научился у него. Характер у Доброницкого был нелегким, но работали мы исключительно дружно, много раз взаимно выручая друг друга. (В.Головня "Это было на Северо-Западном...", ж-л "Искусство кино", №6, 1981 г.)



залпа и молниеносно вкладывают снаряд за снарядом в жерла огромных корпусных орудий дальнобойной артиллерии.

*Появился над нами двухфюзеляжный немецкий самолет "ягуар"* (он и разведчик, и истребитель, и бомбардировщик). Прилетел разведать, откуда же сыплется на них столько металла, с тем чтобы, узнав координаты батареи, немец смог открыть огонь по нам. Но опять раздалась команда лейтенанта: "Проститутка" над нами", – и немедленно все 4 орудия были тщательно замаскированы, а расчеты попрятались в траве и камнях. Я открыл по ней огонь из "Аймо"\* – снял ее, а зенитчики обстреляли из зениток. "Проститутка" удрала. Так зовут этот тип самолета, который служит у немцев для корректировки стрельбы и разведки наших батарей. Таких терминов нет в уставе, но обстановка и лаконичность выражений командиров и бойцов рождает эти очень меткие названия.

*В 6. 00 вскочил от разрывов бомб.* Вскочили все, влезли в сапоги. Начали следить за воздухом. Над нами прошли 3 немца. Бомбили в 500 метрах от нас один объект. И вот до сего времени идет воздушный бой. Немедленно налетели наши "Чайки", " МИГи" и "И-16", вступили в бой с охранявшими немцев истребителями. Гоняют их в этом районе. Ревут моторы, рокочут пулеметные очереди. Как на Тушинском аэродроме в День авиации. Пришла и от них подмога на смену. Дерутся все. Наверно, кого-нибудь все-таки собьют. Наши летчики тоже – всем уйти все равно не дадут!

\* Ручная кинокамера времен войны американского производства.



*Бригада фронтовых операторов отправляется на фронт.*

Кстати вспомнил о лейтенанте Жукове – [он] летчик-истребитель. Из Воронежской губернии. Сын крестьянина – бывшего партизана [?]. Отчаянный летчик – ему в финскую войну запретили быть бомбардировщиком за то, что он на бомбовозе выделял такие выкрутасы, что дозволены лишь истребителям. Перевели его на истребитель. Рад до бесконечности: “Вот теперь действительно жизнь чувствую, один без свидетелей (экипаж бомбовоза 3 человека, а здесь он один). Делаю, что хочу”.

Большие голубые глаза, загорелое мужественное лицо. Сидим под его “Чайкой”. Он рассказывает, как несколько дней назад он вел бой своим звеном (3 самолета) с 8 “мистерами” (“мессершмиттами”).

“Они избегают лобовых атак – боятся в морду получить пулеметные очереди, а мы этим пользуемся. Сбил одного гада. Полез на другого. Захожу все ему в нос да в нос. Он, негодяй, из пушки лупить начал. Двое моих ребят дерутся с другими. Он мне всадил 3 снаряда: одним выбил в моторе 2 цилиндра, другим пробил верхнюю плоскость, третьим перебил распорку между плоскостями. Я остервенел – решил таранить. Машина моя шла уже только боком – повреждено управление. Я боком налетел с полной скорости ему по хвосту. Оба свалились в штопор. Я над землей вывел машину, а немец врезался в землю. Набрал высоту – погнался за оставшимися – опять в лобовой удар иду. Дал очередь – немец, объятый пламенем, отвалился. Остальные разбежались. 100 км оставалось до аэродрома. Еле довел машину до посадки и посадил. Садился боком, но машину спас. Ее быстро отремонтировали, и опять на ней дерусь.”

Жуков представлен к Герою Советского Союза....

Только что прошли над лесом 16 наших бомбардировщиков – курс на запад. Повезли “Ворошиловский обед”. Так здесь принято называть: “Ворошиловский завтрак, обед



Крымская конференция. Февраль 1945 г. Слева направо: В.Доброницкий, И.Копалин, С.Герасимов, А.Кричевский, американский оператор (сын Гарри Ллойда Гопкинса, советника Рузвельта) и фоторепортер Б.Косарев.

и ужин". Но эти обеды, ужины и завтраки обычно везут по несколько раз, с разных мест и в разные места. Ненасытного бандита кормят на убой.

*3 августа 41 г.*

*Недалеко от Старой Руссы...* Вторые сутки здесь. Поле, покрытое кустарником. Недалеко отсюда рвутся немецкие снаряды и мины; в ответ раздаются залпы наших батарей. Вот уже который день топчутся гитлеровские головорезы на этом рубеже на месте. Не могут они прорваться к Руссе – крепко держат их наши части. Бандиты жгут деревни – ночь была светлой от зарева почти на 100 км по горизонту.

Знойно.

Ночевал сегодня здесь, на этом месте. Вчера целый день дежурил и снимал тяжелую зенитную батарею, которой командует эстонский капитан Пайс. [...] Не раз попадавший со своей батареей и расчетами в окружение, [он всегда] выходил живым. Он обучил рядовых, призванных в РККА, зенитному делу и теперь, по его выражению, "охотится вместе с зенитчиками за опасными утками" (а вообще он любит поохотиться и на настоящих уток). Его батарея сбила 16 самолетов противника. Успехи очень большие. Он скромный, и серьезный, и красивый. За его батареей охотятся немецкие самолеты. Он тщательно маскируется, 2–3 раза в день меняет позицию. За отвагу его представили к правительственной награде.

Тема для съемки хорошая. 4 дня искал я его в кустах. Нашел 1 августа в 15. 00. Сел в кусты побеседовать, узнать подробности о нем, о его учениках. Беседовать долго не пришлось – начался обстрел германскими дальнобойными орудиями того района, где была расположена батарея Пайса.



Он Крл. асигурибул будев злу  
Атотодосов. Сидрун сурев нодолу  
Тонуп, Крл / Давидоме бреленувай  
б иуде. Рзрота зру Паненир  
Сотрунр. Но булв нодоме Оми  
Пудрл Мрталуиле Трнн - зорл буиле

Алрелл - Лотна.

2111 1/2.

Силу на К.11 Митрелснор гелуиле.  
Амерал булва нотро. Келлелован с Келлелуиле  
Келлелован Вверелл К тилл - онлв нодолу  
Келлелуиле на гел. Вхенел и Веллелуиле.  
Силелан Там 7, 8, 9 XII, Гелелуиле зру Трнн  
Силелл. Крл с Гелелуиле булелелл б Келлелуиле  
го Силе гелл не злар. Елелл оф гел. Веллелуиле  
б 300 - годиле. Силелелл бу-ла Рзрота -  
Алрелл, Реллелуиле, Мотрелл Нотрелл нодолу  
бу зрун. Милл Крл гелл оф нас е Гелелуиле.  
Мотрелл Меллелуиле бу-ла Веллелуиле - зрун  
Мотрелл зрелелуиле нодолу на нилл.  
Мотреллелл не нодолуиле а неллелл нилл  
Меллелуиле Мотреллелл Реллелуиле. а нилл Реллелуиле  
- булелл Реллелуиле б Зилеллелл, гелелуиле.  
Ива Реллелуиле Силелуиле Реллелуиле.  
Геллелуиле Реллелуиле Реллелуиле.

Снаряды ложились все ближе и ближе. Пайс дал команду: свернуть батарею и приготовить к переходу на новую огневую точку. Вдруг 2 снаряда легли в 100 м от нас. Треск, гром, летят срезанные кусты. Как по команде бежим с ним вместе в одну узкую канавку. Через 20–30 секунд опять два снаряда с грохотом разрываются в 60 метрах. Звенит в ушах. Пайс советует уходить от огня: будут бить по этому месту, значит, узнали, где моя батарея. Бежим к дороге. Пробежав каждые 15–20 шагов, падаем от шума приближающихся снарядов, грохаемся ни на что ни глядя, в пыль – разрываются с треском снаряды все в новых и новых местах, враз простреливает эту площадку... Бьется учащенно сердце... Задыхаемся от бега... Опять догоняет торопящийся звук снаряда... Упали – немедленно оглушительный треск двух снарядов, рвущихся в воздухе поблизости... Пайс крикнул: “Гранатой осколочной дали”. Град осколков осыпал землю. Опять бежим... Опять падаем, опять две гранаты в воздухе... Град осколков шлепается на землю... Падают рядом один, притягивает руку другой – горячий... По совести, все это жутко. Почти безвыходное положение. Силы ослабевают от перебежек, паданий, жары и недоспанных ночей, в горле сухо. Полтора километра пробежками с “поклонами”. Залегли в канаву. Снаряды остались позади... Батарея переезжала... Как только мы ушли от нее, прямо в центр ее попал снаряд – чудом весь расчет остался жив.... Батарея уехала, скрылась с этого места – через час прилетели бомбардировщики и изрыли землю, где была она, сбросив 60 бомб. Нас там не было. Враг обманулся...

Ребята, бывшие близко от нас и заблаговременно удравшие при первых снарядах, то же пережили, что и я. Они и сейчас об этом вспоминают и не забудут, как были под сильным, адским огнем артиллерии.

Из 16 человек, бывших под этим обстрелом, ранило всего трех человек, и то из тех, кто присоединился из мирных жителей, обитавших в этом районе.

### *Близ Борки*

*12 августа 41 г.*

Давно не писал. Непокойно очень было эти дни. Сегодня я в “тылу”, в 15 км от фронта. Отдыхаю от надоевших минных обстрелов и свиста снарядов, все перелетавших, на счастье, через голову.

Кацман привез от Танюшки два письма. Рад, что хоть немножко прояснилось. Скорее бы только они с Натальей выехали из этого большого города – Москвы – на время бомбежек. Бедняжки девочки мои – достается им переживать все эти ужасы. Когда все это кончится?

Сегодня точно узнал, что скоро, буквально на днях, начнется сильное наступление и кончится моя “безработица”, которая продолжается уже 10 дней по причинам, не от меня зависящим, – нет наступления.

Что было за эти дни? В ожесточенных боях сдали Старую Руссу. Приехал 4. VIII Кармен с Шером – группа численно увеличилась. Был Кацман. Решили экономить пленку – снимать только боевые эпизоды, выжидать наших контратак и, как теперь выяснилось, наступления. Скорей бы наступление, как сразу поднимется у всех боевое настроение, какие будем делать успехи!

До 10. VIII сидели с КП возле Руссы. У Руссы шли жестокие бои. Враг был в 3 км от нее. Наши [...] не пускали его. Кончал 3. VIII сюжет о Пайсе. Ваню Сокольников послал снять сюжет об артиллеристах. Остался без машины. Условились, что вечером он заедет за мной на батарею Пайса. Прилетели бомбардировщики. Зенитчики лихо обстреляли их. Они заметили батарею – спикировали, обстреляли пулеметным огнем – бомб не было у них – шли пустыми. После обстрела Пайс скомандовал немедленно менять место батареи, т. к. немец или прилетит с бомбами, или обстреляет артиллерией.

Он не ошибся, через 25 минут прилетели первые снаряды. Началась проческа. Под огнем расчеты убирали орудия, готовили переход. Отсиделся в окопе под этим грохотом. Стихло – ушел пешком за 1 км. Со стороны наблюдать спокойнее. Через 1. 40 прилетели бомбардировщики, бомбили с усердием пустые кусты – место, где была батарея. Поздно вечером приехала за мной машина. Уехал на КП за Руссу отдохнуть. Наутро встретились с К. и Карменом, отправил 500 метров снятого материала в Моск-

ву. Кармен остался за главного. Я этому очень рад. Пусть показывает образцы отваги и героизма и меня [поучит] работать в очень сложной военной обстановке – поучусь с удовольствием – так думал я, когда его оставили за главного. Сегодня 10 дней, как он здесь, – пока что ни у него, ни у кого ни единого метра не снято. Он главный, он за это отвечает – я же с ним согласен, что пока что снимать нечего, надо поберечь пленку на более существенное, которое будет вот-вот. Как на это посмотрит Кацман, не знаю, думаю, что подстегивать не будет его, ведь это не я, а Кармен. Меня можно. Его нельзя! Вот как накапливается у меня жизненный опыт (а то его не было до этого) – вот как вскрываются все подхалимажные сделки и передергивания. А ведь Кацман все же меня в письме, полученном Карменом, хлестанул – как так у Доброницкого нет боевого материала? Ах, герой, герой! Пусть расскажет перед всеми (когда-нибудь ему напомню это), как он, побывав у нас всего лишь на КП (т. е. там, куда мы ездим отдыхать) одну ночь, и ту ни минутки не спал. Где-то в 1 км стреляли, рвались снаряды, а я спал и не обращал на это внимания. Вся группа вместе с Карменом, Шером, Кацманом всю ночь не спала, и в 11. 00 Кацман быстро уехал в Новгород. Лихой руководитель.

А уехал – Руссу сдали. Враг пришел на 2 км к КП. До 10. VIII дубасил он из артиллерии и минометов по району КП. Попытались с Римой\*\* эти дни снимать – бесполезно, ничего интересного, а риску уйма. Бригкомиссар Зуев не советовал нам выезжать с КП вперед – картина для кино была неподходящей. Был дикий огонь. Отсиживались в окопах у своих машин в лесу. Эти ночи не спали, т. к. снаряды и мины ложились неподалеку от машин – рискованно было в них спать. В ночь на 10. VIII вместе со штабом заняли оборону этого леска. На рассвете покинули его, т. к. враг был в 600 метрах, трещали автоматы, посвистывали пули, ложились в лесу мины, снаряды, в голове был у всех угар от всего этого плюс без сна. Перебрались сюда, в 15 км.

Вчера вернулись связисты, оставшиеся после нашего отъезда для смотки кабеля, и рассказывают: только мы уехали, через 10 минут влетели 20 человек немцев с автоматами в надежде напасть на штаб, но его не нашли. Обменялись выстрелами со связистами и скрылись. Вскоре эти места были сданы немцам. Очевидно, в моем окопе, добросовестно вырытом мною и моими ребятами, сейчас нежатся бандиты. Скоро опять буду в нем я, т. к. обещают наступление и немцам придется уходить.

У КП течет река Редья. Много раз купались мы в ней, смывая пот и грязь, в изобилии скапливающиеся при посещении фронта. Купался 7. VIII с Гусевым [?] и корреспондентом “Знамени Советов”. Услышали сильный гул моторов, непрерывный гул разрывов – бомбежка. Выбегаю из воды на крутой берег. Смотрю: над Руссой идут вереницы тяжелых бомбардировщиков и бомбят Руссу. Идут на нас. Подлетают к нам, открывают огонь из пулеметов – я камнем в воду – ребята в канавы, в кусты (плавать не умеют, а река бездонная). Ныряю, изредка высовывая голову из воду – смотрю на дьяволов. Пролетели, взяв курс на переправу через р. Ловать. Вылез, еще идут 24 штуки. Повторяют с Руссой то же, бомбят по дороге дер. Медниково, в 1 1/2 км от КП. Бомбят дороги, летят опять на нас – я опять в воду, опять ныряю (купаться уже не хочется, холодно уже, но надо). Так я купался 4 раза за 10 минут. Сознаюсь → купанье неприятное, но надо было купаться, т. к. пуля в воде на глубине 10 см уже бессильна что-нибудь сделать.

Купался, а [сам] с ужасом думал о ребятах, оставшихся у машин на КП, по которому бомбил и стрелял немец. Все ли живы – одна мысль. Одежда. Все кончилось. Успокоилось сердце, сильно колотившееся из-за неравной “борьбы”. Из-за леса показался в четырех местах сильный дым. Горела Русса, дер. Медниково и лес в двух местах. Вечером над нашей головой наблюдали воздушный бой – дрались два наших “Мига-3” с пятью “мессершмиттами”. Дрались 10 минут. На 10-й минуте “храбрые” фашисты удирали в разные стороны... Вечером узнали, что немец бомбил Руссу... только все бомбы, сброшенные на нее, легли не по нашим частям (восточный берег), а по своим же немцам (на западный берег), причинив ему огромные жертвы. Вот это называется отбом-

\*\* Роман Кармен.

бились. Я ликовал. Позже пришли наши бомбовозы и добавили еще наших килограммов тем, кому не хватило немецких... Русса горела два дня...

### *Дер. Херенка*

*25 августа 41 г.*

Пятый день болею. Сначала болело ухо - так, как было во время 18-го партсъезда. Стонал. Не спал ночами. Извелся. Ночами очень холодно, сыро. Сушим пленку. Ящики промокли со дна.

Вчера послал в 21.00 Володю\*\*\* с Сашей во второй эшелон КП узнать обстановку, случайно встретили группу Кармена, которая вслед за моим выездом вынуждена была вместе с КП покинуть [старое] место и приехать сюда же, на новое место, т. к. вслед за нами началась уничтожающая бомбежка того места, где были мы.

В 23.00 вернулись ребята. Принесли мне посылку - от Зины и Изи бутылка Абрау-Рислинга с надписью на этикетке: "Заместо папирос, которые, Миша говорит, имеются. За уехавших, оставшихся, за нашу скорую и окончательную встречу. Изя, Зина. 14. VIII. 41. Москва". Трогательно. Очень трогательно в такой обстановке, от таких товарищей получить такую полноценную корреспонденцию и с таким приданым. От этого эликсира я, очевидно, сегодня и желудок свой вылечу и наконец смогу работать. Ребята принесли весточку, что пять - пять! находятся в 4 км у Кармена, ли, т. к. он ушел в деревню с их с собой. Горю [желанием] сам идти не в силах, а ребят очень бомбят дорогу, от-Римы. А ведь всего 4 км!

... Чего же этот крепыш болел ухом? Я объясняю это (этом), что 17. VIII мне при-ром, холодном, с водой, гли-Старой Руссы, около дер. Та-подряд, с 5. 00 до 21. 00. В ямы с серого цвета лицом, выпученными глазами, выма-и не узнал того леса, в кото-ле. Леса не было - была грудами деревьев, скошенных 16 часов подряд, без переры-минут, было выброшено бо-немцами была поставлена - лес (размер 60 на 750 м) и живое, что имелось. А имелся неполных полка, которые должны были занять с правого фланга Старую Руссу.



- писем мне пришло и но вчера взять не смог-кем-то в баню и унес скорее их получить, но не рискую послать, делящую меня от

Доброницкий вдруг за-тем (и врачи уверены в шлось пролежать в сы-нистом блиндаже возле лыгино, 16 часов 21. 00 я вышел из этой мокрый, продрогший, с занный в глине, вышел ром мы лежали в зем-поляна с поваленными бомбами. За это время, ва на сколько-нибудь лее 3 000 бомб, задача стереть с лица земли похоронить в нем все в нем КП 182 СД и три

... Творилось действительно что-то кошмарное. Если раньше я переживал разрывы бомб в 50-60 метрах, в этот раз дело дошло до 8 шагов от меня, т. е. расстояние сплошного поражения, но мы были на 1 метр в земле, в блиндаже 3 x 3 м. Квадратная яма в лесу. Тонкое перекрытие из бревен и 20-30 см земли. Вход открытый - видишь лес. Я лежал там вместе с комдивом, нач. штаба, полковым комиссаром Дольниковым. Немец бомбил с 40-50-метровой высоты, ходил прямо .яд макушками деревьев, смот-рел, где есть признаки человека, стрелял сначала из пулеметов и тотчас бросал от 10 до 30 бомб подряд, по линейке. Систематически заходил на бомбежку по 4-метровым диагоналям (наиболее эффективный огонь) и прочесывал лес. В общем, за 16 часов лес был срезан.

\*\*\* В.Головня.

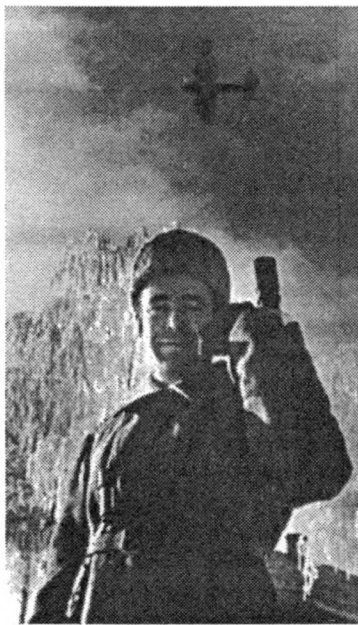


... Боялись, что немец перейдет в наступление, и тогда у нас оставался почти безвыходный конец, т. к. переправу сзади нас он тоже разбомбил и отступить было некуда.

Три раза его диагонали проходили в 8 шагах от нашей ямы... По приближающимся разрывам и все усиливающемуся свисту все мы, находившиеся в защите, ждали того, что вот сейчас будет прямое попадание и тогда – тогда больше мы не будем слышать ничего и не будем ничего чувствовать. Честно говоря, все мы попрощались друг с другом, плакал нач. штаба – пожилой прекрасный человек, плакал от безнадежности, дикой безнадежности. Сдерживали его, сами не надеясь на что-либо хорошее. Ждали лишь темноты и ослабления бомбежки.... Вбежал капитан артиллерист, КП 182, докладывать обстановку. Приближался свист бомб, разрывы. Бросился он на нас, лежавших. Придавил меня. Все ближе, ближе разрывы, все сильнее свист. Наконец у входа в блиндаж рвется бомба. Подсакивают бревна перекрытия, сыплется на нас земля. Стиснул я зубы, закрыл глаза, прижался все. Оглушительный разрыв бомбы... Нечем дышать – все в синем дыму, крик капитана: “Скорей помощи!” Вскочили, из правой руки его струей льет кровь. Льет мне на сапоги, на окружающих. Зажал ему у плеча, струя перестала. Синий дым в яме... крик: “Врача сюда!”... Перевязываем... Рука разбита осколком, влетевшим в неврач, всего два дня из Лестерика, не может владеть свист и гром разрывов. – проходит гром, никого из перевязывать капитана.

Вылезли в 21. 00 – сташе не было... Разбитые ямы. 8 человек командгруппу их на своей машине. Ночь, ничего не видно. была первая машина отлученнейшем возбуждении, до свалился во дворе госпиталь чтобы уехать в штаб армии

В результате этой бомбистискивания, думал, с ума лоб...



*Сегодня 13 сентября.* Не сал в тетрадь, запоминал, дело много дней подряд. закрыть тетрадь не решался, да главное, забот разных было много.

Вчера переехали сюда – в Валдай.... Мы под крышей. Без умолку гудит репродуктор... Никто и не слушает радио, но дурацкая привычка обывателя в своем обиходе – не выключать... Целый день дует патефон.

Получил кучу писем от Тани, папы. Оказывается, Таня и Натуйка не в Ростове, а опять в Москве. Причины мне известны давно, об этом догадывался и точно знал.

Есть вопросы и у Тани, и у папы ко мне, надо посоветовать кое-что важное, и изволь сидеть здесь под патефонным визгом [?], терять дни, а ведь скоро ехать опять на фронт, участок мой без оператора сейчас может быть оголен на 2–3 дня всего. Будут долгожданные события.

ло совсем тихо. Леса большие машины стоят. Стонут раненых с КП 182 СД ранены. не везу за 15 км в Мануйло-Доставил в госпиталь. Это да. Обессиленный, в страше раненых, выпил чая и тая отдохнуть до 3 ч. ночи, отдохнуть.

бежки – сломал себе зуб от сойду, хотел пустить пулю в

писал ничего, давно не пи потому что, мешал шум – гу-Лил дождь... Был мокр и рас-

*Публикация В. и Т. Доброницких*

В прошлом номере сценарием В. Залотухи "Дорога" мы начали публикацию пяти киноновелл, которые вместе должны составить один фильм. Этот фильм называется так же как фильм братьев Люмьер – "Прибытие поезда". Его задумали и создают пять молодых наших режиссеров, названных на Ялтинском Кинофоруме "режиссерами XXI" века: Хван, Хотиненко, Сельянов, Тодоровский, Мехдиев (вместо попавшего в пятерку Дыховичного, который отказался). Этот проект – коллективный подарок к столетнему юбилею Кино.

В каждую новеллу, по условиям, должен входить люмьеровский сюжет.

Фильм по сценарию "Трофим" будет ставить Сергей Сельянов.

**Алексей Балабанов**  
**Сергей Сельянов**

## ТРОФИМ

Трофим отступил от бьющегося в агонии брата в исподнем и посмотрел в угол, где на полу, сжавшись в комок, сидела полураздетая баба. Ее полные ужаса глаза были обращены на Трофима, крепко сжимавшего окровавленный топор. Он шагнул вперед, и она закричала. Он не слышал звука, а видел лишь ее перекошенное лицо. Безумный взгляд его метнулся к печке, где друг к другу жались перепуганные дети, бессмысленно обвел комнату, ища еще чего-то, чего и быть не могло, вернулся к орущей бабе и как-то потух. Трофим развернулся и вышел в сени. Только там он заметил уже ненужный топор в побелевших пальцах, разжал руку и, когда лезвие неестественно звонко лязгнуло, вышел во двор.

Трофим был мужик невысокого роста, нескладный, но крепкий. Совсем недавно отделился от отца на хутор. Были у него и лошади и корова. Домишко, правда, был пока плохонький, но ведь летом хотел строиться.

Он прошел через двор к запряженной телеге. От лошади еще поднимался пар – видно, гнал ее Трофим. Он похлопал ее по крупу, снял хомут, взял с телеги кусок веревки и повел лошадь в стойло. Потом вошел в хлев, поднялся на сеновал и принялся, стоя на лестнице, неторопливо и обстоятельно привязывать веревку к поперечной балке. Раннее весеннее солнце радостно пробивалось сквозь щели и размашисто разрезало корову и полутемное пространство хлева на поперечные полосы. Корова подумала, что пришли доить и теперь недовольно замычала.

Трофим закончил с веревкой, накинул на шею петлю и спрыгнул с лестницы. Его лицо с всклокоченной бородой упало в светлую полосу и зависло. Мускулы неестественно напряглись, выкатились глаза. Что-то вспыхнуло в голове...

Но оборвалась веревка, и Трофим упал. Какое-то время он бился и хрипел, пытаясь высвободить шею, а потом сидел на

земляном полу у ног доброй коровы, которая мычала-мычала да и лизнула его большим и теплым языком.

А ближе к вечеру он уже быстро шел полем с мешком за плечами. На нем была старая ушанка да зипун, из которого он то ли вырос, то ли руки предыдущего хозяина были немного короче его, Трофима, рук. Садилось солнце, наделавшее за день проталин в снегу. За ночь они должны были подмерзнуть, а к вечеру другого дня стать шире. Подступала весна. Далеко впереди проехал поезд. Трофим остановился и вытер шапкой вспотевший лоб.

В поезде он немного робел и ехал в тамбуре, поглядывая на разодетых господ через красивое стекло с рисунком. А когда кто-нибудь поднимал голову и встречался с ним взглядом, то прятался за стенку.

Подошел кондуктор, мужчина степенный и в форме. Он посматривал на Трофима с высоты своей должности, но, видно, охота поговорить взяла верх, да и совесть заедала: все же денег с Трофима спросил он больше, чем положено.

– Чего в Питер-то, – спросил он, прикрыв дверь. Трофиму было неловко рядом с этим человеком в форменной фуражке.

– Так ведь не бывал ешо, – неуверенно соврал он, опустив глаза, достал табак и протянул кондуктору.

– Ну, ну, – многозначительно сказал тот, взяв щепотку и по примеру Трофима принялся крутить сигарку.

– Мужики говорят, война с японцем будет? – зачем-то спросил Трофим, прикуривая от диковинных спичек.

– Так уж идет, – вдруг сказал кондуктор и деловито затянулся.

– Да ну? – удивился Трофим.

– Уж скоро неделя, как бьем японца, да ну... – передразнил Трофима кондуктор и закашлялся, отгоняя дым. – Крепок.

И тут тень пробежала по лицу Трофима. Видно, вспомнилось, как сушили с братом отцовский самосад, а может, и жена Татьяна, старательно вышивающая Трофиму кисет в поместительной избе отца. И то ли от нахлынувших воспоминаний, то ли от доверительного уважения к этому чужому человеку в форме, который так запросо курит с ним крепкий табак, Трофим вдруг сказал:

– А я брата зарубил.

– Вот те и раз, – удивился кондуктор. – А чего?

– Он с бабой моей... – угрюмо сказал Трофим и ушел в себя.

– Бывает, – сказал кондуктор сочувственно, как соболезнают на похоронах, когда не жалко покойного, и быстро исподлобья глянул на Трофима.

Помолчали. Кондуктор поплевал на сигарку и вышел, предварительно выглянув в вагон через стекло.

Трофим с любопытством смотрел на все медленнее и медленнее проплывавшую мимо платформу с пассажирами. Пробежала вывеска: “ПЕТЕРГОФЪ”.

Трофим открыл дверь и ступил на дощатый перрон. Он был неграмотный и на вывеску внимания не обратил, зато сразу заметил странного человека с усиками в клетчатом пальто и с большим деревянным ящиком на трех ногах. На ящике был глаз, а под ним ручка, которую человек быстро крутил. Трофим никогда не видел такого диковинного человека и сразу подошел.

Человек отчаянно замахал свободной рукой и закричал на Трофима. Трофим не понял, так как слов таких он не знал. Где-то в душе он догадывался, что человек этот какой-нибудь басурманин – ведь русскому человеку такое пальто мудрено надеть, – но на всякий случай подошел и спросил:

– Ты чего? – и с любопытством заглянул ящику в глаз. Человек закричал как-то уж больно испуганно, отчаянно взмахнул рукой, пытаясь достать Трофима, потом бросил крутить ручку, выскочил из-за ящика и толкнул его.

– Э-эй, не замай! – угрожающе, но все же удивленно сказал Трофим, уж больно страдательное было у этого басурманина лицо. Он недоуменно проследил, как тот подскочил к своему ящику и снова принялся крутить ручку. Какая-то жалость к этому плюгавому человечку шевельнулась в душе Трофима. Он шагнул вперед и мирно спросил:

– Чего ругаешься? Француз что ли?

Но тот не понял Трофима и, бросив ящик, опять стал кричать. Глядя на него, Трофим широкой душой своей понял, что не злоба была в таком крике, а боль обиды, нанесенной, быть может, даже им, Трофимом. И хотя сильно хотелось спросить про ящик, он махнул рукой и пошел в вокзал.

Уже темнело, когда Трофим забрел в трактир то ли на Васильевском, то ли у Сытного рынка, что на Петербургской стороне. Там он спросил щей да чаю и подсел к одинокому матросу со штофом водки. Когда Трофим сел, матрос угрюмо посмотрел на него и выпил. Подбежал половой со щами и чаем:

– Изволите водки? – на всякий случай предложил он.

– Давай водки, – с сомнением согласился Трофим. Водки он не пил, разве что на Пасху да на Рождество, по-семейному, когда все собирались у отца. Но здесь как-то неловко было отказать, потом тоска, да и располагало все к тому, чтобы водки выпить.

Он налил полстакана, выпил да и принялся за щи.

– Из деревни? – хмуро спросил матрос.

Трофим кивнул: – С-под Пскова.

– Эка занесло, – равнодушно сказал матрос да и выпил. И тут ударил Трофиму хмель в голову, растопило что-то в груди и надавило изнутри какое-то большое.

– Слышь-ка, а я ведь брата зарубил, – сказал он и добавил:

– Младшего.

– Не поделили чего? – не то чтоб удивился матрос.

– Он с бабой моей... – сказал Трофим. А как сказал, так и вспомнил все. Налил еще полстакана и сразу выпил.

– А не зевай, – невесело сказал матрос и с полным сознанием правоты своей добавил: – Брата-то за что? Бабу бы и зарубил. Баб-то их вона... А младшой брат-то небось один.

– Один, – согласился Трофим, и захотелось ему заплакать. Но не стал он плакать, потому как слабость это. А Трофим был мужик сильный.

Матрос посмотрел на него, на простывший чай и, видно, понял всю глубокую тоску, поселившуюся в душе Трофима.

– А ты к девкам сходи. Полегчает, – посоветовал он. – Тут недалеко, четвертый дом за углом.

Трофим вошел в небольшую гостиную с буфетом, заметив помимо девок двух господ, остановился в нерешительности.

– Тебе чего? – грубо спросил буфетчик, он же вышибала.

– Девку, – сказал он, робея, и снял шапку. Все было так непривычно, да и не оставляла мысль, что могут прогнать.

– Девку ему... – сказала длинная и худая дама с папироской и подошла.

– А деньги-то у тебя есть? Девку...

Трофим быстро кивнул.

– Покажи.

Трофим показал. Денег у него никогда не крали, и не боялся он их показывать.

– И откуда ж ты такой? – спросила она и отступила. Все, кто был в зале засмеялись.

Трофиму не понравилось здесь, и он уже совсем хотел пойти, но тут одна из девок вышла вперед и потянула за руку. Мелькнули глаза, веснушки, и вдруг почувствовал Трофим, что дохнуло чем-то своим, а сейчас даже родным, и он пошел. Подскочила еще одна, но он уже выбрал.

– Биби, смотри, может, вши у него! – хохотали девки, когда они шли по лестнице.

В комнате было как-то неопрятно все. Лоснились обои, и постель не убрана, и видно, что несвежая. Из мебели только стол с грязными стаканами, два стула да шифоньер с зеркалом.

– Вина хочешь? – спросила она спиной, наливая стакан. Она привыкла, что никто не отказывается, потому как была это часть ритуала.

– Не, я уже водку пил, – сказал Трофим, сел почему-то на край кровати и посмотрел на нее.

Она была молодая, крепкая девка с широким, зачем-то нарумяненным лицом и большими черными глазами. Она удивленно обернулась и села на стул.

– Звать-то как?

– Трофимом.

– А я – Оля.

– А чего они тебя как-то по-собачьему?

– А тут всех так. Господа любят, когда по-французски.

– И я тут, давеча, одного видел. Чудной такой... Стоит с ящиком и ручку крутит... – Трофим осекся, видно, вспомнилось опять, что недочеловек он теперь какой-то. Сидит тут с павшей девкой да про французов каких-то говорит.

– Порты сымай, – просто сказала она.

– Чего? – встрепенулся Трофим.

– Порты сымай, говорю.

Он сбросил зипун, стянул сапоги, быс-

тро скинул порты, аккуратно сложил их на пипун и снова сел, глядя на нее.

Веселая искорка пробежала у Оли в глазах. Чудной какой-то был этот мужик. Вот сидит теперь в подштанниках и пялится на нее. Может, глупый, а может, робеет. Но все же в чем-то приглянулся он ей, совсем не то что господа эти или студенты.

– Ты чего? – едва улыбаясь спросила она.

– А я другого дня брата младшего зарубил, – сказал он, доверчиво глядя ей в глаза.

– Прости, Господи, – сразу поверила Оля, перекрестилась и испуганно посмотрела на него.

– Я к отцу кожу повез, заночевать хотел. А потом, думаю, поеду, чай, к утру ворочусь. Гостинцев ребятишкам взял. А она-то с братом. Не чаяли. Я топор в сенях взял и зарубил, – Трофим сказал, и полегчало немного.

– Так ты что ж, в бегах теперь? – спросила Оля.

Трофим пожал плечами. Он как-то про это еще не знал. Она смотрела на него и видела, что не похож он на злодея вовсе, видела только, что больно ему очень и пожалела.

– Ложись скорей, – сказала она, задула лампу и скинула халат. – Я поговорю с мадам, может, дворником тебя возьмет. При мне будешь, – прошептала она в темноте. – Ты поспи. Чай, умаялся.

Когда постучали, Оля встала и пошла открывать.

– Ты чего, Тимофей Кузьмич? – воскликнула она, заспанными глазами глядя на околоточного. – Случилось чего?

Он грубо отодвинул ее и коротко приказал:

– Хватай его, ребята!

Жандармы метнулись к кровати. Трофим не упирался.

Они стащили его с лестницы и в дверях остановились. Околоточный подошел к худой даме, которая держала на подносе стаканчик.

– Не побрезгуйте, Тимофей Кузьмич, – сладко улыбаясь, с уважением, но с затаенным смыслом, намекающим на прежние отношения, сказала она. Трофим порыви-

сто оглянулся и, как в последний раз, посмотрел на Олю. “Эх ты!” – говорили его глаза. Она вышла на лестницу и теперь медленно спускалась вниз, держась за перила, и смотрела на него.

Околоточный опрокинул стаканчик, выдержал паузу, крикнул и осторожно поставил на поднос.

– Благодарствуйте, мадам Монфлер, – расправив усы, сказал он, развернулся и ни с того ни с сего ударил Трофима кулаком в зубы. Тот не ожидал, пошатнулся и отпрянул назад. Что-то безумное промелькнуло во взгляде. Он рванулся вперед, но два рослых жандарма ловко схватили его за руки. Бешенство вспыхнуло в глазах, и ясно стало, что, прояви жандармы слабость, выхватил бы он шашку и зарубил бы теперь околоточного. Но тот был уверен в своих, размахнулся и с полным правом еще раз ударил Трофима по зубам.

– Ну, ведите, что ли, – сказал он и обернулся, довольный собой. Буфетчик уже подал мадам поднос с новым стаканчиком. В последний раз сверкнули глаза Трофима, и жандармы увели его. Околоточный выпил так же и так же по-молодецки расправил усы.

– Чего ж теперь будет? – спросила Оля. Спросила не просто, потому как видно было, что жаль ей Трофима.

– Повесят теперь злодея, – сказал околоточный, развернулся и достойно вышел, никого не хлопнув по заду, с чувством очень хорошо исполненного долга.

Машина промчалась через Троицкий мост, по Кронверскому проспекту и въехала на территорию киностудии “Ленфильм”. Молодой человек взбежал на пятый этаж десятого корпуса и победоносно ворвался в монтажную комнату с надписью: “Вокзалы С.-Петербурга и его пригородов. Производство к/с “Ленфильм” и “Bioskop Film”, ФРГ”.

– Ну что? – озабоченно спросил его режиссер. То, что он режиссер, стало сразу ясно: кто же еще может так значительно повернуться и так невесело спросить: “Ну что?”. Но, видимо, радость юноши была так велика, что не смог срезать ее режиссер.

– Нашел, нашел, нашел, – весело, загадочно, предвосхищая триумф, сказал юноша и показал коробку.

Спесь с режиссера слетела. Ожилась и пожилая монтажница.

– Ну давай скорей. Что там?

– Либо Финляндский, либо Николаевский. "Патэ журнал", 1904 год.

Монтажница быстро зарядила. Загудел монтажный стол, и после ракорда появилась белая надпись: "L'ARRIVEE DU TRAIN RUSSE", потом замигал перрон с железными столбами и паровозом, который почти сразу остановился. Из первого вагона вышел бородастый мужик в старом зипуне и шапке с мешком, посмотрел на камеру и подошел, перекрыв собой всю перспективу. Он что-то сказал, нагнулся и посмотрел в объектив, а когда выпрямился, то просто закрыл зипуном своим весь кадр. Когда камера включилась, все тот же мужик стоял чуть слева, но сразу подошел и снова перекрыл кадр.

Режиссер тихо выругался. Когда камера включилась в третий раз, пассажиры уже закончили посадку, только у первого вагона стоял человек в форме и что-то возбужденно говорил мальчишке-газетчику, указывая рукой в сторону вокзала. Мальчишка убежал. Съемка закончилась.

Появилась пауза.

– Скорее, Финляндский, – кисло сказал режиссер.

– А это полицейский что ли? – спросила монтажница, отматывая назад.

– Кондуктор, – сказал ассистент, чувствуя, что триумф не совсем удался.

– Давай еще раз, – сказал режиссер и, когда все закончилось, спросил: – Сколько там до мужика?

– Может, метра два будет, – сказала монтажница.

– Отрежь-ка его на хер.

Она быстро стукнула прессом и подала срезку ассистенту. Тот механически туго свернул ее в рулон, глядя на маленький экран. И тут режиссера осенила идея:

– Вот что: мы сначала дадим фотографию, помнишь? Там почти тот же ракурс, только без поезда, а потом соединим напльвом, и вокзал как бы оживет.

– Можно еще замедлить, – творчески предложил ассистент и бросил рулон в корзину для отходов. Рулон упруго расправился.

– Можно, – подумав, сказал режиссер и, мрачно глядя на экран, добавил: – Какой кадр испортил, урод!

### Дорогой читатель!

Если Вы испытываете затруднения с подпиской на наш журнал на почте, если он поступает к Вам нерегулярно и так далее – предлагаем оформить подписку прямо через редакцию: Вы высылаете нам переводом стоимость полугодовой подписки – 4500 рублей, а мы Вам высылаем каждый номер наложенным платежом, сумму которого составляют почтовые расходы на пересылку. На квитанции перевода не забудьте указать свой почтовый адрес с индексом и свою фамилию. Если Вы живете в Москве, Вы можете оформить подписку у нас в редакции. О выходе каждого номера мы сообщим Вам по телефону, и Вы сможете подъехать и забрать его в удобное для Вас время.

Наш адрес: 103006, Москва,  
Воротниковский пер. д.12,  
Редакция журнала  
"Киносценарии"

# Тимур Зульфикаров

*...Сергей Эйзенштейн был последним великим мастером трагедии в античном смысле этого слова.*

*И потому я посвящаю его блаженной памяти эту трагическую историю.*

## ЗОЛОТОЙ ПОПУТАЙ В МЕТЕЛИ

...Дервиш Ходжа Зульфикар и сын его Касымджон-Стебель, скитаясь, странствуя, пришли в Фан-Ягнобские горы ранней весной и там сели у подножья несметной горы Хан-Хабриза-Буса, близ родника, и пили воду его, и ели лепешки, окуная их в родник.

И Ходжа Зульфикар сказал:

– Много есть яств на земле, но нет ничего лучше родника с хлебом, ледниковой воды с кунжутной свежеепеченной лепешкой. И нет на земле ничего слаще любви между мужем и женой. И жена – это родник лепетный, а муж – жаркая пышущая лепешка из танура-печи.

Тогда Касымджон-Стебель, сквозящий отрок, сказал, потупясь рдяно:

– Отец, близок срок мой. Близка любовь моя. Уже надела свадебное платье и насурмила змеинные брови и глядится в самаркандское хрустальное зеркало трепещущая невеста безвестная моя...

Отец, что есть любовь? И как мне готовиться к ней?..

Тогда Ходжа Зульфикар сказал:

– Я всю жизнь боялся и бежал любви. Ибо любовь и смерть кочуют неразлучно, как стадо и пастух. И смерть-пастух пасет любовь – стадо свое. Как снежный барс-ирбис, козопас пасет высокогорных обреченных коз-нахчиров.

Тогда Ходжа Зульфикар сказал:

– На Востоке были Лейли и Меджнун, на Западе Ромео и Джульетта. Но исход был один – смерть. Барс съедал коз.

Касымджон-Стебель, сын мой, я расскажу тебе об иных. Я расскажу тебе о Таттабубу, о любви великого художника Камола Бехзада...

...Таттабубу! Дочь солнечных солончаков! дочь песков! дочь саксаулов! И я встретил тебя на пустынной окраинной бухарской дороге... И я стою и гляжу на тебя. Но ты живешь за дувалами паранджи, за волосяными сетями накидки чачвана, Таттабубу, туркменка моя!

Таттабубу сними скинь паранджу! дай мне тело твое колодезное прохладное! Я дервиш странник святой аллахов художник Камолиддин Бехзад, а дев жен люблю!..

Она шепчет из паранджи:

– Ай Камолиддин Бехзад пыльный отрок. Откуда ты? Ты хочешь вынуть меня из паранджи?.. Ты алчешь тело чужой жены? Иль не знаешь Клятвы Пророка о женах? Аллах охрани! Охрани стены, дувалы, чачваны, чадры, паранджи! Аллах, охрани тайны свои!.. И что без них человек?.. Прах! Песок! Пыль!..

Но!

Но пойди отрок Камолиддин на бухарский базар! И там осень и там сумерки уже и лежат плоды моей Бухары! Камолиддин!

возьми купи мне арбузов термезских кровавых! возьми мне дашнабадских тучных рубиновых гранатов! купи мне афганских перцев жгучих красных, как глаза моих туркменских гонных ахалтекинских кумысных скуластых кобылиц! возьми, купи мне напоследок красномясые терпких мирзачульских хивинских долгих густых тяжких, как мои груди, дынь!..

Камолиддин, святой аллахов художник! возьми мне напоследок кровавых арбузов, гранатов, перцев, дынь!

Она задыхается, но шепчет:

– И приходи в кибитку-мазанку мою глиняную, окраинную, блаженную у Мазари-Шариф!..

И вместе с ночью, со звездой Аль-Кадра, приходи в нищую кибитку мою, и там я выйду, бегу из паранджи!..

Ай, Камолиддин, но принеси плодов на крови! Но принеси нетронутых арбузов, гранатов, перцев, дынь!..

Бисмиллои Рахмони Рахим! Аллаху Акбар!.. Аллах велик! Аллах многолик! А человек мал!

Она улыбается:

– Я жду, Камолиддин!.. Я – дочь песков... Я живу на окраине Бухары, где начинается пустыня, где начинаются пески... И по ночам пески приходят ко мне... И по ночам пустыня, как собака кочевая, приходит, ластится ко мне, к одинокой кибитке моей, к моей руке...  
Приходи, Камолиддин!..  
Я жду, Камолиддин!..

Я гляжу ей вослед.

И она уходит по сумеречной пустынной бухарской пыльной дороге...

Виденье что ли?..

Но она теснится атласно-телая в шелковой кашмирской ленной парандже! тяжелая она! спелая она! осенняя плодовая она!..

Ноги – столпы плоти в шелках, как серебряные хиссарские белые жемчужные пирамидальные арары-тополя!..

Груды пирамидальные плещутся в шелках, как тучные сомы в дастичумских горных реках!..



...Таттабубу, ты уходишь по дороге увядающей смеркающей бухарской, и уносишь шелковые тополя-арары свои.

Таттабубу! ты уходишь! ты уносишь тайные зрелые груди – водопады виноградные с сосками кишашчимими, изюминками агатовыми, сладостными – яростными!..

Таттабубу, дочь песков! жена чужая, тяжело в парандже, душно, тошно тебе... да!..

...Ай, Таттабубу, я бегу на базар бухарский, бегу в пыли. И там ночь уже, и там уже ночь тихих молитв, и там уже спят продавцы, и спят осенние несметные плоды, и проходят ночные воров.

Ай, Таттабубу, я вор ночной на базаре осенних плодов чужих!..

Ай, Аллах велик! Ай, человек многолик! Ай, Аллах, прости!..

Но я молод и нищ.

И я краду, беру с ночой росной розовой липкой базарной земли термезские тучные арбузы, и файзабадские рубиновые гранаты, и афганские жгучие перцы, и красномясые хивинские густотелые дыни, и кладу их в свой пыльный кочевой хурджин.

А продавцы молятся и не чуют меня.

И я бегу с базара, где лежат в молитве



святой, в намазе божьем забывшись, замутившись продавцы и только лают сторожевые волкодавы-псы...

Я бегу и шепчу:

– Аллах, охрани! ведь это Твой базар! ведь это Твои плоды! И Твои торговцы-продавцы! и Твои воры! и Твоя ночь! и Твои псы! Аллах, всех благослови!.. Все неповинны!.. Все Твои!..

И я бегу, невредим, с ночного дремливого бухарского базара, от которого уже веет-тлеет сладкосонной курящейся анашей, маком индийским медоточивым...

Я шепчу:

– Аллах, помилуй души нищие, низкие от мака, от опия, от дыма, от анаши блаженной к Тебе восходящие!..

Аллах! помилуй души усыхающие, как дряхлые забытые мазары-кладбища!

Аллах, помилуй души, на миг хоть воспаряющие, взлетающие!..

Аллах, помилуй их!.. А мне дай Таттабубу в парандже вместо мака!

Аллах, возьми вечную душу, а дай на миг тленную живую Таттабубу!

И я падаю в пыль, лежу и молю:

– Дай Таттабубу!..

...Айя! А я бегу с хурджином тяжким в пыли святой бухарской по дороге окраинной! И тепло босым ногам моим от пыли ночной и свежо ногам моим босым и хладно... И я ноги усталые в пыли прохладной купаю...

– Аллах! дай мне! пока бухарской равнодушной пылью не стал я!.. А стану пылью – пусть иной дервиш во мне, в пыли моей свои живые ноги освежает!..

Аллах!.. Но пока!.. Но дай мне!..

Таттабубу, туркменка в дремучих шестящих серебряных браслетах! Ты ждешь меня?..

Таттабубу, ночь пришла!

Таттабубу, где в ночи кибитка нищая безбожная туманная твоя?

Таттабубу, а ты вышла из паранджи?

Таттабубу, и зачем тебе шелковые стены паранджи, когда есть уже глинянные стены кибитки? Таттабубу, и зачем тебе две стены? И зачем тебе стены глиняные и стены шелковые?..

...Аллах, я бегу, а все кибитки спят, и я гляжу чрез окна лунные на бегу – и там лежат, истекают, извергают, соплетаясь, соединяясь насмерть чужие жены и мужи!..

Аллах, дай мужам ослов стволы!..

Дай женам груди слаще даштикипчатских дынь, слаще самаркандской халвы!.. Дай их лону свежесть, нежность мартовской речной каракулевой родниковой соотравы!

Аллах, дай им! Дай не спящим творящим в ночи!..

Я уже не гляжу в окна на совокупляющихся. Я бегу, блуждаю с тяжким хурджином-мешком в ночи на дальней окраине святой Бухары, у древнего кладбища-мазара шейхов усопших Мазари-Шариф...

Я бегу мимо древних плит...

...Шейхи! усопшие мудрецы, шепните из могил, где кибитка ее... Шейхи! вы же так же бежали при жизни в пыли...

И я стою у загробных высушенных, как изюм ходжентский, плит...

...Шейхи, шепните из-под замогильных плит, где кибитка



ее?..

И я бреду по древнему кладбищу забытому и вдруг – о Аллах! – что это?..

И среди древних плит могильных я вижу, я дрожу, я натываюсь на свежую, только что вырытую могилу, последнюю яму, последнее пристанище человек...

И свежая, только что вынутая земля сыпучая песчаная свежая! Она словно курится, дымится... Айя!..

Я озираюсь и кричу:

– Кто вырыл могилу эту?.. Кому она назначена?..

Я озираюсь в ночи, но ночь пустынная окрест... Нет никого в ночи... Но земля могила сырая, вырытая только что. Еще не успела она высохнуть на сухом ночном ветру...

Я кричу от страха:

– О, Аллах! О, человеки!.. И вот вы дышите, радуетесь и печалитесь, и не знаете, что могила ваша уже ждет вас!.. А может, это моя могила?.. Аллах, но я еще отрок! Аллах, еще рано!.. Рано?.. О погоди, помедли, не набрасывай на меня Твое последнее земляное одеяло, саван с замогильными червями!.. Тогда я бегу в ночи от мазара древнего, от могилы этой ожидающей, распахнутой, и хурджин с арбузами, дынями, перцами, гранатами тяжел, и ноги мои уж дрожат в дорожной пыли летучей!

И тяжел хурджин со плодами на крови! Но я бегу!..

И я уже далеко от Бухары, и уже начинаются забухарские кочевые волнистые пески несметные...

И я вязну, тону, блуждаю в песках сыпучих.

И уже в пустыне чую начальную круговерть песчаную... И уже пустыня курится, дымится... И уже летят сыпучие, серебристые летучие первые сети паутины пыли...

Я кричу в ночи:

– Таттабубу! любовь моя! Косой слепой самум близок!.. Таттабубу, я заблудился! Таттабубу, там могила для меня вырыта!.. Таттабубу, где твоя кибитка?..

...И тут земной неверный малый огонь дрожащий Камолиддин видит.

И бежит на огонь.

И там, у низкой дряхлой кибитки стоит

Таттабубу в темной парандже и в руках у нее рангунская свеча ароматная горит!..

Ийн! Йездигирт!

– Таттабубу! малая моя свеча в песчаной кромешной ночи! Таттабубу, я нашел тебя! Таттабубу, самум скоро! впусти меня в кибитку глиняную свою! Впусти меня в паранджу шелковую кашмирскую свою!.. Таттабубу! самум скоро!.. Там на кладбище могила свежая пустынная открытая готовая лежит. И кого ждет? Таттабубу, я принес тебе кровавые арбузы, коралловые дыни, рубиновые гранаты, афганские жгучие перцы!

Таттабубу, самум скоро! Впусти меня! Айя! Йездигирт!..

Пророк Мухаммад! Сегодня ночь Аль Кадра, ночь твоя!.. Дай мне кумган, кувшин воды! иль кувшин бегучего серебристого песка!.. Но дай, дай!.. Но дай мне кумган воды в ночь песка!..

Таттабубу! свеча моя зыбкая в ночи!.. дай, дай...

Она шепчет глухо:

– Отрок! странник пыльный! Иль ты Святой Хызр, Покровитель путников, дerviшей в зеленом чапане и пламень-огонь зеленый идет вспыхивает от тебя? от твоего чапана?

Путник, откуда ты?.. Кто ты в ночь песка?..

Какая пыль? каких дорог лежит на твоих ресницах? щеках? очах? ногах?..

– Таттабубу, любовь моя, я пришел из Индии... Я пришел из Китая... Я там учился, брал, перенимал у древних меткоглазых каллиграфов живописцев...

И я принес в занданийском хурджинешке моем китайские и индийские благовонные колонковые кисти, и яичные лазоревые краски, и рисовую яньаньскую белую, как баранье сало, бумагу... Я художник-странник Камолиддин Бехзад – пока безымянный, но скоро, скоро весь мир меня узнает!..

Таттабубу, впусти меня!.. Я буду писать, переносить! переселять тебя на рисовую бумагу, Таттабубу, скоротечная быстрая моя! моя тайная сокровенная лестнотелая в шелковой парандже... Помогите мне!.. Видишь – весь вьюсь, бьюсь, как в смертной



пенной истоме я... Видишь – я, как только что пойманная каменная куница в ивово-й клетке...

Любовь тайная нагая моя в парандже своей! Я буду писать, любить тебя! я буду писать тебя, моя нагая в парандже! Я буду переносить тебя, тленная возлюбленная моя, на вечную рисовую китайскую бумагу тончайшими колонковыми кистями, нагая вечная моя!.. Чтоб и потомки наливались соками бездонными хмельными, взирая, глядя на тебя, нагая тайная моя!.. Я отдам тебя потомкам, любовь моя! А сам не трону и перстом!..

О! Алиф!.. Лам... Мим... Впусти меня в кибитку глиняную, в паранджу шелковую, Таттабубу, перспелая бахча хивинских дынь моя, моя!

И я устал!.. Впусти, пусти меня... И куница в клетке унялась...

...Но она молчит, но она не колеблется в шелковой парандже своей, в тьмовой власяной сетке-чачване своем...

И молчат, таят сокровенные тополярары пирамидальные серебряные столпы – живые сахарные ноги ее...

И молчат, таят не плещутся сомы груди ее...

И она молчит, стоит, хранит у кибитки, у грушевой резной тяжелой бедной двери...

Тогда я молю ее:

– Таттабубу! я знаю, чую в тайных шелках ноги и груди твои, а не знаю лица твоего!

Таттабубу, сними хоть чачван! покажи, яви лицо твое, а паранджу оставь, сохрани...

Таттабубу,пусти, пусти... Таттабубу, я устал... Впусти... Куница в клетке спит...

...Тогда она содвигается у двери!..

Тогда она содвигается, мается у двери...

– Таттабубу, я устал... Пусти... впусти... Йездигирт!.. И говорит Аллах: "Алиф! Лам! Мим!" И кто слова сии постиг?.. И кто женщину постиг?.. И женщина, жена – Коран мужей, мужчин?..

Тогда она входит, ступает в кибитку со свечой своей дрожащей.

А я медлю у двери. Предчувствие страшное во мне...

– Таттабубу, я войду за свечой? за тобой? так страшна ночь! скоро самум! там могила свежая кого-то в ночи раскрытая ждет...

И я вхожу.

И кибитка ее низка, глуха, нища. И только на глиняном волнистом полу лежит обильная пенная косматая белая, молочная кунградская кошма...

– Таттабубу, я принес твои арбузы, дыни, гранаты, перцы... Я принес плоды на крови...

И я кладу на белопенную кошму арбузы, дыни, гранаты, перцы... И в хурджине остаются колонковые кисти, и краски, и китайская рисовая бумага моя...

И Таттабубу глядит из чачвана вороньего на плоды мои... И лишь блестят, как ночная вода, ее глаза...

Она шепчет:

– Камолиддин, плодов мало, мало... Та могила в ночи – моя могила... Да...

Но я ничего не могу понять – тревога наполняет меня...

– Таттабубу, я устал... Дай мне кумган, кувшин воды, полей на руки и ноги пыльные усталые мои...

И она приносит кумган с водой и медный тазик, и молча поливает на руки и ноги мои...

– Таттабубу, любовь моя в парандже и чачване!.. Сегодня Ночь Аль Кадра!.. Святая Ночь! Ночь, когда Пророку Мухаммаду в откровении был дан, явлен сразу весь Коран, вся Книга!..

О Аллах!

Ночь Аль Кадра!..

Мы повелели снизойти Корану в ночь Аль Кадра. Кто изъяснит тебе, что такое ночь Аль Кадра?.. Ночь Аль Кадра стоит больше, чем тысяча месяцев. В эту ночь

ангелы и дух снисходят с небес на землю с соизволения Господа, чтобы управлять всем существующим. И до наступления зари царит в эту ночь мир. Да!..

– Таттабубу, любовь моя!.. Явись, выйди из паранджи своей, как явилась Пророку Мухаммаду сразу вся Книга! сразу весь Коран в ночь Аль Кадра!

Тогда Таттабубу покорно тихо выходит из паранджи, как птица из скорлупы, как цветок из почки завязи, и стоит у свечи вся нагая...

Тогда паранджа с нее спадает, как осенняя неслышная листва с золотой речной амударьинской чинары.

Я шепчу как во сне-забытье:

– Таттабубу,ними с головы чачван вороний тьмовый! Я хочу видеть лицо твое... Таттабубу, я люблю лицо твое тайное!..

Она неслышно шепчет, но я слышу:

– Художник, зачем вам лицо мое?.. Вам нужны груди, ноги мои... Вам нужна нагота моя... Зачем вам душа моя?.. И она за чачваном останется... Останется!..

Я мечусь по кибитке тесной, но тревога не уходит...

– Таттабубу! ноними серебряные степные широкие туркменские браслеты с щиколоток и запястий!.. И они мне мешают!.. И они нагоде твоей мешают!.. Как каменные запруды, что реку горную вольную стягивают! стесняют! загораживают!..

И она браслеты снимает, собирает и на глиняный пол опускает, бросает. И тело ее вольное течет, как река, без запруд каменных серебряных удушающих.

Ай, ночь Аль Кадра!

Ай, Таттабубу нагая! а чачван лицо скрывает!..

– Камолиддин, а мне ало, а мне стыдно, а я ведь жена чужая...

Она мается...

Тогда я снимаю свой пыльный зеленый выгоревший чапан и рубаху и остаюсь только в широких сасанидских белых штанах-шароварах...

– Таттабубу! я изломаю колонковые кисти! я истопчу яичные божьи краски! я изорву рисовую вечную китайскую бумагу! навека! навсегда с тобой останусь!.. И зачем мне мертвые кисти, и краски, и бумага мертвая эта?.. И что они рядом с наготой тленной блаженной твоей божественной?..

И зачем я ходил в Китай и Индию? И что узнал? и что изведаль? и каких мудрецов постигал?.. Тщетно! тщетно...

И что они рядом с телом твоим? с наготой твоей, Таттабубу?

И как без тебя теперь буду, Таттабубу, Таттабубу?..

Таттабубу, закрой грушевую дверь – там уже разъярились, восстали пески зыбучие, уже идут самумы... Таттабубу, закрой дверь, а я свечу задую...

Но она шепчет печально:

– Камолиддин, Камолиддин! Мало, мало вы принесли плодов на крови... Там меня могила ждет... Я туда иду!..

И она тихая идет к двери. И она вольная грядет к двери...

И!..

И там уже Он стоит.



И там уже стоит махмуд-карагач. Чабан, пастух, мясник дальних травяных стад...

О Аллах!..

Он говорит тяжким голосом, закрыв монгольские глаза:

– Таттабубу, жена моя. Я устал. Я пришел от дальних Фан-Ягнобских горных трав, от тесных курдючных хиссарских отар... Таттабубу, там, у кибитки, стоит моя высокая разохшаяся ферганская арба и тьмовый памирский угольный агатовый зверояк, як кутас...

Татта-джан! я принес тебе овечьих сыров и свежеврезанных каракулевых сладких молочных пенных ягнят...

Жена! я принес тебе таджикскую паранджу гранатовых персидских рытых бархатов, а то ты нага, жена моя... А то холодно тебе... И я почуял, как волкодав, и пришел тебя согреть, одеть...

Таттабубу, устал я, а мне еще усмирять, убивать тебя, жена моя... Аллаху Акбар!.. Аллаху Акбар!.. Аллах велик, а человек мал, а человек многолик!.. Устал... Аааа...

...И он медленно садится, опускается на кунградскую лебедину белопенную кошму.



И он закрывает узкие локайские необъятные глаза чабана. И он спит.

И только во сне жует зеленый изумрудный табак-насвай. И только горит рангунская дремливая душистая свеча.

И стоит Таттабубу. И она нага. И только власяной чачван сокрывает лицо пресветлое ее...

– Таттабубу! я так и не узнал, не увидел твоего тайного дремливового лица! Таттабубу, любовь моя!..

– Айя! Камолиддин, Камолиддин, мало вы принесли плодов на крови, плодов кровавых!.. Там меня могила ждет!..

А Махмуд-Карагач спит сидя в белопенной лебединой кошме. И от него пахнет чистыми горными травами, ручьями... И от него пахнет кочевым терпким потом и овечьим молодым сыром и свежевзрезанными каракулевыми ягнятами... И от него пахнет вольными ночными кострами... И от него пахнет дремучими пастушьими горными святыми звездами... И от него пахнет голодными лютыми безухими бесхвостыми псами-волкодавами...

И от него пахнет ночью Аль Кадра...

И от него пахнет Аллахом!..

Он читает, шепчет Суру Корана:

– Добродетельные жены отличаются послушанием и преданностью: в отсутствии мужей они заботливо оберегают то, что повелено Аллахом хранить в целости! Да!..

Он качает сонной головой:

– Да? Но кто остановит самум, кто остановит пески – семена летящие вольные блаженные аллаховы?..

И Таттабубу подходит к Махмуд-Карагачу, мужу своему, и рядом с ним на кошму покорно опускается. И они сидят рядом. И она нага. И горит свеча рангунская. И лежат арбузы, дыни, гранаты, перцы мои на кошме.

И тут в открытой двери является буддийский тьмовый лик угольный, агатовый яка кутаса!

И лик глядит на свечу! на Таттабубу мою! на Махмуда-Карагача! на меня полуголого дрожавшего, уже печального...

И лик яка молчащего выход малый из кибитки закрывает, загораживает...

Аллах!.. Да я бежать и не стал бы!

Аллах!.. Да я Таттабубу, любовь свою, не оставлю!..

Аллах! пора, пора, пора... Айя!..

Но она шепчет властно:

– Камалиддин, потушите свечу! задушите свечу... Пусть это совершится во тьме!.. Ай, Камолиддин-ака... Ай, возлюбленный брат! Мало, мало вы принесли плодов... Там меня могила ждет!.. Айя!..

Но горит свеча.

Тогда!.. Она в бреде что ли?..

– Гляди, художник! Гляди, Камолиддин Бехзад! Гляди, как жизнь! как кровь! как любовь! горяча горяча горяча! Не туши свечу! не души свечу! Вынимай колонковую кисть, вынимай краску мертвую твою! вынимай бумагу вечную рисовую твою! Пиши, рисуй! Передай на мертвой бумаге наготу невинную мою! Передай им, потомкам дальним, еще не рожденным, кровь веселую безвинную пролитую мою!..

И художник Камолиддин Бехзад дрожащими оглохшими руками вынимает из хурджина кисти и краски, и бумагу и рисует при свече наготу ее. О!..

– Камолиддин! написал наготу? написал жизнь? написал плоть? а теперь напиши смерть! а теперь напиши кровь! Но!.. Но зачем ты принес так мало кровавых плодов?.. О, несбывшийся возлюбленный мой!..

...И тут я начинаю постигать смысл ее слов!

Тогда Махмуд-Карагач, не открывая сонных тяжких глаз, вынимает из сагрового сапога мягкий шахинауский долгий нож.

Тогда Махмуд-Карагач, не отворяя сонных глаз, сильно опускает нож в термезский кровавый арбуз, и арбуз, враз распавшись, яро, ало многоводно течет...

Потом Махмуд-Карагач бьет слепым, а точным ножом в коралловую мирзачульскую тучную дыню – и дыня алым мясом, алой плотью обнаженной дрожит...

– Ай, Камолиддин! но зачем ты принес так мало плодов на крови?..

...И я насмерть понимаю, постигаю ее!..

– Ай, Таттабубу! Но может, злость, гнев, дрожь мужа в плоды изойдет, уйдет? Ай, Таттабубу! Может, нож мужа, иссякнув, устав от крови плодов, до

тебя не дойдет?.. Ай,

Таттабубу, может,

рука его устанет,

успокоится, ус-

мирится, не

дойдя до тво-

их пирами-

дальных

живых

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

ног –

И нож одиноко стоит в малой глиняной кибитке, и душно, тесно смертно, тошно от ножа...

И плоды разъяты все!

И дрожь Махмуда-Карачага не изошла!

И еще бы хоть один арбуз иль дыня! Да нет их!..

И пора!

...Тогда художник дро-

жащий Камолидзин

Бехзад идет к

ножу, и в руках

его лишь хруп-

кие ломкие

колонко-

вые кис-

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

ти...

столпов,  
до груди –  
гроздей рах-  
тинских виногра-  
дов-медопадов не  
дойдет?..

Да мало плодов... О  
Боже!.. Не для нищих любовь...

...И нож Махмуда-Карагача бродит над  
кошмою и находит фаззабадские гранаты  
и их раскалывает, раскрывает рубиновые  
маслянистые гроздья обнажая, открывая.

Ай рука его? нож его? гнев его не уста-  
ли?..

Да мало плодов...

И уже режет нож перцы афганские крас-  
ные, как глаза загнанных ахалтекинских  
кобылиц скуластых...

И  
что они  
против  
ножа?

И что худож-  
ник против война,  
мужа, хранителя,  
убийцы стад, отар?

И что кеклик, куропатка, что каменная  
куница против волкодава пса?

Но!

– Таттабубу, любовь моя! но я умру  
прежде тебя! Таттабубу! пусть нет плодов  
уже, да есть я!.. Может, нож Махмуда-Кара-  
гача, мужа твоего, усмирится-успокоится  
во мне, в теле моем, и не дойдет до тебя,  
любовь моя?..

– Махмуд-Карагач!.. Я тоже плод на крови! Бей меня – и уйдет дрожь твоя. И твой нож растворится, истает в теле моем... И та могила, которую ты вырыл – могила моя!..

...И я бросаюсь, рвусь к ножу, и тогда она говорит из чачвана глухого:

– Уходи, Камолиддин... Он не только муж мне... Он отец мой. Да!..

– Таттабубу! Что ты?

И я останавливаюсь у застывшего ножа...

– Таттабубу! что ты, любовь моя?... Айя!..

– Да, Камолиддин! Да!.. Иль не знаешь, что есть садовники, сами поядоющие плоды дерев своих!.. И у него одно дерево плодоносящее – и он поедает плоды его...

Иль не знаешь, что есть чабаны, сами поедоющие ягнят стад своих? У него одна овца – и он поедает агнца ее!..

И я жена Махмуда-Карагача! И дочь его кровная... И я ветвь древа его, и плод, и агнец стада его... И он поедает плоды мои...

И потому уходи, Камолиддин! И не мешай мужу моему, и отцу моему, и ножу справедливому его!.. Иди! Камолиддин!.. Пусть муж победит, убьет навек отца!..

Но что, что мало ты принес плодов? И там меня могила ждет... И пока пески не засыпали ее – я лягу в нее... Это Махмуд-Карагач вырыл ее... Он знал, чуял измену мою... Да не успели мы, возлюбленный мой!.. Иди, Камолиддин!.. Беги!.. Хранись!..

– Таттабубу! но в ночь Аль Кадра! но в ночь Аль Кадра!.. Махмуд-Карагач! иль не знаешь Четвертой Суры Корана “Женщины”? “Запрещается вам жениться на матерях, дочерях, сестрах ваших!” ...Иль не знаешь?..

Она шепчет, нагая, уже дальняя, уже неживая:

– Камолиддин, говори далее Суру!.. Что молчишь?... Говори далее!..

– “Но раз уж это свершилось, Аллах простит по снисходительности и милосердию Своему”...

Но раз уж это свершилось!.. А свершилось, Камолиддин! Уходи!.. Оставь нас, художник! Мне холодно нагой!.. А от крови мне будет теплей. Не мешай ножу!.. Иди!.. Быстрой! Беги! Возьми кисти свои!.. Беги!

И свечу теперь потуши, задуши... Пусть смерть, как и рождение, совершится во тьме, в ночи!.. Аллаху Акбар!.. Аллах велик!.. А человек мал!.. А человек многолик!.. Ийи!..

...Тогда я в бреду, в огне бегу к двери, и там агатовая морда – власатый буддийский лик яка – мешает мне...

Ангел Азраил пришел что ли в эту кибитку? и глядит дикими равнодушными глазами, очами, чуя близкую добычу?

Художник!.. Иль ты должен глядеть на жизнь и смерть буддийскими дремливыми глазами яка кутаса?.. Иль?..

Тогда я руками хватаю яка за власа, за морду, тогда я тычу колонковыми кистями в выпуклые квадратные глаза его темной мутной воды:

– Бош! Бош! Уйди!..

И плачут, текут очи яка...

Задыхаюсь я...

Тогда он обдает, обливает меня обильной ядовитой слюной, и тяжело, сонно голова его отходит от двери и выпускает меня... Ай!.. Да тут уже метут беснуются плещут пески! уже самум рассыпает необъятные летучие зерна песков... Да тут уже вся пустыня восстала, поднялась, встала в небеса...

И я бегу, ишу, брожу, и я гол, и пески секут глаза мне и тело мое худое...

– Таттабубу! Прощай!.. Аллах, побереги, помилуй и сохрани в песках... Аллаху Акбар! Аллах велик... А человек мал... Аааааа...

...Сколько прошло, протекло, пронеслось с той ночи песка?..

– Таттабубу, Таттабубу!.. И через пятьдесят лет я пришел из Герата в Бухару... И я нашел забытую, нищую, святую могилу твою, Таттабубу, Таттабубу!.. И я стою над тобой, и я стою над могилой твоей, Таттабубу моя!..

И я стою в шелковом зеленом чапане шейха, и в жемчужной бухарской чалме над тобой, возлюбленная моя. И я великий художник Камолиддин Бехзад, Мастер Павлиньего Хвоста, и знает весь мир от Багдада до Джайпура меня...





Рисунки Юлии Зубревой

И я плачу  
над тобой,  
Таттабубу моя...  
И я могу теперь  
купить все арбузы,  
и дыни,  
и гранаты,  
и перцы Бухары...  
Да поздно,  
любовь моя!..

– Камолиддин,  
Камолиддин,  
и зачем вы  
принесли мало плодов?..  
Там меня  
могила ждет...

– Ой, Таттабубу!  
ой,  
ой  
ой!  
Как далеко!  
как далеко...  
Таттабубу,  
Таттабубу,  
а я  
так и не узнал,  
не увидел  
лица твоего,  
любовь моя!..

Но  
скоро я увижу его!  
Ты покажешь мне его,  
Таттабубу моя?  
Ведь  
все эти пятьдесят лет  
я ждал,  
я искал его,  
любовь моя!..

Ты покажешь?  
явишь?  
откроешь его мне  
навсегда,  
на века,  
любовь моя...  
Таттабубу,  
любовь моя...

Аллаху Акбар...  
Аллах велик...  
А человек мал...  
Ай...



ROSE LAMBERT

NEIL CUNNINGHAM

HUGH FRASER



ГРИНУЭЙ

РАСОВАЛЬЩИКА

За кадром кастрат поет барочную песню: "Наконец сверкающая Царица ночи своим черным поцелуем убивает, убивает день..."

Песня под сурдинку звучит в последующей сцене, усиливаясь на появляющихся между планами титрах.

### *Дом мистера Герберта. Вечер.*

Действие происходит около 1690 года. Одетые в белое, с тяжелыми красными бантами на плечах или на талии, в белоснежных париках чудовищной высоты, гости и хозяева дома болтают при свете свечей и отблесках огня в камине, попивая красное вино и заедая его фруктами, живописно громоздящимися в высоких и низких вазах, расставленных во всех залах, где происходит прием. Позы персонажей напоминают парадные портреты той эпохи, в частности полотна Кнеллера и Лели. Первый эпизод, являющийся как бы прологом фильма, своей тяжелой, душливой атмосферой контрастирует с последующими натурными сценами. Первые планы, все более и более темные, вызывают в памяти глубокие тени с картин Караваджо.

Собеседники сходятся и расходятся, образуя все новые группы, пока практически все присутствующие не поговорят друг с другом. Разговор идет о садоводстве – новомодном увлечении, но на фоне этой болтовни все более важное место занимает драма, завязывающаяся между педантичным рисовальщиком и чрезвычайно настойчивой заказчицей.

Крупный план человека – во весь экран – с напудренным лицом, нарумяненными скулами и глазами, блистающими, как два черных озера, из-под белого шелковистого парика. Это мистер Ноиз, нотариус и главный управляющий поместья Гербертов. Он ест сливу, и его зубы поблескивают в свете горящей перед ним свечи.

**Мистер Ноиз.** Мистер Чандос был из тех людей, что проводят больше вре-

мени с садовником, чем с женой. Они беседовали о сливовых деревьях ad pauseam\*. По его милости все, кто жил в его доме, с ужасом ждали сентября, ибо они объедались сливами так, что кишки их начинали издавать громopodobные звуки (отводит взгляд), а зады болели от напряжения. Он построил часовню в Фованте, в которой скамьи были сделаны из сливы, так что домашние до сих пор вспоминают Чандоса из-за заноз в заду.

На черном фоне возникает написанное мерцающими красными буквами имя одного из героев фильма, а под ним – белыми буквами имя исполнителя роли. Песня кастрата за кадром звучит громче:

– "Наконец сверкающая Царица ночи своим черным поцелуем убивает, убивает день".

Группа из четырех человек, с бокалами красного вина и веерами в руках, расположилась полукругом, за их спинами видны другие гости.

**Миссис Клемент** (вдова землевладельца, вторая слева). Несколько лет назад в Амстердам из Англии возвратились два голландца. Они рассказывали, что Олхвингуэй очень напоминает их родину – там столько воды, столько декоративных прудов, столько каналов, столько бассейнов и фонтанов. Там даже есть ветряной насос. Им и в голову не могло прийти, что батюшка превратил свое поместье в сплошные водоемы только потому, что панически боялся пожара.

\* До тошноты (лат.)



Ее слушатели абсолютно безучастны, время от времени они пригубливают из своих бокалов. Миссис Клемент продолжает, обмахиваясь веером:

– Даже под парадным крыльцом было помещение, где стояло двести ведер, полных воды. Я это точно знаю, потому что каждый раз, когда мне было невтерпех, мы с братом бежали туда. (Она смеется; остальные несколько смущенно отпивают из бокалов.) Эти ведра были наполнены еще до матушкиной смерти, и, наверное, они и сейчас еще там, с водой тридцатилетней давности... (Она говорит так громко, что гости, стоящие позади группы, оборачиваются взглянуть на нее.) ...ну, конечно, смешанной с небольшой частью меня самой: я тогда мочилась, как лошадь, да и сейчас тоже. (Разражается глупым смехом, прикрывая лицо сложенным веером.)

Продолжение титров. На этот раз возникает дата: *АВГУСТ 1694*<sup>1</sup>.

**Певец** (звук за кадром усиливается). “Для тех, кто гуляет, гуляет по парку, по парку, в надежде найти любовь...”

Два худых, чрезмерно набеленных лица с симметрично расположенными мушками на скулах, у правого персонажа – справа, у левого – слева, с подведенными глазами и резко очерченными кроваво-красными губами. Это Пуленки, два брата-близнеца. Справа и слева от них горят две симметрично расположенные свечи, освещая белые манжеты и букли париков, которые соприкасаются – так близко братья стоят друг к другу.

**Мистер Пуленк I** (тот, что слева). В Саутгемптоне есть один дом, который всегда восхищал меня, потому что сбоку он

---

<sup>1</sup> Эта дата выбрана не случайно: в 1689 году английский король Яков II Стюарт, защищавший католиков, был низложен и к власти пришел Вильгельм III Оранский. В последующем диалоге содержится намек на яростную борьбу, развернувшуюся в эти времена между английскими католиками и протестантами. 1694 год – это дата зарождения подлинного парламентского строя и основания Английского банка. Автор, несомненно, хотел подчеркнуть значение денег в жизни англичан той поры.

выглядит таким плоским. Он построен из белого портлендского камня, и в пасмурную погоду кажется, будто он опирается на небо. Особенно по вечерам.

**Мистер Пуленк II** (тот, что справа). Его хозяйка – некая мисс Энтерим, дама, не имеющая мужа.

**Мистер Пуленк I**. Если смотреть сбоку, мисс Энтерим не имеет также ничего...

В кадре – молодой человек, черные волосы и одежда которого странным образом контрастируют с белыми париками и одеждой остальных участников приема; это мистер Нэвилл.

**Пуленк I** (за кадром). ...заслуживающего внимания.

**Мистер Нэвилл**. Возможно, поэтому, в отличие от дома, эта дама не имеет опоры.

Мистер Пуленк I поворачивается влево, несомненно к Нэвиллу, находящемуся за кадром:

– Плоскость обоих, мистер Нэвилл, вам как живописцу и рисовальщику...



**Мистер Пуленк II**. ...могла бы показаться занятой... наверное.

Мистер Пуленк I поворачивается, оба брата оказываются почти щека к щеке и говорят вместе:

– Особенно по вечерам... (Переглядываясь) ...если смотреть сбоку.

Появляются следующие титры – белые на черном фоне.

Певец за кадром продолжает петь:

– “...Для тех, кто гуляет, гуляет...”

Полдюжины персонажей, собравшихся вокруг одного стола, при свете свечей играют в карты или глядят на играющих. Два

человека в огромных париках, доходящих им до поясницы, обрамляют сцену справа и слева. В глубине сцены – дама внимательно смотрит в свои карты, прежде чем открыть одну из них.

**Мистер Сеймур** (тот, что справа). ...Говорят, что герцог де Корси попросил своего фонтанных дел мастера подняться с ним на самый верх построенного им хитроумного каскада и спросил, смог бы он сотворить подобное чудо для кого-нибудь другого. Механик, рассыпаясь в благодарностях и любезностях, наконец признал, что если найдется достаточно богатый заказчик, то смог бы. Тогда герцог де Корси тихонько толкнул его в спину, и бедняга нашел свою смерть под водой.

Все смеются, кроме сидящей в глубине дамы с картами. Она остается невозмутимой.

Продолжение вступительных титров.

**Певец.** "...Надеясь на успех, которого они обязательно достигнут..."

Четыре человека стоят за столом с роскошными фруктами; сцена освещается свечами. Слова персонажей, находящихся справа, не слышны. Беседуют мужчина и женщина, которых мы видим в профиль. Они держатся напряженно и скованно.

**Миссис Пирпойнт** (брюнетка, волосы которой украшены очень высокой тиарой из серебряных кружев). Ну что, мистер Ноиз, у вас не найдется для меня никакой пикантной сплетни?

**Мистер Ноиз.** Мадам, я здесь для того, чтобы развлекать гостей, поэтому, я уверен, рано или поздно я смогу раздобыть что-нибудь для вас.

**Миссис Пирпойнт.** Значит, у вас здесь особая роль, чего нельзя сказать об остальных (Ноиз отпивает глоток красного вина из бокала), ведь они собираются только для того, чтобы выразить свое доверие к деньгам друг друга.

**Мистер Ноиз.** Мадам, ведь вы тоже из их круга.

**Миссис Пирпойнт.** Меня приглашают только благодаря моему примерному поведению в обществе мистера Сеймура. (Слышен женский смех; мистер Ноиз глядит в сторону

той, что смеялась.) Строго говоря, я не столько член этого общества, сколько его собственность. (Дважды качает сложенным веером.)

**Мистер Ноиз.** Раз уж вся компания собралась здесь, чтобы поговорить именно о деньгах, да еще с удовольствием, вы должны быть достойно вознаграждены. Я бы не пожалел для вас двух цветников и аллеи апельсиновых деревьев.

**Миссис Пирпойнт.** А вы не слишком щедры, мистер Ноиз.

**Мистер Ноиз.** Пока что я не достаточно богат, чтобы предложить вам больше, однако очень скоро все изменится. (Светским тоном, почти не глядя на нее.) В настоящий же момент, находясь в обществе тринадцати человек, владеющих большим куском английской земли, вы бы могли рассматривать эти два цветника и апельсиновую аллею как начало, и будучи дамой... в итальянском вкусе (переглядываются), вы, мадам, должны оценить апельсины по достоинству. У них такой чудесный аромат и освежающий вкус.

Женщина, стоящая справа, элегантно обмахивается веером.

Конец вступительных титров: имя режиссера Питера Гринуэя ложится на финал музыкального сопровождения... и акцентируется недружными аплодисментами.

**Певец.** "...Даже статуи дышат".

Две беседующие дамы, мать и дочь, едва смотрят друг на друга. Одна стоит впереди, другая за ее спиной. Их темные локоны почти полностью скрыты под высокими перламутрово-белыми уборами. Перед ними – величественная композиция из фруктов и тыкв.



**Миссис Герберт** (старшая, мать второй). Как ты думаешь, твой отец пригласит мистера Нэвилла сделать рисунки нашего дома?

**Миссис Тэлманн.** Может статься, шансы мистера Нэвилла, да и ваши тоже, увеличатся, если вы пригласите его сами?

**Миссис Герберт.** О, для меня это слишком уж сложно. Твоего отца может удивить несвойственная мне смелость.

**Миссис Тэлманн** (слегка улыбаясь). Ну, значит, вы удивите его, а, возможно, и мистера Нэвилла. Но если это пугает вас, матушка, мы могли бы обвинить во всем самого мистера Нэвилла.

Мистер Нэвилл стоит между мистером Клементом и мистером Тэлманном и держит тарелку со сливами. Их освещают две свечи.

**Мистер Нэвилл.** В моей власти пораздовать или огорчить заказчика, изобразив его дом в тени... (Подняв правую руку в широкой белой манжете, бросает тень на свое лицо.) ...или на ярком солнце. Вероятно, я даже до некоторой степени способен вызвать ревность или удовольствие мужа... (Берет сливу с тарелки и держит ее в руке.) ...нарисовав его жену... (Медленно поднося сливу ко рту.) ...одетой или раздетой.

Те двое, что смотрят на него, отводят глаза с едва скрываемым неодобрением.

Миссис Тэлманн и мистер Герберт – ее отец – едва смотрят друг на друга. Он находится перед зеркалом в оправе из золотой ливши с пятью свечами. Слышна приглушенная игра на клавесине. Оба персонажа освещены мягким, интимным све-

том, бросающим на их кожу чувственные отблески и заставляющим сиять белые парики и кружева.

**Мистер Герберт.** Миссис Клемент спросила, есть ли у меня жена. Этот вопрос показался мне несколько нелепым. (С притворным возмущением.) Ей же известно, что у меня есть парк – как же она может не знать, есть ли у меня жена или нет?

**Миссис Тэлманн** (очень сдержанно). Возможно, это из-за того, что вы всем сообщаете о первом и молчите о второй. Но, по-моему, нелепо было бы ожидать такта и скромности от такой дамы, как миссис Клемент.

**Мистер Герберт.** Зато твоя мать слишком носится со своей скромностью. Ей следовало бы больше выезжать. Она прозябает в тени.

**Миссис Тэлманн** (жестко). Она не прозябает, батюшка, а даже если и так, то вы отлично знаете, что причиной тому – ваше безразличие. (Она бросает на него взгляд, и тут же отводит глаза.) Дом, парк, лошадь, жена – такова иерархия ваших ценностей.

**Мистер Герберт.** Ерунда!

Мистер Нэвилл и миссис Герберт глядят друг на друга в полутьме, едва разрываемой светом свечей. Перед ними на столе серебряное блюдо с фруктами, в глубине – окно.

**Миссис Герберт.** Мне бы очень хотелось, мистер Нэвилл, чтобы вы сделали рисунок поместья моего мужа.

**Мистер Нэвилл** (удивленно). Почему, мадам?

**Миссис Герберт.** Мой супруг – гордец, и он счастлив чувствовать свою связь с каждым камнем, с каждым деревом своего имения в каждый момент своей жизни как наяву, так и, без сомнения, во сне, хотя я уже не так хорошо знакома с его снами, с тех пор, как...

**Мистер Нэвилл.** Мадам, если ваш супруг так привязан к своим владениям, вряд ли, обладая оригиналом, он захочет иметь копию.

Двое мужчин в чудовищных париках – мистер Герберт и мистер Сеймур. Между ними – горящая свеча, сзади на стене – одно из зеркал с



пятью свечами. Слышны звуки спинета.

**Мистер Герберт.** Не одобряю я этих самонадеянных юнцов. (Поедая сливу.) Тщеславие у них, как правило, превосходит способности.



**Мистер Сеймур.** Мистер Нэвилл наделен способностями в достаточной мере, чтобы очаровывать там, где он не может поразить. А уж жен богачей он умеет и очаровывать и поражать.

**Мистер Герберт.** Это встречается не так уж редко, мистер Сеймур.

Они наклоняются над свечой друг к другу; Сеймур высвобождает ухо из-под парика. Мистер Герберт продолжает доверительным тоном:

– Поедемте завтра со мной в Саутгемптон, и я покажу вам, как произвести впечатление на даму.

Миссис Тэлманн и Нэвилл. Он стоит немного сзади. На темном фоне освещен лишь его профиль. Две свечи; в глубине справа – зеркало.

**Миссис Тэлманн** (воодушевленно и очень громко). Батюшкино имение, скорее, можно назвать скромным, мистер Нэвилл. (Он поворачивает лицо к молодой даме.) Но, поскольку скромность здания не претит вам, быть может, я могла бы... (Поднимая на него глаза.) ...убедить вас нарисовать дом?

**Мистер Нэвилл** (возводя глаза к небесам, с ироническим вздохом). Ага! Подобное

предложение мне уже сегодня поступало. Я, конечно, заинтригован такими согласованными действиями, но, мне кажется, мадам, при данных обстоятельствах – могу я быть откровенным? – ни вы, ни ваша матушка не сможете оплатить моих услуг.

За столом сидит миссис Герберт, справа за ней стоит Нэвилл. Он ест руками, не очень изысканно. На переднем плане огромная свеча, другая – слева, немного сзади.

Миссис Герберт, поигрывая бокалом и не глядя на Нэвилла:

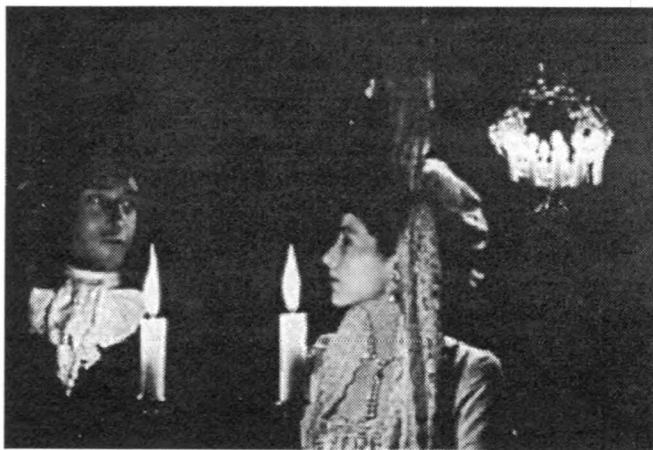
– Но почему бы вам не воспользоваться нашим гостеприимством? Приходите завтра прогуляться по парку мистера Герберта.

По-прежнему слышна приглушенная музыка.

**Мистер Нэвилл,** держа тарелку в руке:

– Мадам, не отрицаю, что сделал бы это с удовольствием, но, боюсь, несмотря на вашу настойчивость, я буду вынужден вам отказать, поскольку у меня есть заказ, который я должен закончить до наступления сезона сбора яблок, а затем я буду в распоряжении лорда Чарборо, пока не будет выпит сидр из яблок урожая будущего года.

За столом сидит мистер Герберт. Перед ним – ваза с фруктами. Он поворачивается, следя за этим обменом репликами.





Нэвилл и миссис Тэлманн рядом за столом. Они видны в три четверти оборота, со спины. Две свечи горят справа и слева от них, и две – в глубине между ними. Колкая, ироничная музыка.

**Мистер Нэвилл.** Мадам, ваша матушка непременно желает запечатлеть этот дом на бумаге, или, быть может, это, на самом деле, ваше желание, а матушка просто старается для вас?

**Миссис Тэлманн.** Признаться, мистер Нэвилл, это я обратилась к вам от матушкиного имени. Однако и она это делает не ради себя, а ради своего мужа.

**Мистер Нэвилл.** Значит, эта просьба прошла долгий и извилистый путь. Я польщен. Но почему мистер Герберт сам не заказал эти рисунки?

**Миссис Тэлманн.** Цель наших усилий – как раз избежать этого. Вы, мистер Нэвилл, должны, как мы надеемся, послужить делу примирения.

Нэвилл и миссис Герберт. В глубине на столике – цветы.

Миссис Герберт держа перед собой бокал с красным вином, говорит сдержанным тоном:

– Мистер Нэвилл, как же мне убедить вас погостить в Комптон Энсти? – и отводит взгляд.

– Никак, мадам.

Миссис Герберт опускает взгляд на свой бокал:

– Но вас ведь можно купить, мистер Нэвилл. Сколько это будет стоить?

– Больше, чем вы можете позволить себе заплатить, мадам. Но, должен признаться, что главная причина моего отказа – привычка к праздности.

Кончается игра на спинете, слышны жидкие аплодисменты. Мистер Нэвилл берет бокал со столика позади миссис Герберт и принимает довольно бесцеремонную позу по отношению к собеседнице:

– Я назначаю цену пропорционально удовольствию, которое надеюсь получить.

Здесь я вряд ли получу большое удовольствие, мадам.

Он уходит. Она потрясена и провожает его глазами, так и не донеся бокал до приоткрытого рта. Появляется одетая в черное с белым гувернантка с ребенком на руках. Он тоже в тяжелом парике. Миссис Герберт целует его ручку, гладит ему щечку. Слышен сдавленный смех. Она оборачивается туда, откуда донесся смех. Гувернантка с ребенком уходит. Миссис Герберт опускает глаза, подносит бокал с губам. Слева появляется ее муж.

**Мистер Герберт** (жестко). Мадам, завтра рано утром я отправляюсь в Саутгемптон... (Он берет бокал у нее из рук, не давая выпить, какой-то момент она смотрит на свою опустевшую руку, затем опускает ее.) ...поэтому пришел попрощаться сейчас. (Повышая голос, противным тоном.) Не начинайте без меня сенокос, не покидайте поместья, не пейте мой кларет.

Ставит бокал на стоящий между ними столик. Еще более возвышает тон:

– Я вернусь не раньше, чем закончу дела, то есть, по меньшей мере, дней че-

рез четырнадцать. Спокойной ночи, мадам.

Она опускает глаза. Он берет свой бокал.

Нэвилл стоит за ширмой, закрывающей его по грудь, с бокалом красного вина в руке.

Появляется миссис Герберт. Снова слышна барочная песня.

**Миссис Герберт** (тихо). Я решила, что вам нужно обязательно поселиться здесь и сделать двенадцать рисунков поместья моего мужа. Муж пробудет в Саутгемптоне не меньше двенадцати дней. Это достаточный срок для вас?

Мистер Нэвилл отвечает громко, тоном, в котором странным образом отсутствует деликатность:

– Во-первых, мадам, вы выдвигаете





требование, как будто мы сегодня не обсуждали ваше предложение. Во-вторых, вы увеличиваете число рисунков, по меньшей мере, в двенадцать раз. В-третьих, вы устанавливаете мне жесткие временные рамки. И в-четвертых, вы хотите, чтобы я pristупал немедленно.

Миссис Герберт тоже повышает голос: – Мистер Нэвилл, мы имели возможность убедиться, что вам по силам выполнить все четыре условия.

Она поворачивается и проходит за его спиной. Музыка за кадром продолжает звучать.

**Мистер Нэвилл.** Ваши требования чрезмерны. (Она застывает с другой стороны от него. Они смотрят друг на друга.) Таковыми же будут и мои.

Наконец появляется название фильма, – красное на черном фоне. Звучит барочная песня.

### *Библиотека. Ночь.*

Мистер Ноиз сидит между мистером Нэвиллом и миссис Герберт. Перед ними



на столике лежит лист бумаги. Сцена освещается пламенем лишь одной свечи.

**Мистер Нэвилл** (играя перстнем с печаткой на правой руке). Условия договора, мистер Ноиз, следующие: я обязуюсь за двенадцать дней исполнить двенадцать рисунков дома, сада, парка и парковых построек, принадлежащих мистеру Герберту. Выбор природы для рисунков оставлен на мое усмотрение, но подлежит одобрению миссис Герберт.

**Миссис Герберт** (положа руку на декорированную грудь). Со своей стороны, Томас, я готова уплатить по восемь фунтов за рисунок, предоставить кров и стол мистеру Нэвиллу и его слуге – и...

Поскольку она не закончила, мистер Нэвилл выжидательно наклоняется к ней.

**Мистер Ноиз** (почти неслышным шепотом). ...и, мадам?

**Миссис Герберт.** ...и дать согласие встречаться с мистером Нэвиллом наедине и выполнять все его желания, которые могли бы доставить ему удовольствие.

Нэвилл с удовлетворением поднимает глаза к небу. Ноиз смотрит на миссис Герберт.

### *Первый день контракта с 7 до 9 часов утра. Первый рисунок.*

Общий вид дома. Экспрессивная музыка. На ярко-зеленой лужайке поставлены стол и стул черного дерева, а также решетчатая визирная рамка. Быстро подходит Нэвилл. Он одет в черный костюм с белым жабо и манжетами и белые чулки. Его слуга Филип в огромном белокуром парке идет за ним, нагруженный черным чемоданчиком и папкой для рисунков на черной деревянной подставке. Нэвилл какое-то время рассматривает дом, затем садится на стул с прямой высокой спинкой. Филип кладет чемоданчик на стол и протягивает Нэвиллу папку для рисунков. Тот берет ее.

Голос за кадром комментирует:

– Распорядок дня, необходимый для выполнения рисунков в Комптон Энсти. Для рисунка номер 1: от семи до девяти часов утра весь участок позади дома, от конюшен до прачечной, должен быть свободен.



Рядом с Нэвиллом суетится слуга, он раскладывает складной стульчик и устраивается подле хозяина.

На расчерченном листе – то есть снабженном такой же решеткой, как и визирная рамка, – рука Нэвилла в черной перчатке, с пышной белой манжетой, проводит первую горизонтальную линию, соответствующую крыше здания, затем – косую линию.

Нэвилл в черной шляпе с широкими полями, украшенной огромным белым страусовым пером, сидя на стуле наклоняется, чтобы глянуть в свой визир. Слуга чинит крандаши.

Общий вид дома: крыши, окна... За одним из окон кто-то движется.

Голос за кадром продолжает комментировать:

– Никто не должен пользоваться главными воротами конного двора...

Лист с грифельным рисунком, уже весьма продвинувшимся. Рука тщательно вырисовывает окно, затем заштриховывает его.

– ...черным ходом в дом...

Окно открывается и в нем появляется служанка.

– ...открывать окна и передвигать мебель в задних помещениях дома.

Нэвилл в бешенстве наклоняется вперед, не спуская глаз с окна.

В окне служанка вытряхивает простыни.

Нэвилл выпрямляется и складывает руки на стоящей у него на коленях папке с рисунками.



Лицо рисовальщика через решетку визирной рамки. Финальные аккорды экспрессивной музыки.

*Первый день с 9 до 11 часов утра. Второй рисунок. Парадный парк.*

Общий вид зеленого сада: подстриженные изгороди из букса и тиса, каменные обелиски и бю-

сты на высоких постаментах составляют классический пейзаж внушительного английского поместья той эпохи. Слева – ряд апельсиновых деревьев в кадках, справа – каменные обелиски и подстриженные кусты. В глубине гуляет одетая в черное с белым гувернантка с мальчиком. Ребенок

одет во все белое, на нем огромный парик, локоны которого ниспадают ему до колен. Они приближаются.

**Гувернантка** (по-немецки). "А" – ist fur Apricot. "М" – ist fur Marilla\*.

Парк. Вдалеке виден дом, на полпути к нему – величественный кедр.

Быстро приближается Нэвилл в сопровождении слуги, толкающего за ним тележку со всеми необходимыми принадлежностями.

Слуга по приставной лестнице забрался на дерево и бросает сверху плоды – сливы? – в передник служанки, которая затем высыпает их в большую корзину, стоящую у ее ног.

**Голос гувернантки.** "С" – ist fur Citrone... Citrone...\*\*

Слева – папоротники, справа – стри-

---

\* "А" – абрикос. "М" – морелла.

\*\* "Л" – лимон... лимон...

женная изгородь; Нэвилл с развешивающимися по ветру манжетами удаляется большими шагами, держа под мышкой папку с рисунками.

– "А" – ist fur Ananas...\*

Гувернантка медленно приближается вдоль ряда апельсиновых деревьев, держа ребенка за руку. Высокая трава, сиреневые цветы. Проходит Нэвилл и исчезает за дверью в каменной стене.

– "Р" – ist fur Pinapple\*\*.

Крестьянин согнулся над цветочным бордюром. В глубине парка слуга толкает свою тележку.

Голос за кадром продолжает комментировать:

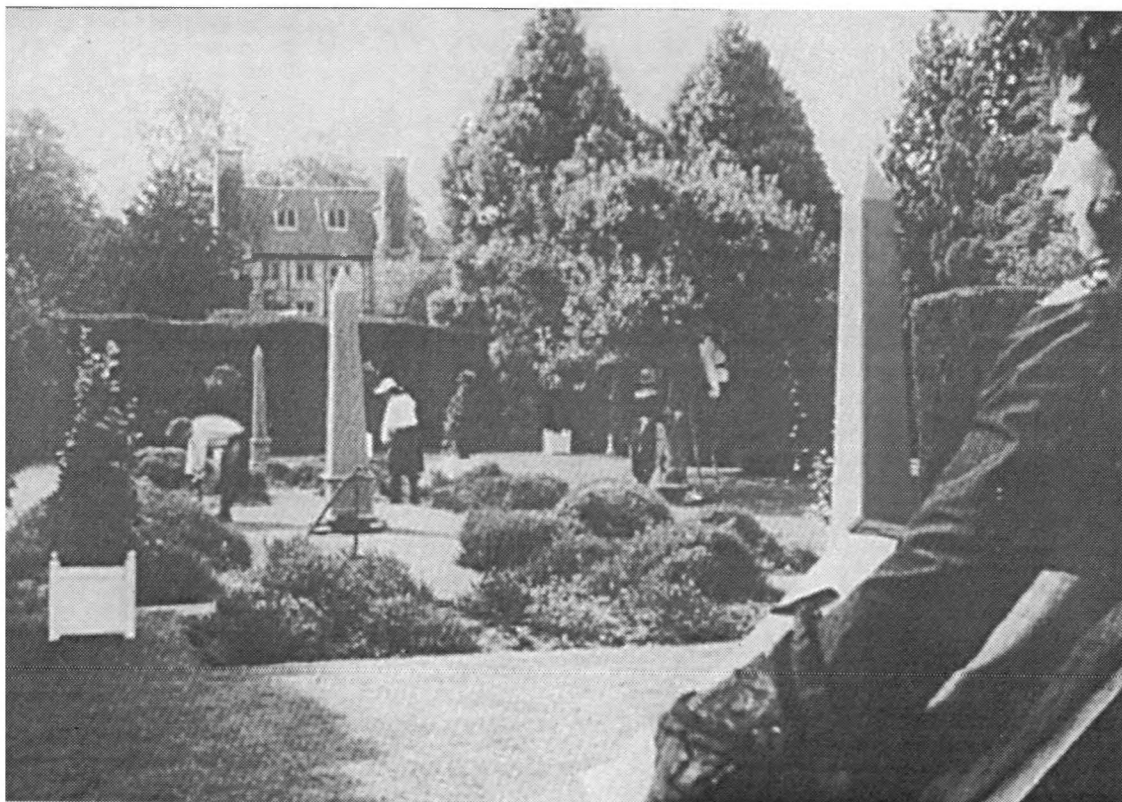
– Для рисунка номер 2...

Слева – сиреневые цветы, справа, на стене, – каменная урна. Появляется Нэвилл, останавливается и снимает шляпу.

---

\* "А" – ананас...

\*\* "Ш" – шишка.



– ...от девяти до одиннадцати часов утра...

Через визирную рамку виден Филип, слуга Нэвилла, и два садовника, один – рядом с Филипом, другой – посередине ряда обелисков. Немного дальше еще два садовника. Справа медленно приближается гувернантка с ребенком. Слева садовник толкает тачку.

– ...нижние газоны около дома и регулярный парк должны быть свободны. Не должно открывать или закрывать окна на верхнем этаже.

Появляется Нэвилл и останавливается перед визирной рамкой, почти полностью ее загораживая. Он стучит тростью по визиру, прогоняет слугу. Музыкальное крещендо. Все торопятся освободить пространство. Даже Нэвилл покидает кадр. Остается опустевший пейзаж: подстриженные деревья и каменные обелиски на изумрудном газоне. Слышно пение птиц.

Открывается папка с рисунками; руки Нэвилла в черных перчатках убирают черные ленты папки с разграфленного, как визирная рамка, листа бумаги и начинают наносить первые линии рисунка.

Голос мистера Тэлманна за кадром:

– Ваш мистер Нэвилл, Сара, обладает почти божественным даром опустошать ландшафт.

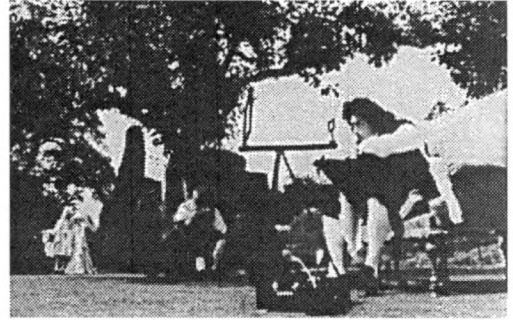
Супруги Тэлманн, одеты в белое. На нем, по обыкновению, кошмарный парик, кудрявый, как баран, а в руке громадная, тоже белая, шляпа; на миссис Тэлманн – шляпа с полями, в руке зонтик. Другой рукой она опирается на руку мужа. За ними купа кустов. Слышно пение птиц.



**Мистер Тэлманн.** Чудо, что птицы еще поют.

**Миссис Тэлманн.** Если бы они перестали, мистер Нэвилл вряд ли заметил бы разницу...

Мистер Нэвилл сидит на канаве узорчатого темно-розового атласа с папкой для рисунков на коленях. У его – ног коробка с принадлежностями. Сам он наклонился к



визирной рамке. Его слуга сидит в тени дерева.

**Миссис Тэлманн** (голос за кадром). Его отношение к природе сугубо практическое.

### *Дом. День.*

Миссис Герберт смотрит в сад из распахнутого окна. Рядом стоит мистер Ноиз. На подоконнике – букет цветов.

**Миссис Герберт.** Томас, почему это мистер Нэвилл проявляет такой интерес к моим простыням?

*Первый день с 11 до 13 часов. Третий рисунок. Прачечная. День.*

Тенистая аллея с большими деревьями. Слева, над небольшим каменным парпетом, выходящим на водяной ров, стоит визирная рамка. В глубине слева – часть дома, перед которым служанка – несомненно, прачка – выливает ушат воды на развешенные на изгороди простыни; позади нее на веревках сушатся другие простыни. В аллее появляется Нэвилл, подхо-

дит и опирается на парапет рядом с визиром. Он смотрит на прачку. Звучит музыка.

**Мистер Ноиз** (голос за кадром). Мадам, он собирается изобразить их мокрыми около прачечной.

**Миссис Герберт** (голос за кадром). Мокрыми? Почему мокрыми?

**Мистер Ноиз** (голос за кадром). Мадам, не могу знать. Возможно, у него сохранились теплые воспоминания о раннем детстве.

Нэвилл садится спиной к нам, его длинный черный парик закрывает от нас визир, в который он смотрит.

Голос за кадром комментирует:

– Для рисунка номер 3: от одиннадцати часов утра до часу полудни задняя часть дома и северное крыло должны быть свободны.

Папка для рисунков открывается на чистом разграфленном листе бумаги, на который рука Нэвилла, затянута в черную перчатку, наносит вертикальную линию, затем более короткую косую слева, начиная рисунок.

Голос за кадром продолжает комментарии:

– На участке, используемом для сушки белья, все должно оставаться в неприкосновенном виде, по договоренности...

Нэвилл – анфас, слуга стоит за его спиной.

– ...между рисовальщиком и прачкой, которая несет полную ответственность...

Вид от дома: на изгороди сушатся простыни, на газоне стоят ушаты, Нэвилл и Филип в глубине кадра. Порхая, пролетают бабочки. Слышно пение птиц. Музыкальное крещендо.

Комментарий за кадром заканчивается словами:

–...за расположение белья.

*Кабинет миссис Герберт. День.*

Музыка за кадром продолжает звучать.

Это первая интимная встреча миссис Герберт и Нэвилла. Последний развалился на канале, опершись рукой о спинку. В глубине – застекленная дверь с частым переплетом; комната погружена в полутьму:

ставни снаружи, должно быть, закрыты. Появляется миссис Герберт и спешит закрыть внутренние ставни стеклянной дверью. Она поворачивается спиной – шнуровка ее платья распущена. Музыка смолкает.



**Мистер Нэвилл** (повелительным тоном). Мадам, я рад, что вы расстегнули платье, как я просил.

Он встает, грубо привлекает ее к себе на софу и рвет шнурки ее корсажа, затем бесцеремонно стаскивает с нее платье, дергая за рукава как одержимый. Миссис Герберт прерывисто дышит. Она скорее лежит, чем сидит на канале в своем головном уборе из белых кружев, напоминающем тиару. Нэвилл срывает с нее платье, обнажает ей грудь. В глубине, справа, апельсины в низкой вазе; ставни стеклянной двери, которые миссис Герберт не успела закрыть до конца, слегка приотворены.

**Мистер Нэвилл.** Вы не знаете, ваш супруг не советовался с садовником мистера Сеймура, когда прививали грушевые деревья?

**Миссис Герберт** (сдерживая рыдания). Мы...

**Мистер Нэвилл.** Простите, мадам, вы говорите недостаточно громко.

Миссис Герберт опирается на спинку канале, задыхаясь и кашляя:

– Мы... мы не знакомы с садовником мистера Сеймура...

Мистер Нэвилл грубо вытягивая ее обнаженную руку, продолжает глумливым тоном:

– Вот как...

**Миссис Герберт.** ...Мистер Нэвилл...

**Мистер Нэвилл** (поднимая ее правую руку над головой). Деревья плохо сформированы – угол между ветвями и стволом слишком острый... (Он поднимает ее вторую руку, как две ветви дерева; она тяжело дышит.) ...но сами по себе они хороши. А как груши, мадам? (Он отводит кружева ее убора, сжав ее груди, целует их. Она сгибает руки, кладет их за голову; его не видно за ней.) Они съедобны, когда поспеют?

### *Сад. День.*



Через визирную рамку виден освещенный солнцем сад. Его лучезарность резко контрастирует с полумраком помещения в предыдущем кадре. Сидя на стуле и зажмурив один глаз, на нас глядит через визир мальчик в огромном белом парике.

Гувернантка, стоя за ним, излагает по немецки начало мифа о Персефоне:

– Давным-давно, в античной Греции...

Рука ребенка с тяжелым перстнем на пальце, слишком крупным для детской руки, в кружевной манжете, пытается тоже нарисовать дом, подражая Нэвиллу, но грифельным карандашом на зеленой грифельной доске.

– ...жила-была прекрасная царевна по имени Персефона.

Ноги мальчика, сидящего на стуле Нэвилла, не достают до земли. На заднем плане – деревья и пасущиеся овцы.

– Однажды явился злой царь Плутон и унес Персефону в подземное царство...

Вдали два раза бьет колокол. В кадре – те же двое, анфас; справа от них – угрожающая черная тень. Гувернантка продолжает:

– ...Но мать Персефоны, богиня, так плакала, что властелин подземного царства растрогался и вернул ей дочь.

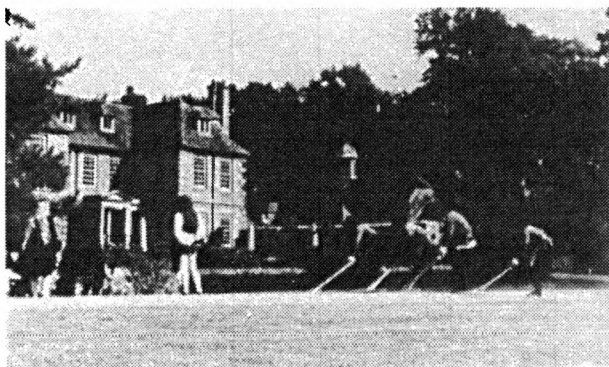
Рука ребенка указательным пальцем с перстнем стирает с доски неверную линию, затем проводит новую. Но нажим слишком сильный – грифель противно скрипит по доске.

### *Туалетная комната. День.*

Прилегающая к будуару туалетная комната. Полумрак; горящие свечи отражаются в зеркалах. На туалетном столике стоит тазик. В раскрытую дверь входит миссис Герберт. Голубоватый свет, просачивающийся через закрытые ставни будуара, контрастирует с золотистым светом туалетной комнаты. Миссис Герберт все еще в полурасстегнутом платье, в приступе тошноты она зажимает рот рукой. Ее тошнит чем-то белым в тазик. Кружева ее головного убора тоже попадают в таз. Она икает, рыгает...

### *Первый день с 2 до 4 часов пополудни. Четвертый рисунок. Южная сторона дома. День.*

Снова сияющий под ярким солнцем сад контрастирует с удушливой атмосферой предыдущей сцены. На заднем плане – дом. На сей раз это южный фасад, на который выходят окна спальни миссис Герберт и музыкальный салон миссис Тэлманн, где она иногда играет на спинете. Именно ее игру негромко слышно в этой и последующих сценах. Заложив руки за спину, слуга смотрит на четырех садовников, разравнивающих гравий на аллее. Они дви-



жуются справа налево, поднимая за собой облако пыли. Появляется Нэвилл. Филип встает слева от него.

Комментарий за кадром:

– Для рисунка номер 4 от двух до четырех часов пополудни западное крыло дома и примыкающий к нему участок должны быть свободны. Не позволено ставить здесь лошадей, кареты и другие экипажи, нельзя трогать гравий на дорожках.

Нэвилл отдает шляпу слуге и садится за стол. Филип помогает ему устроиться.

– Не должно топить печей, дым от коих может быть виден с фасада.

Нэвилл хлопает в ладоши, давая знак садовникам прекратить работу. Те подчиняются и уходят.

Белый разграфленный лист бумаги. Нэвилл вытирает его пышной белой манжетой правой руки, затем проводит вертикальную линию... Музыка смолкает. Слышно лишь пение птиц.

*Первый день с 4 до 6 часов пополудни. Пятый рисунок. Парк и холм. День.*

Мощная музыка. Уголок парка возле рва. Садовник сметает опавшие листья. Через открытую дверь в стене входит Нэвилл с двумя слугами и направляется к маленькому мостику, перекинутому через канал.

В сопровождении своего слуги в белокуром парике, Нэвилл приближается к стоящему на траве низкому черному столу. Рядом с ним визирная рамка. Слышна музыка. Мимо проходят слуги. Один слуга везет тележку с цветами в горшках. Нэвилл принимает взглядом к визиру, затем уходит вслед за слугами, удаляясь к железным решетчатым воротам в стене. Они идут через лужайку между живой изгородью с одной стороны и рядом цветущих кустов – с другой. Каменный обелиск, каменные шары на столбах, поддерживающих решетку. Филип толкает решетку, собираясь выйти, затем передает свою ношу слуге в черном парике и возвращается.

Мистер Нэвилл, в свою очередь собираясь пройти через решетку, торопит:

– Поскорее!

Филип поспешно семенит, в то время как остальные исчезают за стеной.

Вид холма. Вдалеке за деревьями дом. Прямо на земле, на сухой траве, покрывающей вершину холма, расставлены черный стул с прямой плетеной спинкой, складной стульчик, визирная рамка, папка с рисунками на подставке и чемоданчик Нэвилла. Сам Нэвилл взбирается на холм, раздеваясь по дороге. За ним темноволосый слуга несет его одежду и его черный парик. Музыка, пение птиц.

Комментарий за кадром:

– Для рисунка номер 5 от четырех до шести часов пополудни...

Нэвилл освобождается от длинного шарфа из белого полотна, который он обычно носит на шее, завязывая как галстук, и бросает его на подставку папки с рисунками, затем падает на стул. На той же подставке слуга развешивает одежду и парик Нэвилла, пока тот ерошит рукой свои волосы. В глубине кадра появляется человек в белом; вскоре мы узнаем в нем мистера Тэлманна.

– ...та часть поместья, где открывается вид с холма, к северу от дома, должна быть свободна от всех членов семьи, домашней прислуги и крестьян. Животные, которые в настоящий момент пасутся на лугу, могут и дальше оставаться там.

Нэвилл развязывает жабо.

Тэлманн приближается к Нэвиллу справа, Филип, слуга в белокуром парике, – слева.

Мистер Тэлманн, приблизившись на расстояние голоса, здоровается:

– Добрый день, мистер Нэвилл.

**Мистер Нэвилл.** Мистер Тэлманн!

Темноволосый слуга удаляется.

Мистер Тэлманн останавливаясь рядом с Нэвиллом:

– Хм... Вижу, вы выбрали прелестный пейзаж из тех, что унаследует мой сын.

Тэлманн – слева, Нэвилл – в центре, спиной к нам. В руке у Тэлманна высокая трость с золотым набалдашником.

**Мистер Нэвилл** (нелюбезно). Я предпочитаю, по крайней мере сейчас, рассматривать этот пейзаж как собственность мистера Герберта.

*Гостиная. День.*

Темный интерьер. Справа – мистер Ноиз в белом мантио с широкими рукавами, слева – миссис Герберт, тоже в бе-



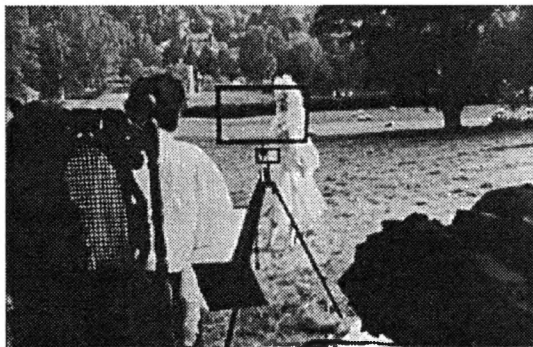
лом, полирует ногти перед белым мраморным каминном с отделкой из темно-зеленого мрамора. В камине горят дрова.

**Миссис Герберт.** Томас, проследите, чтобы Кларисса не заходила в прачечную около полудня...

### *Холм. День.*

Голос миссис Герберт за кадром:

– ...А во второй половине дня зайдите ко мне в кабинет и захватите чернила. Я хочу написать к мистеру Герберту и узнать, какой дорогой он собирается возвращаться.



Нэвилл берет очиненный Филипом карандаш. Филип уходит. Появляется мистер Тэлманн и останавливается справа перед визиром, в который смотрит, нагнувшись и опираясь рукой на подставку с одеждой, Нэвилл. Его парик висит на спинке стула. Нэвилл поднимает голову. Тэлманн оглядывается на него, затем становится прямо перед визирной рамкой.

**Мистер Нэвилл** (выпрямляясь). Вы намереваетесь и дальше стоять здесь, мистер Тэлманн?

Мистер Тэлманн, слегка поворачиваясь к нему, говорит без малейшей иронии:

– Отсюда мне прекрасно все видно, мистер Нэвилл. Благодарю вас. (Снова поворачивается спиной.)

Рука Нэвилла с карандашом смахивает с листа бумаги белые завязки, стягивающие манжету, прежде чем нанести на него две перпендикулярные линии.

Голос мистера Нэвилла за кадром:

– Завтра на вас будет этот же костюм?

Голова мистера Тэлманна замечательно вписывается в кадр визирной рамки.

**Мистер Тэлманн.** А что? Я еще не решил. (Начинает насвистывать.) Все зави-

сит от слуг. Разве это важно? (Рука Нэвилла набрасывает фигуру Тэлманна на рисунок.) Может быть, и да.

### *Первый день с 6 до 8 часов вечера. Шестой рисунок. Нижняя лужайка. День.*

Рисовальные принадлежности, стол, стул, на подносе, который стоит на траве – китайский чайник и чашки; справа, на складном стульчике сидит слуга в белокуром парике и рассматривает уже сделанные рисунки.

Комментарий за кадром:

– Для рисунка номер 6: от шести до восьми часов вечера часть нижнего парка вокруг статуи Гермеса должна быть свободной от всех членов семьи, прислуги, лошадей и других животных.

Нэвилл появляется в кадре, ставит ногу на низкий столик с видом победителя и смотрит в свою папку для рисунков. Тихая музыка. Филип встает, наливает чашку чая и подает ее Нэвиллу. Тот не глядя берет ее, поглощенный рассматриванием пейзажа. Вдали перед домом видны какие-то люди.

**Мистер Нэвилл.** Филип, сходи и попроси этих людей удалиться. Но попроси вежливо и улыбайся. (Филип бросается выполнять приказ.) Не беги!

Пока слуга удаляется, Нэвилл пьет чай.

Дюжина лиц, одетых в белое, – кроме гувернантки и камеристок, одетых в черное с белым, – болтают и смеются перед домом. Справа находятся миссис Герберт и гувернантка с мальчиком, слева, немного дальше, возле обелиска – остальные. Слышен их смех. Филип направляется к этим людям, кланяется...

На фоне голубого неба – лицо Нэвилла в длинном черном парике, с усмешкой на



губах. Он отпивает чай из чашки. Справа виден уголок визирной рамки.

Та же группа незваных гостей. Филип жестами предлагает им удалиться. Часть гостей уходит.

Тихая музыка. Нэвилл продолжает пить чай, заедая его печеньем, но выражение его лица становится серьезным. Положение осложняется.

Филип приближается к дальней группе. Мистер Сеймур смеется и делает жест рукой в направлении Филипа:

– Уходи! – и продолжает смеяться. Слуга что-то объясняет. – Нам уйти? Куда? – обращается к подошедшему слева Тэлманну. – Что? – Тот объясняет ему ситуацию. – Ну, не знаю! О-оо!

Остальные опять возвращаются в кадр. Все объяснилось, и они все вместе отвешивают иронические поклоны и реверансы в сторону Нэвилла, хотя до него очень далеко.

Нэвилл раздраженно выплескивает чай. Затем деланно улыбается и угодливо кланяется, как бы в знак благодарности. Слышен смех.

Освобождая территорию, компания, пересмеиваясь, направляется к дому по маленькому каменному мостику, перекинутому через ров и невидимому для нас за каменными парапетами. Они удаляются вдоль фасада дома, а Филип возвращается к хозяину.

Голос мистера Ноиза за кадром:

– У мистера Лукаса было в жизни две привязанности: сад и дети. Каждый раз, когда его жена ждала ребенка, мистер Лукас сажал фруктовое дерево. Роды у его жены редко оканчивались благополучно, а те дети, коих посылал ей Господь, умирали во младенчестве. Мистер Лукас грозился спилить деревья, но не осуществил свою угрозу...

*Обед первого дня. 20 часов 30 минут. Перед домом. Вечер.*

Сцена снята таким образом, что лишь в самом ее конце понимаешь, что действие происходит не в интерьере. В интимном золотистом свете свечей поблескивает

хрусталь, светится кожа дам, играет белизна париков, скатертей и одежды. Стол богато убран, украшен цветами; изобилие фруктов.

Ноиз и Тэлманн за едой.

Мистер Ноиз продолжает ранее начатый разговор:

– На сегодняшний день в его саду растет одиннадцать деревьев, и он знает их по именам.

Мистер Тэлманн отвечает со своим обычным немецким акцентом:

– Англичане в настоящий момент отличаются особой плодовитостью. Они могут плодить колонии, но не наследников престола<sup>2</sup>.

Нэвилл, как обычно, в отличие от остальных одет в черное. Голова его не покрыта. Он режет на тарелке мясо, ест.

**Мистер Нэвилл.** Все зависит от того, мистер Тэлманн, о каких колониях идет речь: некоторые из старейших английских колоний имеют наследников во множестве.

Камера скользит по лицам присутствующих. Миссис Тэлманн бледна под своим белым макияжем.

**Миссис Тэлманн** (ставя бокал). Ага, мистер Нэвилл, вы хотите сказать, что почувствуете шотландцам?<sup>3</sup>

**Мистер Нэвилл.** Мадам, вы делаете слишком поспешные выводы из простой констатации факта.

**Мистер Тэлманн.** Если лучшие англичане – это иностранцы, что, на мой взгляд, тоже простая констатация факта, тогда и лучшие английские художники – тоже иностранцы. (Нэвилл перестает жевать, застылая с вилкой в руке.) В Англии нет художников, достойных так называться... Вы согласны, мистер Нэвилл? “Английский художник” – невозможное словосочетание.

**Миссис Герберт.** Значит, мистер Герберт поступает разумно, оказывая покровительство мистеру Нэвиллу.

**Мистер Тэлманн.** Мистер Герберт,

---

<sup>2</sup> Вильгельм Оранский умрет в 1702 году, не оставив наследника. Поэтому на трон взойдет Анна Стюарт.

<sup>3</sup> Шотландцы, еще во времена Кромвеля отличавшиеся от английских пресвитериан, остались верны Стюартам, хотя именно переход Якова II в католичество стоил Стюартам трона.

мадам, как нам всем известно, – личность весьма противоречивая.

**Миссис Герберт** (которую этот обмен репликами совершенно не забавляет, бледная под кружевным убором). Настолько противоречивая, что пригласил вас в этот дом, несмотря на то, что он человек простой и прямой.

**Мистер Тэлманн.** Но не ведающий, кого в его отсутствие супруга привечает в доме, мадам.

**Миссис Тэлманн.** Когда батюшка в отъезде, Луи, матушка вольна управлять домом так, как считает нужным. А она сочла нужным пригласить мистера Нэвилла.

**Мистер Нэвилл.** Любезная речь, миссис Тэлманн.

встретил сегодня в парке, вы делали все эти три вещи, сэр. Если и завтра вы намереваетесь быть там, я бы попросил вас одеться и вести себя так же, как сегодня. Однако не в моей власти изобразить на рисунке свист, независимо от того, кто свистит – англичанин или немец, одетый англичанином.

Сзади стоит прислуживающий Тэлманну и Нэвиллу лакей.

**Миссис Тэлманн.** А как же быть с птицами, мистер Нэвилл? Если вы можете не обращать внимания на их пение, то вряд ли вы в состоянии запретить им летать в поле вашего зрения.

**Мистер Нэвилл.** Мадам, двенадцать погожих дней с чистым небом и контраст-



**Мистер Тэлманн.** ...Скрывающая всякого рода неудобства.

**Мистер Нэвилл** (высокомерно). Как прикажете понимать, сэр?

**Мистер Тэлманн** (стуча по столу). Разве после нашей сегодняшней встречи вам не стало ясно, что в своих бесцеремонных распоряжениях вы не только позволяете себе держать членов семьи (кипятясь и брызгая слюной) как скотину, в загоне, но и указываете, разрешается ли нам надеть камзол, иметь при себе трость и свистеть.

**Мистер Нэвилл** (нацепив кусок на вилку и держа его перед собой). Когда я вас

ними тенями – отличная перспектива (держит вилку за оба конца), но отнюдь не гарантированная контрактом, поэтому, естественно, я не хочу тратить время напрасно. Так что, мадам...

Освещенный факелами фасад дома; только теперь становится ясно, что сцена происходит не в интерьере. Несколько редких слуг в темных ливреях сливаются с ночью.

– ...я буду очень признателен, если инструкции, тщательно мною обдуманые, будут выполняться неукоснительно. Я до-

статочно наблюдателен, чтобы заметить даже мелкие изменения ландшафта. Я всегда довожу начатое до конца, чего бы мне это ни стоило, и, как вы, наверное, догадались, такое отношение к делу приносит мне огромное удовлетворение и некоторое удовольствие.

*Второй день контракта с 7 до 9 часов утра. Первый рисунок. За домом. День.*

На ярко освещенном, ненатурально зеленом лугу спокойно пасутся овцы. Веселая музыка.

Два лежащих под деревом барана жуют траву.

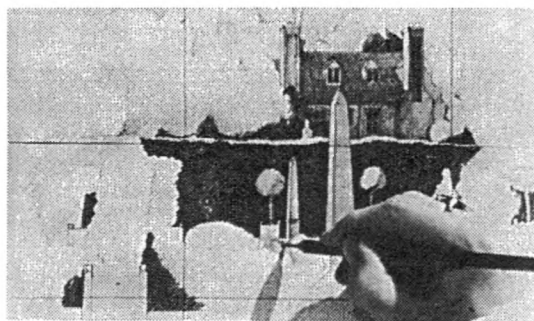
Нэвилл, размахивая широкими белыми рукавами, пытается тросточкой прогнать овец. Он бегает, пугая их.

Мистер и миссис Тэлманн возвращаются домой через парк. Они проходят за рядом подстриженных кустов, приветствуя по дороге встреченных миссис Герберт и мистера Ноиза.

Миссис Герберт провожая Тэлманнов взглядом, говорит рассеянно, вполголоса:

– Томас, вы, случайно, не помните, когда мистер Герберт упаковывал вещи, он положил свои сапоги для верховой езды?

*Второй день с 9 до 11 часов утра. Второй рисунок. Парадный парк. День.*



На рисунке номер 2 – ряд обелисков перед домом. Рисунок быстро продвигается. Рука Нэвилла в огромной белой манжете заштриховывает деталь. Быстрая ритмичная музыка. Вдруг рука застывает.

Нэвилл сидит под деревом перед своим визиром на розовом атласном канapé. Немного сзади стоят Тэлманны, как всегда в белом, и смотрят, как он рисует.

**Мистер Тэлманн.** Мистер Нэвилл, как вам пришло в голову изобразить парк таким безлюдным?

**Мистер Нэвилл** (не глядя на него). Рисунки, мистер Тэлманн, заказаны миссис Герберт. Как вы думаете, ей нравится, когда толпы людей топчут гравий и раскидывают землю, как свора собак в огороде?

Через визирную рамку виден пустынный парк, такой, как на рисунке: подстриженные деревья и обелиски.

Мистер Нэвилл продолжает:

– В парке я привык искать покой и тишину, а шум и суета хороши на карнавале.

**Миссис Тэлманн** (с проникновенным выражением). *Carpet levare...*\* Значит, мистер Нэвилл, по-вашему, веселиться следует лишь во время религиозных обрядов? Кстати, а каким был Гефсиманский сад? <sup>4</sup>

**Мистер Тэлманн.** Весьма запущенный сад, я уверен.

**Мистер Нэвилл.** Конечно, мистер Тэлманн, там, скорее всего, не было геометрически расчерченных дорожек и голландских тюльпанов.

**Мистер Тэлманн.** Что ж, у нас есть и ливанский кедр, и иудино дерево. Может быть, мы могли бы посадить еще и райский ясень.

**Мистер Тэлманн.** Английские парки превращаются в настоящие джунгли. (Нэвилл невозмутимо продолжает рисовать.) Такая экзотика совершенно ни к чему. Если бы Господь намеревался поместить Сад Эдема в Англии, он бы позаботился об этом.

Нэвилл через плечо глядит на стоящих сзади Тэлманнов.

**Мистер Нэвилл.** Сад Эдема, мистер Тэлманн, предполагалось поместить в Ирландии, потому что ведь именно ее Святой Патрик избавил от змей.

**Мистер Тэлманн.** Единственное полезное избавление Ирландии от католи-

\* Буквально значит – “снимать мясо”.

<sup>4</sup> Гефсиманский сад – сад у подножия горы Елеонской, где был схвачен преданный Иудой Христос.

цизма произошло благодаря Вильгельму Оранскому четыре года назад, в день моего рождения<sup>5</sup>.

**Мистер Нэвилл.** С днем рождения, мистер Тэлманн, и если вы еще в том юном возрасте, когда не поздно получать подарки, мы с садовником можем поймать змею для вашей оранжереи<sup>6</sup>.

Снова звучит музыка. Тэлманн какое-то время пребывает в замешательстве.

**Мистер Тэлманн.** Что?

**Миссис Тэлманн** (беря мужа под руку, чтобы увести от Нэвилла). До свидания, мистер Нэвилл.

---

<sup>5</sup> Тэлманн имеет в виду 1 июля 1690 года – в этот день бежавший в Ирландию Яков II потерпел поражение в битве на реке Боин от Вильгельма Оранского, несмотря на поддержку семитысячного отряда французских солдат, посланных Людовиком XIV. В результате этого поражения более 400 тысяч гектаров земли было конфисковано у католиков в пользу протестантов. Более 10 тысяч ирландцев, воевавших в на стороне Якова II, были вынуждены бежать на континент и там бороться против англичан. Этот исход известен как “Отлет диких гусей” (“Flight of the Wild Geese”). Вот что так радовало Тэлманна.

<sup>6</sup> Намек на змей, которых святой Патрик изгнал из Ирландии, как святой Павел с Мальты, когда встретил на своем пути одно из этих пресмыкающихся.

**Мистер Нэвилл** (прощально вскидывая руку). До свидания, мадам.

Музыка звучит громче. Миссис Тэлманн уводит мужа.

Музыкальное крещендо. Рука с карандашом опускается на незаконченный рисунок. Конец музыки.

*Второй день с 11 до 13 часов. Третий рисунок. Прачечная. День.*

Банка с кистью и замотанной вокруг проволокой. Тень от визирной рамки. Другая музыка.

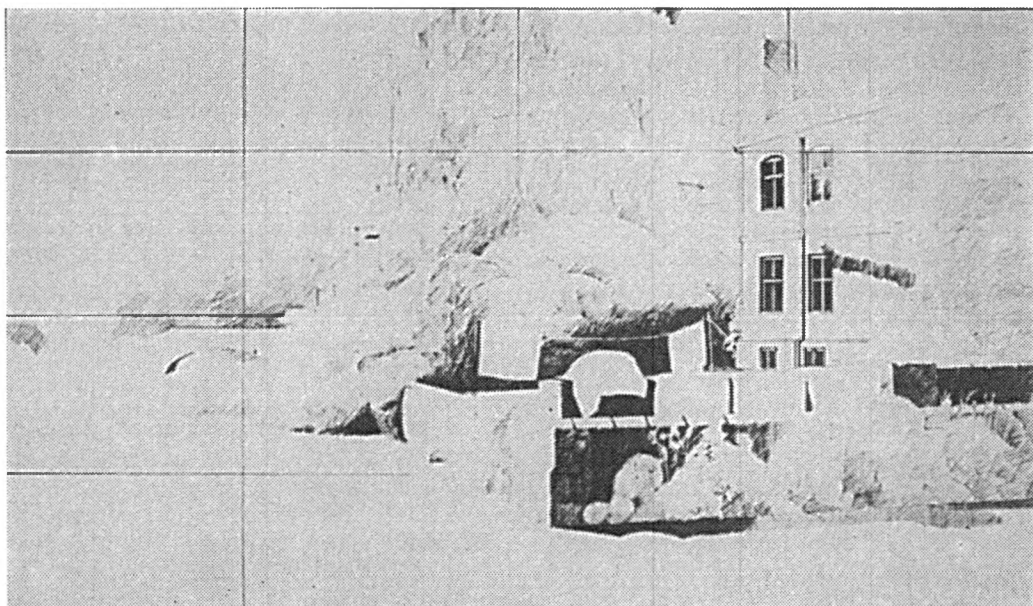
**Мистер Нэвилл** (с упреком, за кадром). Филип!

Нэвилл сидит в тени деревьев за визирной рамкой. Филип развлекается, вертя проволоку вокруг стоящей на земле банки с карандашами. Вдали – рвы, окаймляющие дорогу парапеты. Справа – деревья тенистой аллеи. Филип бросает свое развлечение и опирается о парапет.

Нэвилл продолжает рисовать, поглядывая в визир.

Через сетку визирной рамки видны развешанные на изгороди простыни. Они сушатся на солнце.

Тот же вид, но... уже на рисунке! Рисунок сильно продвинулся. Продолжает звучать музыка.



*Второй день с 4 до 6 часов полудни. Пятый рисунок. Холм. День.*

Вдали под холмом виднеется дом. Чета Тэлманнов сидит за накрытым низким столиком под бумажным японским зонтиком.



Они смотрят, как Нэвилл, в одной рубашке, взбирается на холм. За ними – служанка, она держит кокер-спаниеля черно-белой масти, точь-в-точь как ее собственное платье. Филип стоит рядом с принадлежностями своего хозяина.

**Мистер Нэвилл** (подойдя на расстояние голоса и уперев руки в бока). Я вижу, все в сборе, мадам. И что же мы сейчас узрим?

**Миссис Тэлманн** (успокаивающим тоном). Вы не должны удивляться, мистер Нэвилл. Мы же здесь по вашей просьбе.

**Мистер Нэвилл**. Но мне не нужны ни зрители, ни завтрак на траве. О, быть может, мы должны поаплодировать этому зрелищу. (Поднимает руки над головой и делает вид, что аплодирует.)

**Мистер Тэлманн**. Нашему бумагомастителю не угодишь. Он вечно недоволен, как...

Собака скулит, ей скучно.

**Миссис Тэлманн**. Вы сказали, что мистер Тэлманн... (Нэвилл карабкается к своему месту. Видны его ноги в белых чулках.) ...должен явиться сюда одетым, как вы просили, и иметь при себе трость с золотым набалдашником. (Нэвилл садится и готовится к работе. Он берет свою папку.) Мы поймали вас на слове. Было еще какое-то указание, но, к счастью, я его забыла.

**Мистер Тэлманн**. Свист, Сара.

**Миссис Тэлманн**. Да уж, большое счастье.

**Мистер Тэлманн**. Я сегодня не в лучшем настроении, мистер Нэвилл, из-за того, что мне пришлось надеть вчерашний костюм... В вашем распоряжении всего двадцать минут – потом я поеду кататься верхом. (Он встает, берет трость и шляпу и выходит из кадра.)

**Мистер Нэвилл** (голос за кадром). Тогда, сэр, пожалуйста, займите свое место.

**Миссис Тэлманн**. Пойду прогуляюсь. Пойдем, Мария. Нам надо дать собаке побегать.

Они встают. Служанка берет собаку на руки. Музыка. Тэлманн занимает

свое место перед Нэвиллом.

Обе женщины удаляются.

**Мистер Нэвилл** (голос за кадром). Прошу вас, сэр, немного левее. И надуйте щеки.

Нэвилл рисует стоящего к нему спиной Тэлманна на фоне пейзажа.

**Мистер Тэлманн**. Это еще почему?

**Мистер Нэвилл**. Потому что в прошлый раз, сэр, вы свистели. Мелодию, которую в вашем исполнении не узнал бы даже композитор.

Тэлманн оборачивается. Глядя на ленты, украшающие полы его камзола, можно подумать, что он одет в платье с кринолином. Во всяком случае, он, как всегда, в белом.

С последним аккордом музыки мы видим сильно продвинувшийся рисунок с фигурой мистера Тэлманна.

**Мистер Нэвилл** (голос за кадром). Смотрите, мадам, у этого человека нет головы. Что вполне типично для немца!

*Комната миссис Герберт. День.*

Это вторая "интимная встреча" Нэвилла и миссис Герберт.

Миссис Герберт лежит на животе на постели. Ее расстегнутое платье обнажает спину. Растрепанные волосы свисают на плечи. На окне клетка с птичкой. Нэвилл в

одной рубашке и черном парике показывает миссис Герберт рисунки, разложенные за ней на кровати.

**Миссис Герберт** (грустно). Мистер Нэвилл, вы говорите о моем зяте.

Не желая больше смотреть на рисунок, она отворачивается. По щекам ее катятся слезы.

**Мистер Нэвилл** (оценивающе вертит рисунок). Ради всего святого, мадам, он будет отцом вашего внука – когда-нибудь. Может быть, лучше поговорим об этом?

**Миссис Герберт** (обхватив голову ладонями; грустно). Да вы просто рисуете карикатуры, издеваясь надо мной и моими деньгами.

**Мистер Нэвилл** (отступая к окну и возвращаясь с одной туфлей в руке). Полагаясь на свою память, а также при помощи трех портретов, висящих в доме, и ваших знаний я намерен изобразить на этих плечах... (Рисунок с фигурой Тэлманна. Кончиком туфли Нэвилл тычет в его голову. Тень от туфли мечется по рисунку.) ...голову мистера Герберта, что будет более уместно, ибо он – единственный настоящий хозяин имения. (Убирает туфлю от рисун-

ка и так, с туфлей в руке, поворачивается к окну.)

**Миссис Герберт**. Если только он вернется.

**Мистер Нэвилл**. Мадам, вы говорите странные вещи.

**Миссис Герберт**. Если он вернется домой ко мне.

*Второй день с 6 до 8 часов вечера. Шестой рисунок. Нижняя лужайка. День.*

Музыка за кадром.

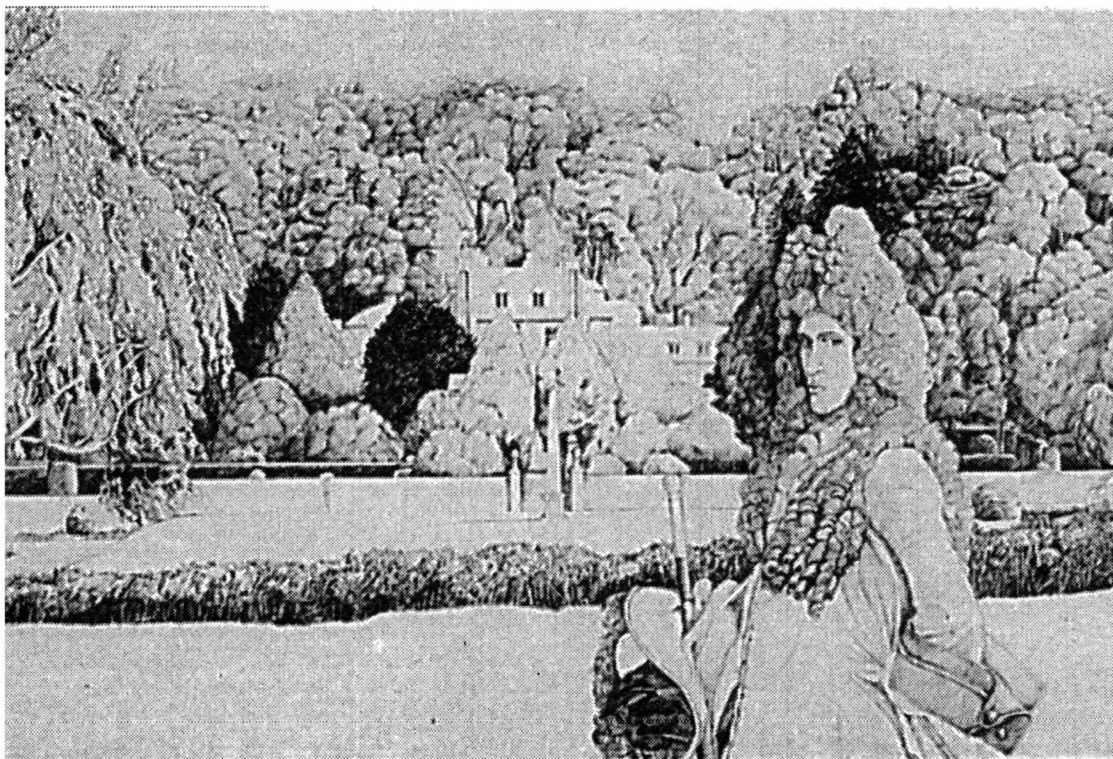
На первом плане – визирная рамка, на втором – статуя Гермеса. Слева, на нижней ветке дерева белеет зацепившаяся за ветки рубашка. В глубине – фасад дома.

В саду, под голубым зонтиком – стол с рисовальными принадлежностями; в глубине – подстриженные кусты.

Филип сидит на складном стульчике. Увидев приближающегося от дома Нэвилла, он встает.

Вдали, за деревьями мелькает служанка.

Нэвилл откидывает назад тяжелые ло-



коны своего черного парика и садится под зонтик. Слуга подает ему папку для рисунков. Слышно пение птички.

Рисунок, на котором можно узнать деревья и статую Гермеса перед домом.

Нижняя лужайка со статуей Гермеса и деревьями.

Деталь рисунка, представляющего лужайку: на нижних ветвях дерева, конечно же, ничего нет!

Нэвилл раздраженно пытается сорвать тонкую рубашку с ветки дерева, но она зацепилась и не поддается. Он делает отчаянный рывок и смотрит прямо в камеру, как бы призывая в свидетели того, как нарушают его инструкции. Музыка смолкает. В порыве вдохновения Нэвилл решает снова повесить рубашку туда, где она была. Затем бессильным жестом разводит руками и возвращается к визиту, пнув ногой по дороге какой-то камешек.

### *После обеда второго дня. Ночь.*

Миссис Герберт за столиком, покрытым белой скатертью. Напротив нее миссис Тэлманн кладет руку на руку беззвучно плачущей матери. Мягкий свет свечей.

Миссис Тэлманн шепчет:

– Матушка...

Миссис Герберт отнимает вторую руку от лица и кладет ее на руку дочери, говорит с рыданием в голосе:

– Я горюю оттого, что мистера Герберта нет дома.

Миссис Тэлманн, помолчав, серьезно:

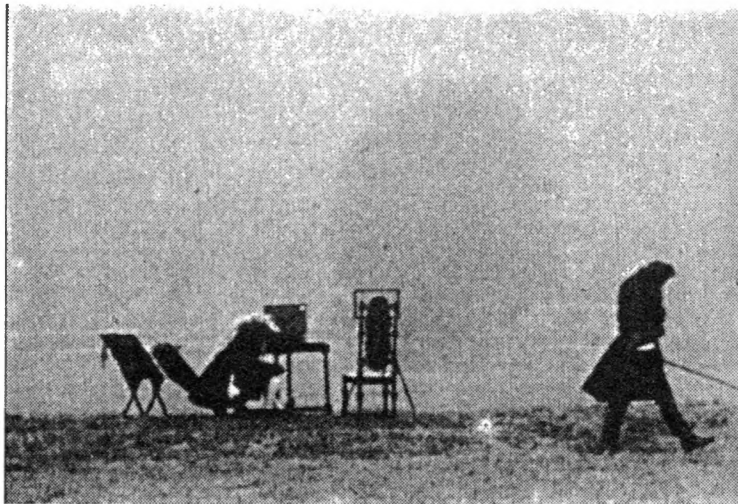
– Да, матушка.

Она снимает руку с руки плачущей матери.

### *Третий день контракта с 7 до 9 часов утра. Первый рисунок. За домом. День.*

В густом розовом тумане, едва поз-

воляющем различить деревья, выступают расставленные на траве принадлежности художника. Громкая музыка. Филип спит, уронив голову в белокуром парике на скрещенные на столе руки. Появляется Нэвилл, задумчивый и недовольный, поскольку туман мешает ему работать.



Лучи солнца просачиваются сквозь ветви больших деревьев, с трудом пробивая окутывающий подлесок туман.

Нэвилл беспокойно шагает, раздраженный задержкой. Филип по-прежнему спит.

Задний фасад дома. В поднимающемся розовом тумане можно различить высокую лестницу, приставленную к стене. На газоне стоит корзина.

Позднее.

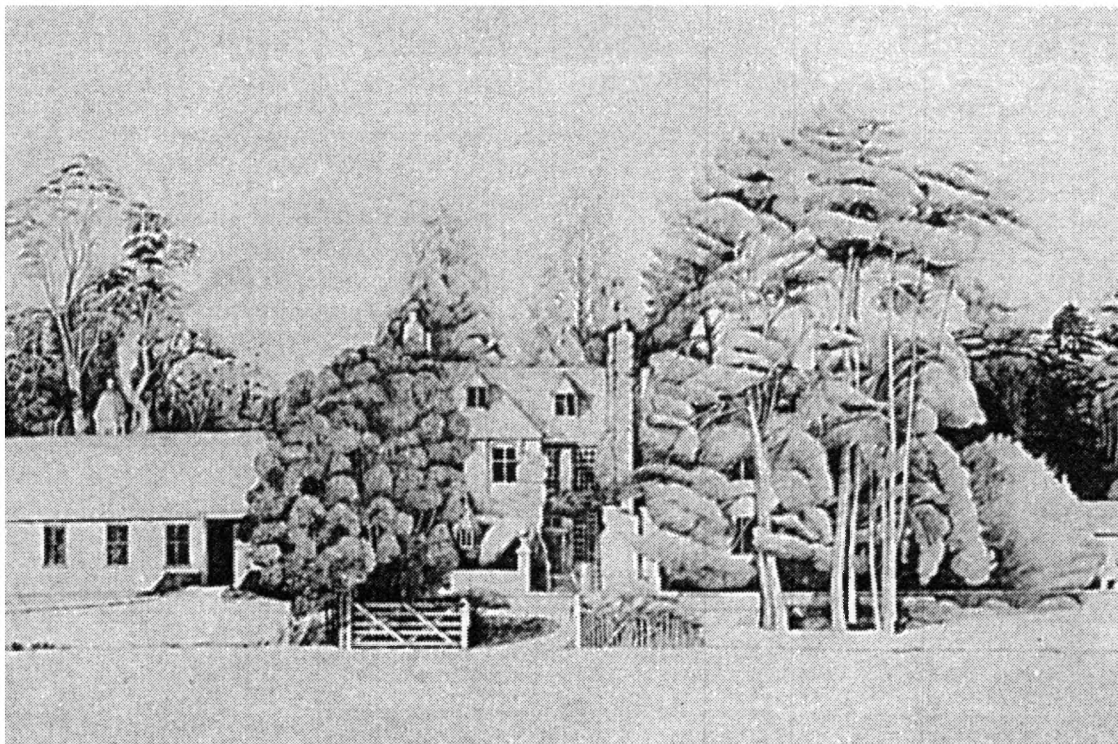
Туман рассеялся. Сидящий рядом со своими принадлежностями Нэвилл открывает папку для рисунков. Сзади него стоит Филип. Перед ними открывается задний фасад дома.

Рука Нэвилла в черной перчатке вырисовывает деталь рисунка.

Нэвилл наклоняется вперед и принимает к визиту.

Фасад дома: лестница стоит под окном миссис Тэлманн! Громадная лестница...





Деталь рисунка: под окном нет никакой лестницы...

...тогда как в натуре она есть!

Нэвилл задумчиво выпрямляется, опираясь обеими руками на папку, стоящую у него на коленях, затем продолжает рисовать.

Он добавляет на рисунке приставленную лестницу. Музыка смолкает, слышно пение птиц.

*Третий день с 9 до 11 часов утра.  
Второй рисунок. Парадный парк. День.*

Затылок Нэвилла в черном парике. Он сидит на розовом канapé под зонтиком. Перед ним парадный парк с обелисками и стриженными деревьями. Беспкойная, какая-то вибрирующая музыка. Нэвилл наклоняется к визиру, затем выпрямляется. К нему приближается женщина в белом. Она останавливается прямо перед визирной рамкой. Он продолжает рисовать. Это миссис Герберт.

**Миссис Герберт** (нервно теребя платок). Контракт расторгнут, мистер Нэвилл. Я не могу больше с вами встречаться.

**Мистер Нэвилл** (поднимаясь и уступая ей свое место; очень громко). Миссис Герберт, сядьте сюда, спрячьте голову в тень. (Она садится на его место, он садится рядом и берет свою папку.) Вам не кажется, что садовники превзошли самих себя? (Принимается рисовать.)

**Миссис Герберт** (грустным тоном; натянуто). Вам не следует продолжать рисовать, мистер Нэвилл. Я больше не в состоянии выполнять условия контракта. (Она сидит перед визиром в тени, он рядом, залитый солнцем.) Вы можете рассчитывать на гонорар и... гостеприимство.

**Мистер Нэвилл**. Я как раз собирался сказать, мадам, что, несмотря на удовольствие продолжать работу в таких замечательных условиях (рукой обводит ландшафт), самое большое счастье доставляют мне минуты, когда мы бываем вместе... (Она подносит платок к щекам и незаметно промакивает их, как если бы она плакала – но мы не видим ее слез, – затем от-

водит взгляд.) ...и мне было бы очень жаль лишиться их. Кроме того, вряд ли стоит напоминать, что этот контракт был заключен двумя людьми, и для того, чтобы расторгнуть его, требуется согласие обеих сторон. (Миссис Герберт подавляет горестный вздох.) А теперь, мадам, поскольку так я не вижу того, что должен видеть, прошу вас поискать другое место для отдыха – по крайней мере, до четырех часов, когда должно состояться наше следующее свидание, как было условлено.

Рисунок парадного парка. Музыка кончается органным аккордом.

нок, что гуляет по парку с таким серьезным видом?

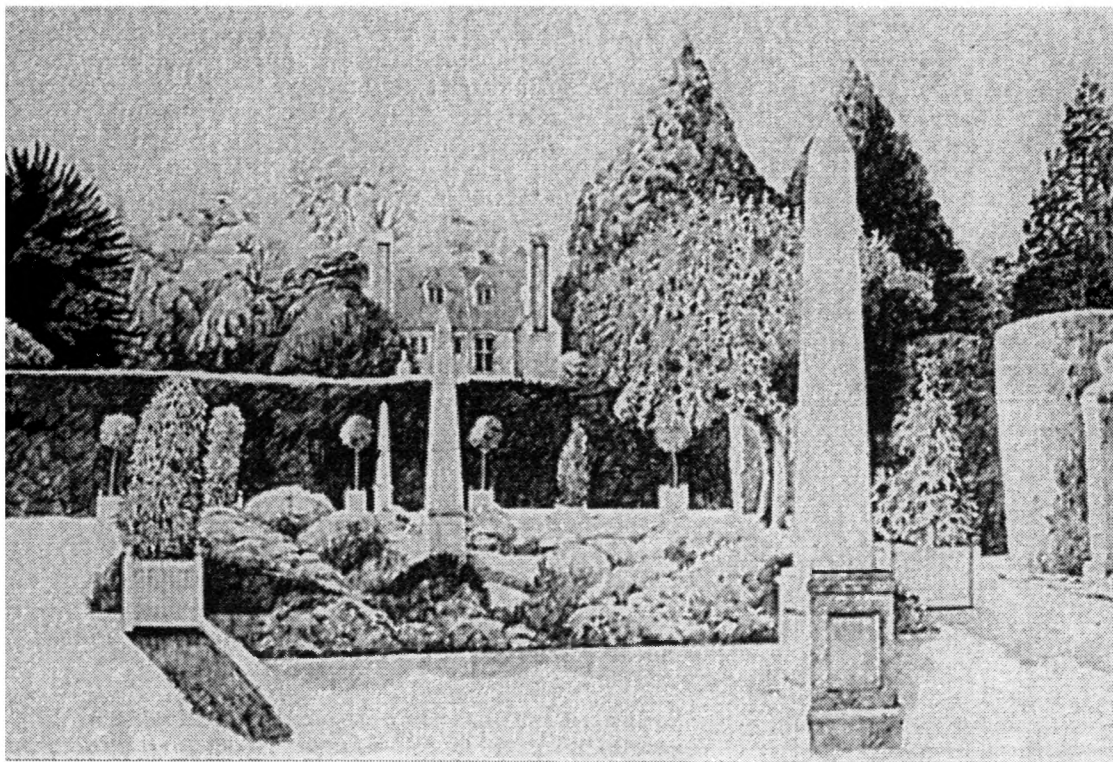
**Миссис Тэлманн.** Это племянник моего мужа, мистер Нэвилл.

**Мистер Нэвилл.** Прислуга обращается с ним, как с маленьким королем. Кто его родители, мадам?

**Миссис Тэлманн.** Его отец погиб при Аусбергенфельде, а мать перешла в католичество. Вот муж и забрал его в Англию.

**Мистер Нэвилл.** Чтобы вырастить из него маленького протестанта?

**Миссис Тэлманн** (играя кружевами манжет). Он же сирота, мистер Нэвилл. Должен кто-то заботиться о нем.



### *Парк. 11 часов утра.*

Четверо слуг окружают сидящего на качелях мальчика. Стоя с обеих сторон, двое слуг раскачивают качели.

Появляются Нэвилл и миссис Тэлманн. Он, как всегда, в черном костюме, черном парике и с тростью в руке, она – в белом платье, белой шляпе с белыми перьями. Они останавливаются друг против друга.

**Мистер Нэвилл** (глядя через плечо в сторону мальчика). Мадам, кто этот ребе-

**Мистер Нэвилл.** Сирота, мадам, из-за того, что его мать стала католичкой?

Нэвилл уходит. Миссис Тэлманн в смущении разводит руками.

### *Третий день с 11 до 13 часов. Третий рисунок. Прачечная. День.*

Слева, на изгородях, сушится белье, справа – тенистая аллея. Музыка. Филип готовится перекусить.

Стол Нэвилла повернут к сохнувшим простыням... среди которых, если приглядеться, можно заметить светлый редингот.

Колокол отбивает одиннадцать часов. Нэвилл появляется на аллее, ведущей из парадного парка, смотрит на сохнувшие простыни, садится спиной к нам и берет с парашюта папку с рисунками, чтобы проверить...

Рисунок с простынями, сильно продвинувшийся с прошлого раза.

Простыни, растянутые на живых изгородях из стриженного кустарника. Между двумя простынями, там, где на рисунке была третья, теперь находится редингот бежевого сукна.

Рисунок с простынями, но... без редингота.

**Мистер Нэвилл** (голос за кадром). Филип, пойди узнай, в чем дело.

Филип встает и направляется по аллее туда, откуда пришел Нэвилл.

Рисунок. Вполне очевидно, что еще вчера на том месте, где сегодня висит бежевый редингот, была простыня.

Через решетку визирной рамки видны простыни и кусочек дома. Вдали появляется прачка. Она идет от дома в сопровождении Филипа.

**Прачка** (громко, чтобы быть услышанной издали). Мистер Нэвилл, сэр, простите меня за эту куртку. Это не я повесила ее сюда.

Вид на рвы: "трава", виднеющаяся у подножья стены, над которой находится Нэвилл, вовсе не газон, а ряска!

**Мистер Нэвилл** (стоя над парашютом, положив папку с рисунками рядом, громким голосом). Не вы, мадам, тогда кто же?

**Прачка.** Я выясню это, сэр.

**Мистер Нэвилл** (ставя ногу на парашют, опираясь локтем на колено и подбодродком в ладонь). Нет, не надо. Оставьте ее там. Кое-кто становится небрежен. Парк превращается в гардеробную. Интересно, что они хранят у себя в шкафах – наверное, растения.

## *Амбар и кладовая. День. Четыре часа пополудни.*

Третье "свидание" Нэвилла и миссис Герберт.

Сваленные в полутьме друг на друга мешки с зерном, некоторые из них открыты или вспороты. Справа видна часть лестницы. Звук шагов. Входят миссис Герберт в белом платье и шляпе и Нэвилл в рубашке и неизменном парике. Около лестницы он привлекает ее к себе.

**Мистер Нэвилл.** Кто унаследует поместье вашего супруга после вас?

**Миссис Герберт** (принужденным тоном). Будущий внук, мистер Нэвилл, только не после меня. Мистер Герберт считает, что у женщин не должно быть собственности.

Она поднимается на несколько переключков лестницы и поворачивается к нему. Он задирает ей платье и нижние юбки.

**Мистер Нэвилл.** А ваша дочь и ее супруг?

**Миссис Герберт.** Ну, они будут опекунами, пока внук не вырастет. Вы что, собираетесь углубиться в правовые вопросы, мистер Нэвилл?

**Мистер Нэвилл** (расстегивая штаны). Прошу простить мне мое любопытство, мадам, и раздвинуть колени.

**Миссис Герберт.** Обладание моей персонею, сэр, не дает вам права быть посвященным в условия завещания моего мужа.

**Мистер Нэвилл.** Ваша преданность похвальна, мадам. Но что же будет с именем, если у вашей дочери не будет наследника?

**Миссис Герберт.** Не хочу даже думать об этом. Поместье принадлежало моему отцу – мистер Герберт получил его женившись на мне.

Нэвилл вскакивает на лестницу, опрокидывает миссис Герберт на мешки и на солому и овладевает ею. Она испускает громкие крики.

## *Парк. День.*

Живая статуя, обнаженная, целиком покрытая зеленоватой бронзовой краской, стоит, прислонившись спиной к стене, заросшей зеленоватым мхом, и почти пол-



ностью с нею сливаясь. Слышны крики миссис Герберт.

Появляются одетые в белое, с огромными париками на голове, мистер Тэлманн и мальчик.

**Мистер Тэлманн** (менторским, поучающим тоном, что не делает его немецкий акцент менее смешным). Я настоятельно требую, Аугустус, чтобы вы, будучи моим родственником, вели себя наилучшим образом и не якшались с кем попало...

Они проходят мимо живой статуи, которую Тэлманн даже не замечает. Ребенок оборачивается, чтобы взглянуть на нее. Тэлманн со шляпой в руке и тростью с золотым набалдашником поворачивается направо, продолжая свою проповедь. За его спиной ребенок неподвижно глядит на "статуу".

Мистер Тэлманн продолжает наставления:

– А бегать за овцами – недостойное занятие, более подабающее пастухам. Если мистеру Нэвиллу вздумалось гонять овец – ему не следует подражать. Рисование – малопочтенное ремесло, а в Англии его вообще ни во что не ставят. Если вам так хочется марать бумагу, я бы посоветовал

посвятить свое время занятиям математикой.

Живая статуя, гримасничая, приставляет большие пальцы рук к вискам и шевелит остальными пальцами за спиной мистера Тэлманна и в его адрес. Тэлманн сворачивает направо. Кукует кукушка.

**Мистер Тэлманн.** Я найду для вас учителя, и, кто знает, быть может, когда-нибудь... (Он удаляется.) ...Аугустус, фамилия Тэлманн будет значиться в списках Королевского научного общества.

Статуя улыбается мальчику и принимает прежнюю позу – спиной к стене, расставив ноги. Тэлманн издали поворачивается к мальчику:

– Аугустус! – ребенок с сожалением отворачивается от "статуи" и медленно нагоняет Тэлманна; они неспешно удаляются, оба в одинаковых шишковатых париках.

**Мистер Тэлманн** (уходя). Конечно, ваш наставник должен непременно быть немцем. Английский образ жизни и так оказывает слишком большое влияние на вас.

### *III Уалетная комната День.*

В интимном свете свечей миссис Герберт в прозрачном белом дезабилье, с

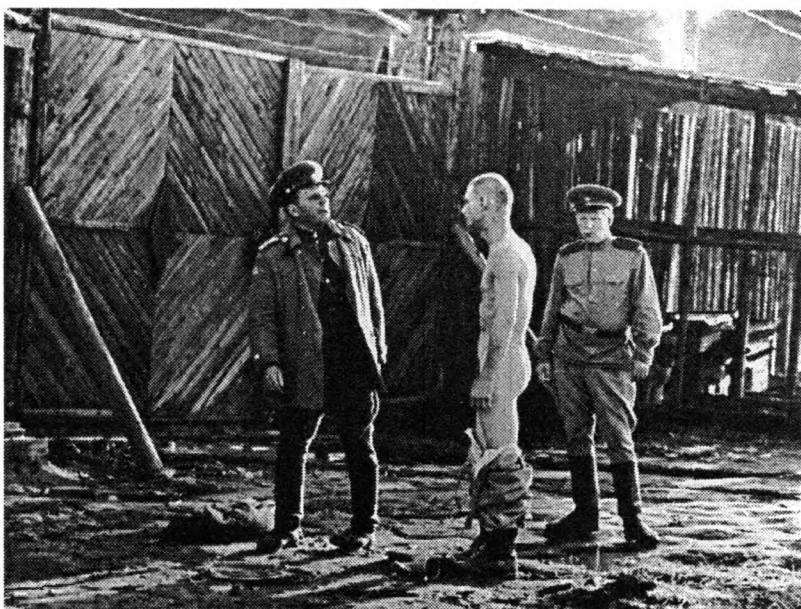
присутствием женщин – они пришли с нашим этапом и теперь стояли отдельной кучкой, дожидаясь своей очереди. Торчать голышом на холодном ветру пришлось недолго: больше ничего запретного при мне не было.

В конце концов нас запустили в зону. Сводили в баню и определили на временное жительство в пересыльный барак. До отбоя у нас было время оглядеться.

Внешним видом

5-й сильно отличался от каргопольских лагпунктов. Пожалуй, в лучшую сторону: бараки добротной постройки, разумная планировка, чистота. Но было в этой упорядоченности что-то неприятное – например, фальшивые клумбы, на которых вместо цветов красовались аккуратно выложенные шлаком красно-бурые узоры. Мне вспомнилась привычная, почти уютная неприбранность нашего 15-го.

Но вообще-то, сейчас было не до эстетики. Местные старожилы успели рассказать: это специальный лагерь для пятидесяти восьмой, охранять нас будут не сине-, а краснопогонники – внутренние войска МВД. При смене караула здешние “попки” – часовые на вышках – рапортуют так: “Пост по охране врагов народа, изменников Родины сдал”, “Пост по охране врагов народа, изменников Родины принял!” (Сам ни разу не слышал; за что купил, за то и продаю.) Наши формуляры помечены буквой “О” – “опасный”, а на некоторых “ОО” – “особо опасный”. (Опять-таки – своими глазами не видел.) Блатных очень мало: только те, у кого 58. 14 или восьмой пункт, террор – за убийство милиционера или еще какого-нибудь советского начальника. Здесь зекам сразу дают понять: если что случится, например, война с Америкой, вас



Это из фильма “Затерянный в Сибири”. Но точно так же “шмонали” и меня, принимая в Минлаг. Фото В.Кречета.

всех постреляют и покидают в шахты!..

Эти малоприятные новости не помешали нам хорошо выспаться в первую ночь после этапа. Утром повели на завтрак; кормежка была не хуже и не лучше, чем везде.

А после завтрака к нам в барак явился улыбчивый молодой человек в очках. Спросил: нет ли у кого шерсти на продажу? Старых свитеров, шарфов, носков? Можно грязные, рваные – это не играет роли. Платить будут хлебом.

Оказалось, шерсть требовалась для изготовления ковров, а молодой человек был как бы агентом по снабжению. Возглавлял же ковровую мастерскую венгерский еврей Шварц, это он подал идею здешнему начальству. Красители он получал в посылках, а работницы – к слову сказать, самые красивые девушки на ОЛПе – стирали добытое очкастым снабженцем рвань, распускали и на простеньких станках ткали ковры и коврики. Коврики – маленьким начальникам, ковры – большим.

Шерсти у меня не было. Но расспросив о моем деле и услышав, что я учился во ВГИКе, очкастый сказал:

– А вы знаете, что здесь Каплер?

Откуда мне было знать? Я и Каплера не знал – лично. Т. е. мы, конечно, встречали

его в гиковских коридорах – красивого, победительного, всегда оживленного. А когда были с институтом в эвакуации, узнали, что Каплер арестован. Дальше – тишина.

Скупщик шерсти представился: Виктор Луи. Рассказал, что он тоже москвич, работал в посольстве – на чем и погорел. И повел меня к Каплеру: тот заведовал посылочной.

Тут я должен извиниться: мне придется повторяться. О своей встрече с Алексеем Яковлевичем Каплером я довольно подробно уже писал. (См.: "Амаркорд-88", "Киносценарии" N2, 1988.) Но, в конце концов, не каждый же обязан читать всё, что я напишу. А кто читал – не обязан помнить. И опять же: если человек одними и теми словами много раз рассказывает какую-то историю – значит, он не врет... Итак, мы с Луи пришли в посылочную.

– Дядя Люся! – сказал Луи. – Этот мальчик из ВГИКа.

Каплер приветливо улыбнулся:

– Из ВГИКа? А Юлика Дунского вы знаете?

– ?!

– Тогда я знаю, кто вы. Вы Валерий Фрид?

Алексей Яковлевич тут же сообщил, что Юлик сейчас на третьем ОЛПе, что здесь есть офицер по фамилии Шапиро, который выдает себя за татарина; к Каплеру он относится хорошо, и через него, вероятно, можно будет устроить так, чтоб и я попал на третий.

– А пока что, Валерик, – и Каплер улыбнулся еще шире, – если вы не хотите иметь крупных неприятностей, будьте очень осторожны с этим человеком.

– Дядя Люся! – обиделся Луи, а Каплер, всё с той же улыбкой, продолжал:

– Вы думаете, я шучу? Совершенно серьезно: это очень опасный человек.

Опасный человек, оказывается, кроме обязанностей снабженца исполнял и другие: был известным всему лагерю стукачом.

Мое общение с ним кончилось на том визите к Каплеру. Но вернувшись через семь лет в Москву, я услышал, что есть такой журналист, корреспондент двух лондонских газет Виктор Луи; он женат на англичанке, живет богато, в загородном доме

– кто называл этот дом виллой, кто помещать. Репутация у него неважная.

Потом мы с Ю. Дунским по сценарным делам поехали в Югославию, и там на глаза нам попала заметка в какой-то лондонской газете. Это было сообщение из Тель-Авива о том, что туда приехал некто Виктор Луи, человек, которого считают тайным эмиссаром Москвы; это он продал на Запад рукопись книги Светланы Аллилуевой. А не так давно он побывал с таинственной миссией на Тайване, с которым у русских нет дипломатических отношений – как и с Израилем. На вопрос, зачем он приехал в Тель-Авив, Луи отвечал, что хочет проконсультироваться по поводу своих почек (или печени, не помню) с доктором, который лечил его в Москве. Пикантность ситуации, по словам автора заметки, заключалась в том, что бывший московский врач стал чуть ли не министром иностранных дел Израиля...

Спустя еще сколько-то времени мой каргопольский друг Леша Кадыков сказал мне:

– Валерий Семёныч, а я у Луя был, на фазенде (разговор происходил во времена незабвенной "Рабыни Изауры"). У него там штук пять машин – "бентли", БМВ, "мерседес-340", на котором фельдмаршал фон Манштейн ездил...

Лешка, классный автомеханик, вернул к жизни одну из них, совсем безнадёжную – и, к его удовольствию, Луи, как он его величал, расплатился долларами. Кстати, где-то я читал, что настоящее имя и фамилия Виктора Луи – Виталий Луй... Кадыков бывал на "фазенде" еще много раз, курируя луёвский автопарк, и ничего плохого о владельце не говорил.

А недавно Луи умер. Вот передо мной отрывок из американского некролога: "...shadowy Russian journalist, who served as a conduit for the Communist Party and KGB to the west..."

"Why do you people always call me a colonel in KGB?" – he once asked British writer Ronald Payne.

"Goodness, have you been promoted to general at last, Victor?" – replied Payne".

(TIME, Aug. 3, 92)

("...мутноватый русский журналист, служивший посредником в сношениях КПСС и КГБ с Западом..."

волосами, забранными под белое полотенце, сидит на стуле. Ее одяние подтянуто выше колен. Перед ней сидит служанка и обмывает ей ноги – икры и бедра – смоченным в тазике полотенцем. Миссис Герберт шмыгает носом. Служанка ополаскивает полотенце. Чтобы облегчить ей задачу, миссис Герберт еще выше подбирает полы своего дезабилье, затем ласкает ей щечку кончиком ноги, потом опускает ногу обратно в таз.

### *Обед третьего дня. Вечер.*

Как и прежде, стол накрыт перед домом, но теперь за ним сидит с дюжину гостей. Одни сидят лицом, другие спиной к нам. Мягкий, золотистый свет факелов и свечей выгодно оттеняет снежную белизну париков, скатертей и одежд и бросает медные отблески на кожу. Слуга в темной ливрее подает блюдо.

**Мистер Тэлманн.** Мистер Нэвилл – рисовальщик, гостящий у нас. Он должен сделать пару рисунков поместья мистера Герберта.

Погруженный во тьму уголок парка: в черноте почти на четвереньках пробирается голый человек... Он возится возле обелиска.

**Мистер Хэммонд** (голос за кадром). Я слышан о мастерстве мистера Нэвилла. Я даже слышал больше. Говорят, вы – необыкновенный человек.

Из-за чьей-то головы видно лицо мистера Тэлманна.

**Мистер Тэлманн.** Мистер Нэвилл распоряжается здесь, как офицер на постое во вражеской деревне. По его приказу мы появляемся и исчезаем, надеваем треуголки, едим на открытом воздухе и представляем свою мебель для детального осмотра.

**Миссис Герберт** (снимая кожуру с фрукта). И все же, Луи...

Голый человек во мраке – это живая «статуя». Он снимает с пьедестала обелиск, шатаясь под его тяжестью.

Миссис Герберт продолжает:

– ...вы, как я слышала, совсем не прочь пожертвовать прогулкой верхом на новой

лошади и стоять по стойке смирно под палящим солнцем, как часовой.

Слева – миссис Тэлманн, справа – Нэвилл в черном парике. Камера скользит по затылкам гостей в париках, похожих на овечьи шкуры. На столе цветы.

**Мистер Хэммонд.** Какую власть вы, оказывается, имеете, мистер Нэвилл. Похоже, вам бы скорее пристально быть военным, а не человеком, рисующим картинки. (Смех.) Миссис Герберт, сколько же вы, должно быть, заплатили...

Согнувшись вдвое, приближается живая статуя, тускло отблескивая в темноте кожей. Она берет горящий у подножия обелиска факел и взбирается на постамент.

**Мистер Хэммонд** (продолжает говорить за кадром). ...чтобы залучить к себе этого генерала, у которого все ходят по струнке.

**Мистер Нэвилл** (голос за кадром). Господа, миссис Герберт платит не больше, чем может себе позволить, и благодаря ее щедрости я прекрасно провожу время в ее владениях...

Нэвилл меж двумя париками; не переставая есть:

– ...наслаждаясь необыкновенной красотой ее парка...

Вид стола с гостями перед домом.

– ...в котором, господа, многое достойно удивления и...

Живая статуя стоит на постаменте, держа горящий факел в одной руке и подняв другую над головой.

– ...рукоплесканий.

Он аплодирует, а «статуя» мочится на землю под аплодисменты присутствующих, приветствующих последние слова Нэвилла.

### *Четвертый день контракта. 7 часов утра. Первый рисунок. День.*

Музыка. Визир и стул с резной спинкой стоят под зонтиком перед домом. В визирную рамку видно приближающееся стадо овец.

### *Четвертый день. 9 часов утра. Второй рисунок. Парадный парк. День.*

Под деревом стоит розовое канапе. В глубине – тисовые кусты, подстриженные в форме бочонков; появляется Филип, тол-

кающий тележку, за ним Нэвилл в рубашке и черном парике. Справа садовник катит другую тележку. Нэвилл убирает с канапе нападавшие за ночь яблоки, собирается съесть, как тут...

Фрагмент рисунка номер 2 с апельсиновыми деревьями в кадках и головой на постаменте.

Вдали проходит садовник.

Заметив в пейзаже какое-то изменение, Нэвилл вскакивает, бросает одно яблоко об землю, а другое в голову на постаменте. Яблоко разлетается. Нэвилл садится обратно и щелкает пальцами, привлекая внимание Филипа:

– Папку для рисования!

Филип, который чем-то занимался на уголке канапе, выполняет приказ. Конец музыки.

Рисунок парадного парка. Он почти закончен. Слышно пение птиц.

*Четвертый день с 11 до 13 часов дня. Третий рисунок. Прачечная. День.*

Нэвилл сидит под японским зонтиком перед столиком и визиром. Он ест малину из серебряной мисочки. В глубине садов-

ники убирают ряску с поверхности воды во рвах.

На рисунке прачечной лежит черная перчатка и стоит банка с растушевками и кистями. Справа виден кусочек визирной рамки. Нэвилл спокойно поглощает малину, забавляясь разворачивающейся сценой. Он посмеивается.

Рисунок прачечной: на нем черная перчатка и банка с принадлежностями.

*Четвертый день. 4 часа пополудни. Пятый рисунок. Холм. День.*

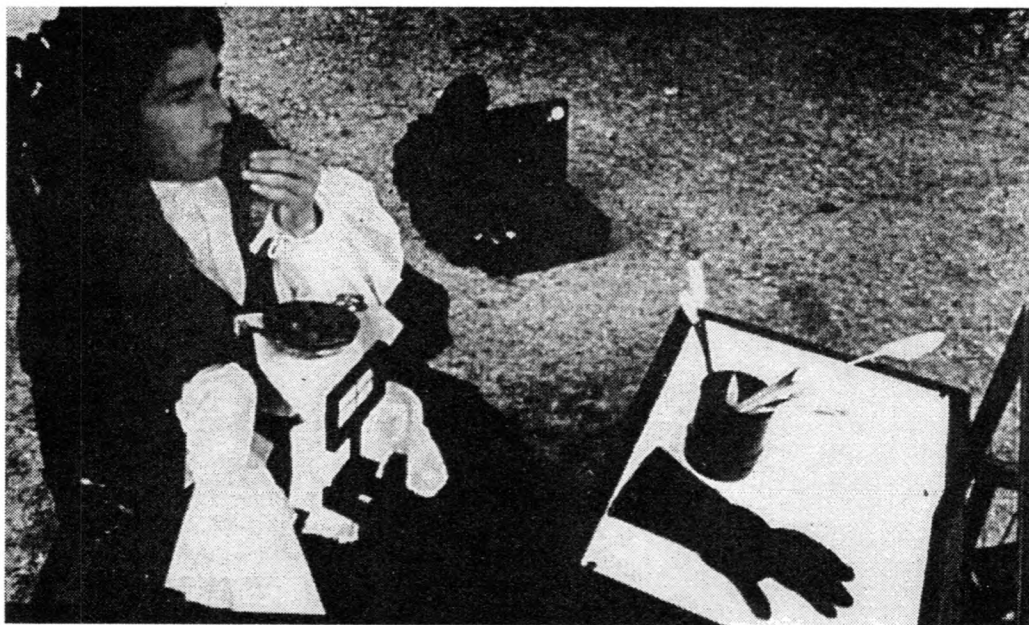
Мистер Тэлманн сидит к нам спиной на стуле Нэвилла, рядом с принадлежностями. Далеко внизу виден дом.

Нэвилл с трудом взбирается на холм с одеждой и черной шляпой в руках. На заднем плане – люди и овцы. Музыка.

**Мистер Нэвилл** (поднимая руку). Добрый день, мистер Тэлманн.

Мистер Тэлманн поднимается. Можно заметить, что он сменил костюм: теперь на нем нечто вроде длинного жилета, полы которого украшены лентами, а на руке – куртка для верховой езды по моде того времени. Говорит язвительно:

– Добрый день, мистер Нэвилл. Вы





опоздали. Я слышал, как несколько минут назад часы пробили четыре, – идет навстречу Нэвиллу.

**Мистер Нэвилл.** Совершенно верно. Я встретил мистера Порринджера. Он сделал из меня дегустатора своих фруктов. Что, с вами то же самое? Сегодня была малина. (Филип и еще один слуга появляются вдали, разгоняя на пути овец.) Поздравляю – малина отменная, чего не скажешь о вчерашних сливах – они безвкусны – “гешмак-лос”, как и ваш камзол, мистер Тэлманн.

**Мистер Тэлманн.** Я не собираюсь надевать один и тот же камзол третий день подряд.

Нэвилл и Тэлманн на склоне холма. В глубине проходят трое слуг с мальчиком.

**Мистер Нэвилл.** Ситуация, мистер Тэлманн, начинает утрачивать свою оригинальность. Сначала я имел счастье лицезреть двух лакеев, горничную и серебряное блюдо с едой. А что теперь? Вы сами одеты не так, как надо.

Мистер Тэлманн возвышает тон. Услышав отзвуки ссоры, внизу замирают двое молоденьких слуг.

**Мистер Тэлманн.** Мистер Нэвилл, довольно. Вашим жалобам нет конца. Восемь фунтов – ваша дерзость нам дорого обходится.

Нэвилл и Тэлманн стоят друг против друга.

**Мистер Нэвилл.** Вы хотите, чтобы я был дерзким бесплатно, сэр?

**Мистер Тэлманн.** Бесплатно, мистер Нэвилл, я бы давно выгнал вас вон из своего поместья. До свидания.

**Мистер Нэвилл** (с ироническим смешком). Вашего поместья, мистер Тэлманн?

Снова музыка. Слуги с ребенком уходят. Тэлманн тоже удаляется. Нэвилл готовится продолжить подъем на холм, но, заметив сапоги, оставленные недалеко от его рисовальных принадлежностей, оборачивается в сторону Тэлманна:

– Мистер Тэлманн, вы забыли сапоги.

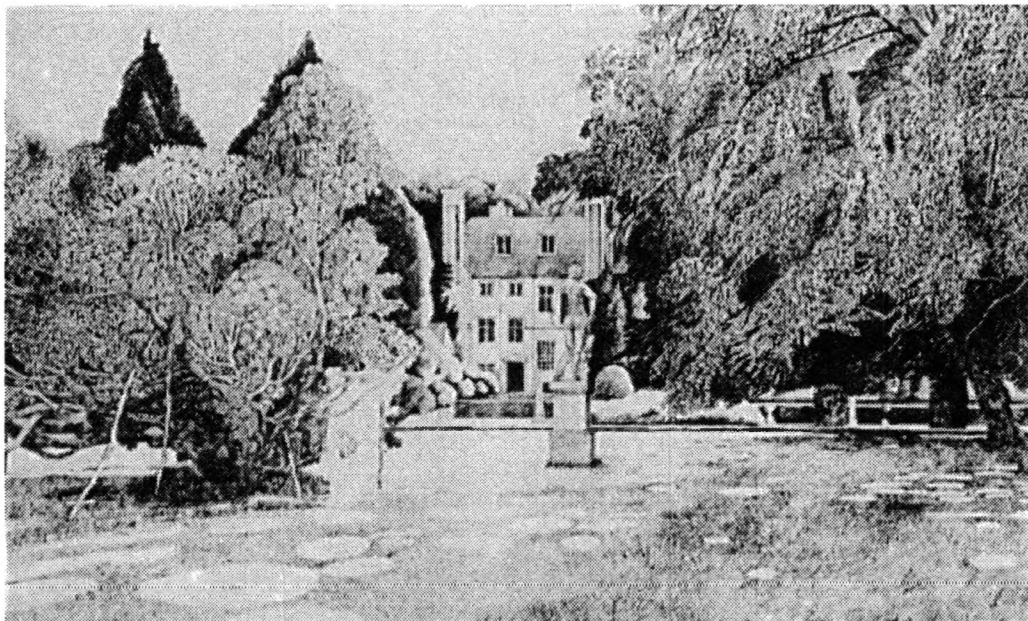
Оба в кадре. На склоне появляется Филип и другой слуга.

**Мистер Тэлманн.** Они не мои, мистер Нэвилл. Я был уверен, что они ваши. (Продолжает путь.)

Рисунок, представляющий вид дома с холма с фигурой “мистера Герберта” справа. Конец музыки.

*Четвертый день с 6 до 8 часов вечера. Шестой рисунок. Нижняя лужайка. День.*

Человек в белом сюртуке, красных штанах, черном парике и перчатках прячется



за подстриженным кустом. Это мистер Порринджер, управляющий. Он шпионит за Нэвиллом и Филипом, которые занимаются своим делом. В конце концов он крадучись уходит.

Рисунок парадного парка со статуей Гермеса, который начинает быстро продвигаться.

### *Пирачечная. Сумерки.*

Рвы с рыской – на первом плане, дом – в глубине. Миссис Герберт сидит на каменной стенке надо рвом, рядом с ней стоит Нэвилл.

**Мистер Нэвилл.** Почему ваш супруг не прикажет вычистить этот ров?

**Миссис Герберт** (из под зонтика, грустно). Он не любит, когда рыбы, карпы, живут долго. Они напоминают ему католиков. (Глядя на него.) Кроме того, из окна рвы можно принять за газон.

Вид на рвы на закате; простыни на изгородях, кусты – слева, аллея, обсаженная тенистыми деревьями, – справа.

**Мистер Нэвилл.** Он умеет плавать?

**Миссис Герберт** (задумчиво). Никогда не видела его плавающим.

За кадром звучит музыка.

### *Спальня Тэлманнов. Ночь.*

Супружеская постель Тэлманнов: жена – слева, с распущенными волосами, муж – справа, в невыгодной позе. В ночном колпаке он похож на старичка. Сцена освещена одной свечой, заливающей белое белье – простыни и ночные рубашки – золотистым светом. Конец музыки. Глядя в потолок широко открытыми глазами, она ощупывает свой живот, затем поворачивается к мужу спиной. Она прячет ноги под сбитые простыни, затем ложится почти на

живот, запустив вниз одну руку. На лице у нее удовлетворение. Муж похрапывает.

### *Пятый день с 7 до 9 часов утра. Первый рисунок. День.*

Задний фасад дома. Нэвилл в черном парике сидит перед визиром под японским зонтиком. Рядом пустой стул. Музыка.

К Нэвиллу приближается миссис Герберт в белом платье и шляпе. Из-за росы, покрывающей траву в этот утренний час, она подбирает подол юбки и высоко поднимает ноги.

**Мистер Нэвилл** (веселым тоном). А, доброе утро, миссис Герберт. Сегодня мне удалось славно поработать. Я начинаю входить во вкус. (Она опускает юбки.) Мадам, будьте любезны присесть. (Она садится на стул рядом с ним. Он запускает руку ей под юбку.) Возможно сейчас и прохладно, но, по-моему, вы дрожите слишком уж сильно. (Она оглядывается назад – не смотрит ли кто.) При такой позе мне будет нелегко воспользоваться вашим присутствием так, как мне того хотелось бы. Прошу вас, встаньте. (Она подчиняется. Он роется у нее под юбками.) Эта лестница, мадам, как вы сами изволите видеть... ( В кадре – задний фасад дома с приставной лестницей.) ...создает дополнительную вертикаль, но я прощаю вас за то, что поставили ее сюда.

Деталь рисунка с лестницей под окном.

**Миссис Герберт.** Зачем мне эта лестница, мистер Нэвилл? Она же никуда не ведет.

Он встает, опускает ее юбки.

**Мистер Нэвилл.** Мадам, соблаговолите встать на колени.

Оба стоят под зонтиком; перед стулом навалена гора подушек. Она оборачива-



ется. Нэвилл берет зонтик и кладет его на землю перед подушками, затем встает за ее спиной и подталкивает ее вперед:

– На колени, мадам! – она падает на колени прямо на подушки. Оба исчезают за зонтиком. В кадре остается сюрреалистическая картина лежащего на зеленой траве бумажного зонтика на фоне голубого неба.

**Мистер Нэвилл** (голос за кадром). Если вы имеете некоторое влияние на своего зятя, не могли бы вы попросить его съездить к мистеру Сеймуру и посмотреть, что можно сделать с лимонными деревьями – делая при этом как можно меньше. (Многозначительно.) Лимон, мадам, источает дивный аромат. Особенно, если ему позволяют свободно цвести. А пора цветения скоро наступит.

*Завтрак шестого дня. Стол накрытый на воздухе. Парк. День.*

Нэвилл что-то ест маленькой ложечкой; за ним стоит лакей с оловянным блюдом. Камера движется влево.

**Мистер Нэвилл.**

Это правда, мистер Ноиз, что вы смертельно ненавидите мистера Герберта?

**Мистер Ноиз** (попадая в кадр). Я не питаю большой любви к мистеру Герберту. (Камера переходит на мистера Тэлманна, затем на миссис Тэлманн и слугу, держащего над ней зонтик от солнца.) Боже, мистер Нэвилл, какой коварный вопрос!

**Мистер Нэвилл**

(голос за кадром). Тогда почему вы здесь?

**Мистер Тэлманн.** Мистер Ноиз сильно привязан к матушке, мистер Нэвилл.

Камера движется направо по лицам присутствующих. За столом сидят: на левом конце – миссис Тэлманн, лицом к нам – мистер Тэлманн, мистер Ноиз, и мистер Нэвилл; правый конец стола пустует.

**Мистер Ноиз.** Я служу управляющим у мистера Герберта. Мистер Герберт часто

отлучается, и, по-моему, в таких случаях я могу быть полезным миссис Герберт.

**Мистер Нэвилл.** Полагаю, во многих. Но не в самом главном?

**Мистер Тэлманн.** Мистер Нэвилл, вы задаете в нашем присутствии слишком неприличные и двусмысленные вопросы.

**Мистер Нэвилл.** Значит, вы предпочли бы, чтобы я их задавал за вашей спиной, мистер Тэлманн?

**Мистер Тэлманн.** Положение мистера Ноиза в этом доме нам всем хорошо известно, мистер Нэвилл.

**Мистер Нэвилл.** Весьма сложное положение. Меня удивляет, что вы все миритесь с ним.

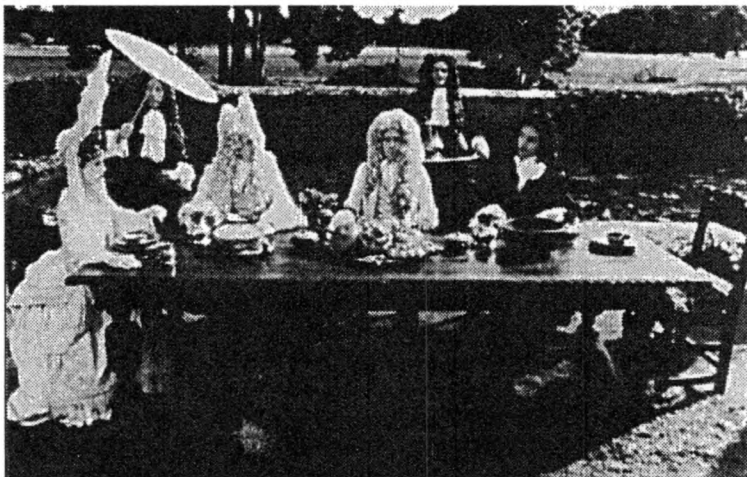
**Мистер Ноиз.** Порядок, заведенный в этом доме, – дело мистера Герберта...

**Мистер Тэлманн.** Батюшка и мистер Ноиз когда-то были большими друзьями.

**Мистер Нэвилл.** ...А потом?

**Мистер Тэлманн.** Матушка была одно время помолвлена с мистером Ноизом.

**Мистер Нэвилл.** А, так ваше положение, мистер Ноиз, – нечто вроде утешения? Огромный воцеленный стол на фигурных



ножках, вокруг которого расположены пять стульев; правый стул пуст. За столом прислуживают два лакея.

**Мистер Ноиз** (разгневанно поднимаясь). Вы злоупотребляете гостеприимством миссис Герберт...

**Мистер Нэвилл.** Сядьте, мистер Ноиз. (Тот с сожалением подчиняется.) Я просто провожу дознание. Это поможет мне понять, что происходит в парке.

*Шестой день контракта с 6 до 8 часов вечера. Шестой рисунок. Нижняя лужайка. День.*

Обнаженная фигура, выкрашенная под бронзу, стоит на постаменте, держа в левой руке кувшин. Из него с подозрительным журчаньем течет вода. Другой рукой фигура тербит свой фаллос, затем играет мускулами и поднимает руку, принимая изящную позу. Вода из кувшина все льется. Музыка.



Вид сада с живой статуей на первом плане, стриженными изгородями, стенами листвы. Справа, в вазоне, – большой раскидистый папоротник.

Через визирную рамку виден дом и статуя Гермеса. Слева, на нижних ветвях дерева, все еще висит рубашка. Журчание прекращается.

**Миссис Тэлманн** (голос за кадром).

Эта рубашка, мистер Нэвилл, слишком выделяется... (Рисунок, в точности повторяющий предыдущий кадр.) ...на вашем рисунке. Неужели нельзя было ее как-нибудь замаскировать?

Фрагмент рисунка: статуя Гермеса перед домом, рубашка на дереве, слева.

**Мистер Нэвилл** (голос за кадром). Мадам, я очень стараюсь ничего не искажать и не скрывать.

Крупно – рубашка, висящая на дереве. **Миссис Тэлманн** (голос за кадром). Ваш творческий метод всегда будет таковым, мистер Нэвилл?

**Мистер Нэвилл** (голос за кадром). Разумеется.

Нэвилл сидит за столиком черного дерева, перед ним визир и другие принадлежности. Рядом стоит миссис Тэлманн. На переднем плане, прямо на земле стоит блюдо с закусками. Нэвилл смотрит на миссис Тэлманн.

**Миссис Тэлманн.** Тогда позвольте мне произнести небольшую речь. (Через визирную рамку видно лицо миссис Тэлманн и спину Нэвилла.) На рисунке северного крыла дома виден батюшкин плащ, обмотанный вокруг ног статуи Бахуса. (Нэвилл поворачивается в профиль.) На рисунке, изображающем моего мужа, окидывающего окрестности оценивающим взглядом, вам непременно нужно было подметить пару непонятно чьих сапог. На рисунке восточной части парка у окна батюшкиного кабинета видна лестница, которой обычно пользуются для сбора яблок. На рисунке прачечной изображена батюшкина куртка, порванная на груди. Вам не кажется, что очень скоро мы найдем тело, которому принадлежали все эти вещи?

**Мистер Нэвилл.** Я все время думаю, мадам, о рисунке, который вы не упомянули... А ведь на нем были вы, мадам. (Снимает ногу с колена и швыряет папку с рисунками на землю.)

**Миссис Тэлманн.** Вы уверены, мистер Нэвилл?

**Мистер Нэвилл.** Не столько вы, сколько связанный с вами звук: вы играли на спинете.

**Миссис Тэлманн.** Кажется, мы уже говорили о возможности изображения зву-

ков на бумаге и не пришли ни к какому заключению. Быть может, это вовсе не я играла на спинете. Вы об этом не подумали?

**Мистер Нэвилл.** Тогда кто же, мадам?

**Миссис Тэлманн.** Видите, мистер Нэвилл, вы уже начинаете играть в эту игру довольно искусно.

**Мистер Нэвилл.** Четыре предмета одежды и лестница не подводят нас к трупу.

**Миссис Тэлманн.** Мистер Нэвилл, я ничего не говорила о трупе.

**Мистер Нэвилл.** Мадам, вы слишком проникательны. Как будто вы все это подстроили сами. Ведь если ваш батюшка в Саутгемптоне, как же вы могли не заметить ни его вещей, ни лестницы?

**Миссис Тэлманн.** А разве батюшка в Саутгемптоне? Вам это сказала матушка? Но вы должны понимать, что она не болтлива и способна кое-что придумать. Вы что, забыли, как настойчиво она убеждала вас взяться за исполнение рисунков дома ее мужа в его отсутствие?

**Мистер Нэвилл.** Ее объяснение вполне правдоподобно.

**Миссис Тэлманн.** Возможно, мистер Нэвилл, вы слишком многое принимаете на веру.

**Мистер Нэвилл.** Мне не терпится, миссис Тэлманн, увидеть конечную цель и результат этой тонкой игры. Оставшиеся шесть рисунков будут полны таинственности. Я буду шаг за шагом докапываться до сути происходящего.

**Миссис Тэлманн** (с натянутой улыбкой). Или до сердца моего отца, мистер Нэвилл?

**Мистер Нэвилл.** Пламенеющего на зеленой траве?

**Миссис Тэлманн.** Какая жалость, мистер Нэвилл, что ваши рисунки выполнены не в цвете.

**Мистер Нэвилл.** Вы слишком торопитесь, миссис Тэлманн. (Он сидит, закинув ногу на ногу и упираясь подбородком в ладонь.) Все эти предметы еще ни о чем не говорят.

**Миссис Тэлманн.** Каждому в отдельности можно найти объяснение. Взятые же вместе они наводят на мысль о том, что вы стали свидетелем несчастья.

**Мистер Нэвилл.** Несчастья, мадам?



Какого несчастья? Никакого несчастья нет.

**Миссис Тэлманн.** Более, чем свидетелем – соучастником этой трагедии.

**Мистер Нэвилл.** Мадам, это все ваши фантазии.

**Миссис Тэлманн.** Мистер Нэвилл, я пришла к выводу, что по-настоящему умный человек может стать лишь посредственным художником, ибо живопись требует определенной слепоты – умения не замечать некоторых мелочей. (Ее выпад, кажется, достигает цели; Нэвилл наклоняется вперед. Он сидит, опустив голову, она стоит над ним.) Умный же человек обычно понимает больше, чем видит. И это несоответствие между тем, что он видит, и тем, что он понимает, сковывает его, не дает ему выразить свою мысль до конца, так как он боится, что пронизательные зрители – те, кому он стремится угодить, – подумают, что он хочет показать нечто, известное не только ему, но и им. (Нэвилл смотрит на нее; она продолжает с притворным оживлением, даже иронией.) Вы, мистер Нэвилл, если вы умный человек, а значит, посредственный художник, должны отдавать себе отчет в том, что ваши рисунки вполне можно интерпретировать так, как я сказала. Если же вы, как говорят, талантливый рисовальщик, то, возможно, вам не кажется, что те предметы, на которые я обратила ваше внимание, вместе образуют некий план, некую стратегию или состав преступления.

**Мистер Нэвилл** (поворачивая к ней голову, потрясенный). Состав преступления, мадам? Это уж слишком. Мне не позволено быть ни умным, ни талантливым, хотя мне бы хотелось быть и тем, и другим.

Миссис Тэлманн отворачивается с улыбкой. Она присаживается рядом с ним.

**Миссис Тэлманн.** Давайте догово-

рися. Я могу связать воедино все незначительные детали на ваших рисунках так, что это могло бы объяснить другим причину батюшкиного исчезновения – а мы не получили сообщения, что он прибыл в Саутгемптон. (Оба видны через визирную рамку.) Мы могли бы прийти к соглашению, которое защитило бы вас... (Неуверенно, подбирая слова.) ...и развлекло бы меня. Я предлагаю составить контракт, подобный тому, какой вы подписали с матушкой. (Нэвилл потрясен тем, что ей известно о существовании контракта, заключенного им с миссис Герберт, и который, как он считал, держится в строгом секрете.) А сейчас прошу вас пройти со мной в библиотеку, где мистер Ноиз, должно быть, уже ждет нас.

Музыкальное крещендо. Она встает и медленно уходит, не спуская с него глаз. Он тоже поднимается и следует за ней. В кадре остаются только рисовальные принадлежности.

Нэвилл и миссис Тэлманн удаляются по направлению к дому. Они проходят мимо статуи Гермеса.

**Миссис Тэлманн** (голос за кадром). ...И во время исполнения каждого из оставшихся рисунков...

**Мистер Нэвилл** (повторяя за ней, за кадром). ...И во время исполнения каждого из оставшихся рисунков...

**Миссис Тэлманн** (голос за кадром). ...Я обязуюсь встречаться с миссис Тэлманн наедине...

**Мистер Нэвилл** (повторяя, как на брачной церемонии, за кадром). ...Я обязуюсь встречаться с миссис Тэлманн наедине...

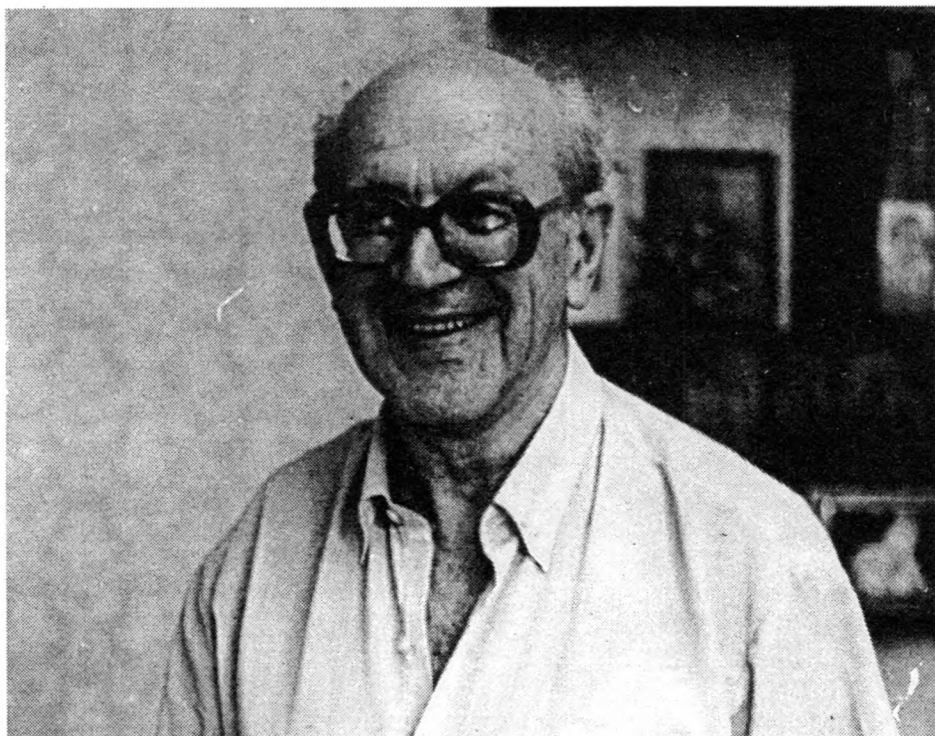
**Окончание в следующем номере.**

*Перевод Риммы Черниковой и Елены Дорышевой*





# Валерий Фрид



## 58 1/2

### XIII. Начало второй пятилетки

Нас выстроили в колонну и повели ко станции на ОЛП-5, в интинском просторечии "Сангородок". Название условное: на пятом ОЛПе действительно был большой стационар с хорошими врачами – в/н в/н и з/к з/к, но большую часть населения Сангородка составляли не медики и не больные. Это был центральный распределитель рабочей силы: при каждой шахте на Инте имелся свой лагпункт, куда после сорти-

Продолжение. Начало см. № 2, 1994 г.

ровки отправляли новоприбывших. Всё это мы узнали несколько позднее. А сейчас стояли у ворот в ожидании первого шмона.

Шмонали старательно и неторопливо. У меня нашли десять рублей и отобрали, с удовольствием объяснив: тут вы денег не увидите! Не положено! Затем вертухай вытянул у меня из-за голенища отточенный обломок ложки и дал по уху. Я окусываться не стал: уже догадывался по многим признакам, что с этими особенно не подискутируешь.

– Давай раздевайся! Всё сымай!

Я разделся догола, слегка смущаясь



– Почему это вы все называете меня полковником КГБ? – спросил он однажды английского писателя Рональда Пейна.

– Господи, так вас наконец произвели в генералы, Виктор? – отвечал Пейн.  
("ТАЙМ", 3 авг. 1992г.)

Раз уж пошли цитаты, позволю себе еще одну – из "Рассказа о простой вещи" Бориса Лавренева:

" – Скильки ще гамна на свити!"

На пятом я встретил еще одного участника Большой Игры (опять литературная реминисценция: "Ким" Р. Киплинга, роман о мальчишке-шпионе).

Это был очень славный паренек, бывший московский школьник Эрнст Кернмайер. В лагере его звали Сережей – мы познакомились еще на Алексеевке. А здесь он сказал мне – почему-то с виноватой улыбкой:

– Только я теперь Кернтайер.

Смена фамилии не имела ничего общего со шпионскими хитростями; просто перепутал буквы лагерный писарь. (Это еще что, я же рассказывал про "Сульфидинова" и "Парашютинскую".) А шпионом он таки был – причем "двойником".

Сережа-Эрнст был сыном политэмигранта, австрийского коммуниста. В мои школьные годы я повидал их немало; "щуцбундовцы" – так их называли. Что такое шуцбунд, я раньше знал, но теперь не помню. Дети шуцбундовцев учились сначала в немецкой школе – до войны была такая в Москве. Когда же ее в пору ежовщины прикрыли (и учителя, и родители школьники почти всех пересажали), ребят перевели в обычные школы – в нашей училось двое или трое.

Сережа рассказал мне свою грустную историю.

Как только началась война, ему предложили добровольно отправиться в немецкий тыл разведчиком. Сбросили на парашюте где-то над Германией, дав задание: добраться в Вену, где была явка.

Немецкий язык был для него родным; маленький, щуплый, по документам он числился членом гитлерюгенда – молодежной нацистской организации. Не учли только одного: без взрослых ребяташки из гитлерюгенда путешествовать по стране обязаны были в форме. Взрослого при парнишке не было; он был в штатском костюме –

слава богу, хоть не советского производства. Правда, кепочка на нем была английская, что ненамного лучше: при первой же проверке документов на вражескую кепку обратили внимание. Сережа не растерялся: объяснил, что отец служил в той части, которая первой вошла в Париж, и кепку прислал оттуда – как сувенир. Ему поверили. Поругали за то, что не в форме, и отпустили.

Кепочку он выбросил. Но всё равно рано или поздно Сережа должен был попасться – что и произошло. В немецкой тюрьме его быстро раскололи и перевербовали. Через него в Москву потёк ручеек дезинформации – обычный трюк всех разведок мира. Это не помешало Советской Армии победить.

После победы Сережу в советской тюрьме раскололи с такой же легкостью, как в немецкой. Свой четвертак – двадцать пять лет срока – он честно заработал и потому не роптал на судьбу. А мне его было очень жалко...

Интеллигенция, согласно учению Маркса-Ленина, – прослойка. В Минлаге прослойка эта была толще, чем в других лагерях. Попадали сюда и ученые мирового класса. Юлик рассказывал, что на 5-м он слышал отрывок спора, который вели два почтенных старца, пронося мимо него носилки с мусором:

– Но это же был паллиатив, согласитесь!!

В одном из спорящих он узнал знаменитого египтолога Коростовцева.

За недолгое свое пребывание в Сангеродке я мало с кем из местной интеллигенции успел пообщаться. Почти всё свободное время проводил с Каплером, а свободного времени хватало: в ожидании отправки на шахту нас редко гоняли на работу.

Алексей Яковлевич был одним из самых уважаемых людей на ОЛПе. Уважалась и сама его должность "посылочного бога" (а про счетовода продстола зеки говорили: "хлебный бог"). Но Каплера любили не за должность.

Доброжелательность, которая была, возможно, главным талантом Каплера, воплощалась в добрые дела везде – и на свободе, и в лагере. Знавшие его в Москве помнят, сколько начинающих сценарис-

## Уведомление

о вручении почтовой посылки

Подтверждаю получение посылки № 533 с объявлен-

ной ценностью: 100 Р. коп.

личной подписью: Фрида


Посылку вручил: Резерв

14/VI-49

Куда Москва 25  
Столешников пер  
д. № 9 кв. 14

Кому Фрида Елене Петровне

Обратный адрес:  
Коми АССР, Кожвинский р-н, п-о Инта п-я ЛК № 388/  
Фрида Валерия Семановичу



тов он за ручку привел в кинематограф. А на пятом все знали, что это он придумал “уведомления”.

Я уже говорил, что зекам Минлага разрешалось отправлять только два письма в год. А получать можно было сколько угодно – и писем, и посылку. Связь оказывалась односторонней. Домашние мучились неизвестностью, гадали: дошло ли письмо? Дошла ли посылка? И вообще – жив ли?.. В придуманный Каплером текст на узеньком типографском бланке: “Посылку выдал... Посылку получил...” нельзя было вписать ни слова – даже “спасибо”. Но подпись-то там была, была дата – значит жив пока еще!.. Слали посылки, конечно, не всем, но многим.

Выдавались они в присутствии надзирателя, чтоб не проскочило что-нибудь недозволенное. Проскакивало, конечно. Можно было, например, туго свернутую тридцатку засунуть с тыльного конца в тюбик с пастой. Или вложить ее в пачку махорки и аккуратно заклеить – голь на выдумки хитра. Вот со спиртным было сложнее.

Одному мужичку прислали из деревни посылку. В ней оказалась бутылка с мутноватой жидкостью и приклеенной бумажкой, на которой трогательно корявыми буквами выведено: “малачо”. А на дне бутылки – слой белого порошка с палец толщиной. Это наивные сельские жители забелили самогон зубным порошком. Взболтали – получилось похоже, но за время пути порошок выпал в осадок. На глазах у получателя – и у Каплера, и у меня – вертухай вылил самогон на землю. Спасибо, хоть акт не составил.

В ту пору самому Каплеру жилось не плохо. Заведующий пекарней (по воле – инженер-полковник) нет-нет да принесет

ему белого хлеба – из чистой симпатии. И почти каждый из получавших посылку чем-нибудь угощал Алексея Яковлевича – это была как бы символическая жертва доброду богу почты. А Каплер угощал меня. Мне неловко было, я даже перестал заходить в посылочную. Но он или сам разыскивал меня, или посылал на поиски своего помощника, тихого человечка со смешной фамилией Компас.

Подкармливал Алексей Яковлевич не одного меня. Каждый день ходил в больницу к чахоточному интеллигентному немцу, гитлеровскому дипломату Валленштейну. Немец был интересен Каплеру: потюмок шиллеровского Валленштейна! Они часами разговаривали – по-французски. Перед смертью Валленштейн сказал своему кормильцу: да, в национальном вопросе Гитлер был глубоко не прав!

В последние годы наши газеты много писали про Валленберга, шведского дипломата, спасавшего в Австрии евреев, арестованного чекистами и исчезнувшего без следа. В Швеции не теряют надежды, что след еще отыщется; вот и недавно, по сообщению одной из московских газет, некая Валентина Григорьевна Павленко вспомнила, что видела Валленберга в лагере на станции Козье Северной железной дороги. А я думаю: не Валленштейна ли она видела? Спутать легко: тоже дипломат, фамилия похожа. И странная станция Козье – не Косью ли это в Коми АССР?

Валленштейн был, в общем, симпатичен и мне – чего не скажу про его дружка Мюллера фон Зайдлиц (которого за педерастические наклонности быстро переименовали в Мюллера фон Задниц). Этот был патологический лжец: выдавал себя за американца, зачем-то наврал, будто провез через все этапы “For whom the Bell tolls”

– “По ком звонит колокол”, – видимо, узнал, что мне очень хочется прочитать эту книжку. Для достоверности он добавил, что вез ее в переплете с русского романа “Отцы и дети”, – детали для лжецов – великое подспорье! Никакого Хемингуэя у него, разумеется, не оказалось... Такое бессмысленное и бескорыстное вранье встречается довольно часто: это, наверно, легкое психическое расстройство.

А по-английски фон Задниц говорил очень хорошо, хотя и с сильнейшим немецким акцентом.

Моим американским произношением я в те поры очень гордился. Да и Каплеру приятно было: вот какие ребята у нас во ВГИКе! Он даже продемонстрировал меня Фридману, американскому еврею, преподававшему язык в МГИМО. Тот послушал немножко и кисло сказал: “Три”. Увидел наши с Каплером огорченные лица и выдал из себя: “С плюсом?.. Нет”.

Был на 5-м и еще один “англизычный”: индеец Джонни Рауд. Его похитили в американской зоне Германии и привезли к нам – не знаю, за какие грехи. У него, как и у Валленштейна, был диагноз: ТБЦ – туберкулез. “I’ll kick the bucket soon”, – сказал он мне с грустной улыбкой. Скорее всего, так и случилось.

(А на Воркуте, говорили мне, умер негр-четочник, которого мы видели в Москве: он выступал перед сеансами в “Центральном”; Генри Скотт, если я правильно запомнил...)\*

Когда мы встретились с Каплером, мне не было тридцати, а ему пятидесяти, но, естественно, он казался мне очень пожилым человеком, хотя выглядел прекрасно. Он боялся располнеть от сидячей жизни и каждый вечер быстрым шагом проделывал два-три круга по немаленькому периметру ОЛПа. Я не любитель прогулок, но с удовольствием присоединялся к Алексею Яковлевичу, чтобы послушать его рассказы.

Есть люди, которые воспринимают трагически даже мелкие житейские неприятности. У Каплера, как всем известно, неприятности были крупные – те, что привели его в лагерь. Но в его голосе я ни разу не уловил трагических ноток. И все истории, которые я от него слышал – а чаще всего они были про арестантские судьбы, – рассказывались с улыбкой. Так, он весе-

ло сообщил мне, что здесь на пятом встретил двух своих соседей: в Москве они жили с ним в одном доме и даже на одной площадке. И всех посадили – по разным делам, но почти в одно время. Смешно? А. Я. познакомил меня с ними: Илья Мос-тославский, полковник Коновалов.

Вот не помню, этот ли полковник или другой, упомянутый выше зав. пекарней, попал в тюрьму при таких забавных обстоятельствах: сильно пьяного, его задержал патруль и отвел в военную комендатуру. Полковник бушевал, свирепо матерился. Комендант укоризненно напомнил ему:

– Товарищ полковник, не забывайте: вы в военной комендатуре.

– Ебал я вашу комендатуру!

– Товарищ полковник! Я сейчас зам. министра позвоню!

– Ебал я вашего министра!

Комендант не терял надежды урезонить его:

– Постыдитесь, товарищ полковник. Посмотрите, чей над вами портрет!

– Ебал я ваш портрет!!!

На этом дискуссия закончилась – для полковника полновесным сроком.

От Каплера мы с Юлием Дунским услышали историю “червоного казака” Гришки Вальдмана. (Юлик, правда, запомнил другое имя и фамилию: Ленька Шмидт.)

Этот героический еврей-котовец после гражданской войны оказался не у дел: к мирной жизни он был мало приспособлен. За старые боевые заслуги его поставили директором какого-то завода, а в начале тридцатых даже послали в Америку – набираться опыта. Оттуда он привёз холодильник (их тогда в Москве было мало, а те, что были, называли почтительно рефрижераторами) и дюжину разноцветных пижам. Пижамы ему очень нравились, он даже гостей принимал в пижаме. А посреди вечера убежал в спальню и через минуту появлялся в пижаме другого цвета. В общем это был бестолковый добродушный еврей-выпивоха.

В 37 году начались аресты. Окружение Гришки-Леньки сильно поредело, и он, при всём своем легкомыслии, забеспокоился. Понял, что заграничная командировка может выйти ему боком. Пошел к старому приятелю и спросил совета, как вести себя, если за ним придут.

Приятель (это был Андрей Януарьевич Вышинский) поджал губы:

– Зря у нас никого не сажают. Но могу сказать тебе одно. Придут – попроси показать ордер на арест: есть ли там подписи кого-нибудь из секретарей ЦК и генерального прокурора или его заместителя. Ты номенклатурный работник, без этих подписей ордер недействителен.

Гришка поблагодарил, пошел домой. В ту же ночь за ним пришли. Позвонили в дверь, на вопрос “Кто?” ответили: “Телеграмма”.

– Подсуньте под дверь, – распорядился Вальдман.

Тогда они перестали валять дурака:

– Открывайте! НКВД.

Гришка велел домработнице открыть дверь. Вошли трое и замерли у порога: хозяин, в пижаме с тремя орденами Красного Знамени на груди, стоял, облокотившись на рефрижератор. В руке он держал маузер; длинный ствол был направлен на вошедших.

– Покажите ордер! – потребовал Вальдман. Старшой с готовностью рванулся вперед.

– Не подходить! Клава, дай швабру, – и взяв у домработницы щетку на длинной ручке, протянул ее чекисту. – Ложи сюда.

Подтянув к себе ордер, Гришка долго вертел его в руках, по-прежнему держа энкаведешников под прицелом. В грамоте он был не очень силен, но всё что нужно, оглядел.

– Где подпись секретаря?

– А что, нету? Так это мы сейчас. Подедите, там подпишем.

– Никуда я с вами не поеду. Вы самозванцы, пошли вон!

Старшой потоптался на месте, попросил:

– Товарищ Вальдман! Разрешите позвонить по телефону.

Тот разрешил: телефон висел на стене в коридоре.

– Не идет, – сказал чекист кому-то в трубку. Последовала пауза. Видимо, на том конце провода ругались: чего вы с ним чикаетесь? Хватайте его и везите.

– Нельзя... Я говорю, нельзя. Обстоятельства не позволяют.

Вся троица покинула квартиру, пообещав, что скоро вернутся.

Не вернулись. То ли других забот было много, то ли самих посадили – тогда такое было не в диковинку. Как бы там ни было, Вальдман остался на свободе. Посадили его года через три – за растрату. Старые котовцы пустили шапку по кругу, набрали чуть ли не миллион и принесли в прокуратуру – выкупать Вальдмана: его любили. Разумеется, их погнали в шею...

Эту историю рассказали Каплеру ее участники, когда он собирал материал для фильма “Котовский”.

Во время “Прогулок с Каплером” я узнал от него, что таких особых лагерей, как Минлаг, теперь уже несколько – и все на базе старых, обычных. Названия им дали не географические, а шифрованные – видимо, чтобы обмануть американскую разведку. Интлаг стал Минлагом (Минеральным лагерем), Воркутлаг – Речлагом... А были еще Морлаг, Озерлаг, Степлаг, Песчанлаг, Камышлаг и даже один с былинным названием – Дубровлаг, в Мордовии, недалеко от станции Явас.

– Я вас! – смеялся Каплер. – Страшненькое название!

Но как раз этот Дубровлаг, по слухам, был помягче других: для слабосилки и инвалидов.

В наш Минлаг Каплер с Юликом прибыли одним этапом, но из разных мест: Алексей Яковлевич с Лубянки (это был его второй заход), а Юлий из Кировской области. Подробно про их встречу рассказал Юлик, когда мы наконец встретились.

В первый же день после приезда он обратил внимание на шустрого не очень молодого человека, который торопился сообщить всем минлаговским начальникам, что он кинорежиссер. Юлику он не понравился. А Юлик привлек его внимание – я думаю, своей молчаливостью, стеснительностью.

– Скажите, вы из Москвы?

– Да.

– Вы, наверно, были студентом? В каком институте?

– В институте кинематографии. Слышали про такой?

– Слышал – ВГИК... Давайте знакомиться. Моя фамилия Каплер.

А до Юлика все еще не доходило. Из вежливости он поинтересовался:

– Не родственник Алексею Каплеру?

Каплер грустно усмехнулся:

– Вы английский язык знаете?

– Немножко.

– Ай эм.

Юлик так и сел на борт тачки. У него сделалось такое лицо – об этом мне рассказывал уже Каплер, – что Алексей Яковлевич на всю жизнь проникся к нему нежностью.

Вдвоем они таскали носилки со шлаком – и разговаривали, разговаривали, разговаривали. Их бригада строила дорогу для вывозки мусора. Я видел эту дорогу: она доходила до края оврага и круто обрывалась. Грешным делом, я подумал, что они, увлекшись разговором, завели дорогу не туда, куда следовало. Но мне объяснили: именно туда. Там мусор сбрасывали в овраг.

Про этот отрезок их лагерной жизни Каплер рассказывал и такое. Когда бригада – по пятеркам, взявшись за руки, – возвращалась в зону, сосед Алексея Яковлевича по шеренге каждый раз жалобно просил быть поаккуратней: очень болит рука, привычный вывих. Кто-то из работяг по секрету шепнул Каплеру, что его сосед в немецком лагере военнопленных работал “жидоловом” – выявлял евреев. Ему же немцы доверяли расстреливать их. Вот так и получился вывих – от отдачи автомата...

С блатными Алексей Яковлевич общался мало: так уж сложилась его лагерная судьба. Но как писатель он сумел оценить богатство их языка.

– Представляете, Юлик, они даже в числительные ухитряются вставить свое любимое словечко. Мишка мне сказал: “И дали мне два, блядь, с половиной года!”

От этого же Мишки он впервые услышал: “Вот. Дали ему год. Отсидел тринадцать месяцев и досрочно освобождился”. Услышал и восхитился Мишкиным остроумием. Но мы это слышали тысячу раз: самая ходовая лагерная присказка.

О своем деле Алексей Яковлевич рассказывал неохотно. Теперь-то оно ни для кого не секрет, но на всякий случай напомним – коротко.

В него влюбилась дочка Сталина Светлана. В те годы Каплер был на вершине успеха – “Ленин в Октябре”, “Ленин в 1918 году”. Был обласкан властями, принят в “высшем обществе” – если условно назвать



**А.Каплер в пору “романа” с дочкой Сталина.**

так кремлевскую элиту. Влюблялись в него женщины и покрасивее рыжей вчерашней школьницы. Но внимание “кронпринцессы” ему очень льстило. Романа, собственно, не было: держась за ручку, они гуляли по Москве, разговаривали. И повсюду за ними ходил провожатый – дочери Сталина полагалась охрана.

Светланиному папе эти прогулки сильно не нравились. В один прекрасный день раздался звонок. Грубый голос велел:

– Каплер, перестаньте крутить мозги дочке Сталина! Будет плохо.

Алексей Яковлевич не поверил, а зря.

Как-то раз Светлана пришла в слезах: из-за Каплера она опоздала на папин день рождения; он рассердился, шмякнул об пол тарелку с праздничным пирогом, накричал на дочь... В общем, Алексею Яковлевичу лучше уехать.

Он послужался, уехал. Сначала отправился в “партизанский край”, потом на сталинградский фронт – собором “Правды”.

И погорел на литературном приеме: своим корреспондентам с фронта он придумал форму писем некоего лейтенанта к любимой девушке. Лейтенант писал примерно так: "Помнишь, любимая, как мы гуляли по Александровскому саду, как смотрели на Кремль с Каменного моста?.." Именно эти маршруты фигурировали в ежедневных отчетах Светланино-го охранника.

Сталин пришел в ярость: он решил, что этот наглый еврей таким хитрым способом обманывается в любви его дочери. Газета "Правда" получила первый в своей истории выговор по партийной линии. А Каплера арестовали, дали пять лет по ст. 58. 10 ч. II (антисоветская агитация: "восхвалял мощь германской армии... выражал сомнение...") и отправили на Воркуту.

Начальником Воркутлага был тогда генерал Мальцев, человек неглупый и не трусливый. Он не побоялся расконвоировать своего знатного узника и предложил написать что-нибудь о "заполярной кочегарке" – Воркуте.

Алексей Яковлевич походил, присмотрелся – и отказался писать. Объяснил: рассказать, как оно есть, не позволят, а писать, что Воркуту, как "город на заре" Комсомольск, построили комсомольцы-добровольцы – это ему совесть не позволяет. Генерал не настаивал.

Каплер хорошо фотографировал. Ему разрешили выписать из дому всё необходимое, и он стал городским фотографом. Возможно, и по сей день сохранилась в Воркуте будочка "Фотография "Динамо". Лет двадцать назад она еще стояла: Каплер ездил на Воркуту с женой, Юлей Друниной, и показывал ей свою бывшую резиденцию. Правда, мемориальной доски: "Здесь жил и работал А. Я. Каплер" не было...

Воркута гордилась своим театром. Труппа была смешанная: вольные и зеки. Смешанным был и репертуар – даже оперы, по-моему, ставили. Или оперетты? Главные роли играла длинноногая красавица Валентина Токарская. Кто видел довоенный фильм "Марионетки", наверняка помнит ее.

В войну она вместе с фронтовой бригадой московских артистов попала к нем-

цам в плен. Явных евреев расстреляли, а неявные вместе с русскими стали работать в тепер уже немецких фронтовых бригадах – выступали большей частью перед власовцами. Репертуар был совершенно аполитичный; когда война кончилась, особых претензий к артистам "органы" не имели. Но на беду в руки одного из военных корреспондентов (знаю кого, но из симпатии к его дочери не назову фамилии) попала фотокарточка: Токарская и другие актеры сняты были в компании власовских офицеров. В сердце корреспондента застучал пепел Клааса. Этот стук был услышан, и Валентину Георгиевну посадили, дав ей на бедность лет пять.

На Воркуте она, как и Каплер, была расконвоированной. У них начался роман.

Встречаться и всё прочее можно было в фотографии "Динамо". Для безопаснос-



А.Каплер на Воркуте – снимок был переслан жене Л.Трауберга Вере Николаевне.

ти в заднем торце кабинки Каплер устроил узенький тамбур. Внутреннюю дверь загородили шкафом с химикалиями. Подкованный шарикоподшипниками, он легко отъезжал в сторону. В случае тревоги Токарская пряталась в тамбуре и там пережидала. Если же нежелательные гости задерживались надолго, она уходила: массивный замок на наружной двери был декоративным – так хитро, на одну сторону, крепились обе петли.

В сорок восьмом году у Каплера кончился срок, и они с Токарской решили пожениться. Алексей Яковлевич, превратившийся из з/к в в/н, продолжал работать фотографом, но мечтал вернуться в кино. Понимал, что в Москву или Ленинград его не пустят – но ведь была и на Урале студия, в Свердловске? И он отважился попытать счастья. Взял командировку в Киев, а по дороге заехал в Москву, к старым друзьям – Константину Симонову и Ивану Пырьеву. Те встретили его с распростертыми объятиями, обещали похлопотать – но не успели: на второй день московского визита Каплера арестовали, отвезли на Лубянку и дали второй срок. На этот раз обвинение было пустячным: придрались к нарушению паспортного режима (зачем сунулся в столицу?) и осудили по ст. 7-35 УК – по-другому это называлось СВЭ, социально вредный элемент. По этой статье судили бродяг и проституток, когда за ними не числилось конкретных преступлений.

Сокамерник-юрист поздравил Алексея Яковлевича: статья легкая, дадут два-три года высылки, не больше! Но для Каплера сделали исключение: дали еще раз пять лет и отправили в лагерь особого режима, в Минлаг. К тому времени, когда мы встретились, он отсидел чуть больше года из своего второго срока.

Свое обещание – помочь мне перебраться к Юлику – Алексей Яковлевич выполнил. Отвел меня к татарину по фамилии Шапиро, объяснил ситуацию. Тот пообещал отправить меня на 3-й ОЛП – спросил только, не родственники ли мы с Дунским? Нет, не родственники.

И вот пришел день отправки. Расцеловавшись с Каплером, я побежал становиться в строй. Но в последнюю минуту нарядчик выкрикнул мою фамилию

и меня выдернули из колонны: оказывается, знакомый доктор, симпатизировавший мне, решил оставить меня в Сангородке “по состоянию здоровья”. Я, конечно, поблагодарил доктора – не очень искренне.

Теперь надо было ждать следующей оказии. Ждать пришлось недолго: на шахтах не хватало рабочей силы, требовалось пополнение. И недели через две нарядчики стали готовить следующую партию для отправки на ОЛП-3.

В список попал и я. Но на этот раз меня подвело вечное еврейское беспокорство: а вдруг отправляют не на третий? Я пошел выяснять. И нарвался на “покупателей” – так называли представителей шахт, приезжавших к нам за пополнением.

Главный инженер шахты неодобрительно поглядел на мои очки и спросил:

– А вы, собственно, что собираетесь там делать?

– Работать! – бодро сказал я.

– Нет, очкастых мне в шахту не надо. Вычеркните этого.

Вычеркнули.

Дождавшись, когда шахтерское начальство уедет, я пошел к старшему нарядчику. Сказал:

– Слушай, кто-нибудь обязательно попросит, чтоб его оставили на пятом. Вот и оставь. А меня впиши на его место.

Нарядчик так и сделал, вычеркнул кого-то – наверняка за “лапу” – и я снова оказался в списке. Чтобы не рисковать, снял очки, сунул в карман и пошел становиться в строй.

### Примечания автора

\* Я часто оговариваюсь: “если мне не изменяет память”, “если не ошибаюсь”, “насколько помню”... Но, повторяю, записей я не вел. И не только в лагере. Единственную попытку завести “записную книжку писателя” я сделал, когда учился в восьмом классе. Нашел в отцовском столе красивый блокнот, написал: “Гадящая овчарка похожа на кенгуру”. Действительно похожа. Но этим ценным наблюдением дело ограничилось – первая запись оказалась и последней: я быстро охладел к идее стать писателем.

## XIV. Юлик и другие

На третий ОЛП нас доставили с комфортом – на автомобиле. Грузовом, конечно. В кузов зеки садятся по пять в ряд, назад лицом. Уселась первая пятерка, дают команду второй и т. д. Сидим тесно, не шелохнешься. А два конвоира с винтовками, отгороженные от нас деревянным переносным щитком, стоят спиной к кабине.

Лагпункты на Инте привязаны были к шахтам, разбросанным на довольно большом пространстве. Но нам ехать было недалеко, километров десять.



Вид на нашу шахту (Инта).

ОЛП-3 показался мне огромным, я так раньше не видел: огороженный колючкой поселок с четырьмя тысячами жителей. Нас завели в карантинный барак и велели не расходиться. Далекое не отлучаясь, я стал высматривать знакомых. И почти сразу углядел эстонца Сима Мандре. Попросил: найди Дунского, он тут работает нормировщиком Шахтстроя, скажи, что я приехал.

Этого Сима я знал по Ерцеву. Там был еще и Ной, еврей по фамилии Гликин, так что кто-то сострил: Ной у нас есть, Сим есть, хамов много – только Яфета не хватает. Вот я и запомнил его имя и фамилию. А он мою нет. Сходил, отыскал Юлика и сказал:

– Иди карантинный барак, твой кирюкха приехал. Такой длинный, отьках.

Юлик не сразу пошел: почему-то он подумал, что “длинный кирюкха в очках” это Виктор Луи, к которому симпатии не ис-

пытывал. Потом всё-таки решил сходить посмотреть...

Два дня и две ночи мы с ним говорили без передышки. Ну, не совсем так: на обед и на ужин всё-таки ходили – порознь. Говорил больше он, у меня из-за ларингита совсем сел голос. Мы не виделись пять лет, только переписывались – и вот такой, как говорили в старину, подарок судьбы.

В тюрьме и лагере многие безбожники становятся верующими. Со мной этого не случилось. Но когда я вспоминаю историю нашей с Юликом дружбы, все трудно объяснимые случайности, все неожиданные, неправдоподобные встречи – нет-нет,

а придет в голову мысль: а может быть, и правда есть бог?

Мы проучились в одной школе семь лет, а познакомились только на восьмой год. Он был в классе “А”, а я в “Б”. Правда, и ему, и мне математичка Надежда Петровна говорила:

– Вот есть у меня в классе “Б” такой Валерик Фрид (или, соответственно, “в классе “А” такой Юлик

Дунский”). Тоже царапает, как курица лапой, тоже на полях рожницы рисует. И кляксы такие же...

Познакомил нас на переменке общий приятель. И мы с ходу стали ругать только что увиденную картину “Дети капитана Гранта”. Там играл Яша Сегель. Он был на класс младше нас и жил с Юликом в одном доме. Хорошо помню объявление в “Вечерке”: Мосфильм искал мальчиков английского типа на роль Роберта Гранта. Яшина мама была ассистентом на этом фильме; по странному совпадению, самый английский тип оказался у ее сына. Юлика она тоже водила на фотопробу – просто, чтобы бесплатно сфотографировался.

Нас, знатоков Жюль Верна, особенно возмущали отступления от канонического текста. Мы даже решили написать пародию на этот сценарий; разошлись по домам и написали – каждый свою. Назавтра прочитали друг дружке, давясь от хохота,





Фотопроба на роль Роберта Гранта —  
Ю. Дунский

а после уроков пошли домой ко мне — писать третий вариант уже вдвоем. Так началась наша кинодраматургическая карьера.

Но тут выяснилось, что мой класс “Б” переводят в другую школу, новостройку. А класс “А” остается в старой 168-й. (Раньше она была 27-я, а еще раньше — “12-я им. декабристов”. Моя не очень образованная родственница удивлялась: декабристов? Наверно, октябристов?.. Теперь там “полтинник” — 50-е отделение милиции.)

Расставаться нам не хотелось. Юлик пошел в мою новую школу, никому ничего не сказав, и сел со мною за одну парту. Недели две учителя его не замечали. Потом заметили, удивились: а ты, мальчик, откуда взялся?

Как ни странно, в те очень недемократические времена бюрократии в школе было куда меньше, чем теперь. Юлика даже не заставили писать заявление; просто позвонили в 168-ю и попросили переслать документы в 172-ю. Так мы и доучились до десятого класса. Вместе редактировали школьную стенгазету, вместе руководили драмкружком. Актерских способностей ни у него, ни у меня не было, но оба играли и в “Интервенции”, и в “Очной ставке”. Учились одинаково плохо. Нам предрекали: не

кончите ведь школу! Кое-как кончили: мне помогла сломанная челюсть. (Баловались, я свалился в подвал; мне поставили “шину” — приковали алюминиевой проволокой верхнюю челюсть к нижней — и освободили от экзаменов.) По всем гуманитарным предметам мне поставили пятерки — я думаю, почти заслуженно. А по всем точным наукам из жалости выставили тройки.

Вот с продолжением образования было посложней. Тогда на приемных экзаменах во все, даже самые что ни на есть гуманитарные, вузы надо было сдавать математику и физику. А может, и химию. Этого мы бы не осилили.

И опять везенье! Вышел новый закон, по которому после десятого класса мальчиков забирали в армию. Мы обрадовались: призыв осенью, а значит всё лето можно жить в свое удовольствие, не думать об институте, не готовиться к экзаменам. Юлик со старшим братом Виктором впервые в жизни поехал к морю, в Коктебель, а я бездельничал на даче в Малаховке.

Правда, в начале лета, в электричке, у нас случился такой разговор с соседом: он слышал, как мы обсуждаем сборник американских сценариев.

— Вы, как я понял, окончили школу? А куда думаете поступать?

Мы объяснили, что никуда: идем в армию.

— Жаль. Вам надо бы во ВГИК. Я б мог помочь, я Плотников.

Плотников был замечательным актером-вахтанговцем; снимался он и в кино.

— Тот Плотников?! — спросили мы почтительно.

Сосед как бы засмутился:

— Какой это тот?

— Тот, тот, — сказала его жена.

И мы на минуту огорчились: так хорошо он рассказывал нам о ВГИКе... Не судьба!

И вдруг в августе меня повесткой вызывают в военкомат. Там куча ребят, и все в очках: оказывается, изменили медицинские требования к призывникам, и всех, у кого больше четырех диоптрий, от армии освобождают.

У нас с Юликом было по четыре с половиной. (Все размеры у нас совпадали, кроме обуви: я мог носить его ботинки, а мои были ему малы.)

Тем летом – словно специально для нас – отменили экзамены по точным наукам в гуманитарных вузах. Наши шансы поступить очень выросли – но, к сожалению, во всех институтах уже закончились приемные испытания. Только один-единственный вуз перенес их на сентябрь – Всесоюзный Государственный институт кинематографии, ВГИК!

Он переезжал из здания бывшего “Яра” (где сейчас гостиница “Советская”) на новое место, к Сельхозвыставке. В Коктебель пошла телеграмма: “Выезжай готовиться в вуз”. И хотя телеграфистка перепутала, написала “готовиться в ус”, Юлик всё понял правильно.

Приехал, мы спешно подготовили вступительные работы: он перевод стихотворения, и я перевод стихотворения (он – Гейне, я – Бернса); он экранизацию рассказа О. Генри, и я экранизацию рассказа О. Генри... Мы прошли по конкурсу – и в институте, в отличие от школы, учились хорошо. Но не успели мы сдать экзамены за первый курс, как началась война.

Всем курсом поехали на трудфронт: копать эскарпы, контрэскарпы и противотанковые рвы в Смоленской области, под Рославлем. Нас вернули в Москву за день до немецкого наступления. А в октябре немцы уже подошли к самой Москве.

Похоже было, что столицу сдадут: еще раньше из Москвы эвакуировали все важные учреждения и предприятия, а теперь отгоняли подальше весь вагонный парк, вывозили на грузовых платформах московские троллейбусы.

У Юлия на руках была очень больная мать – астматичка, да еще почти слепая. Отец нашего однокурсника Игоря Пожидаева\* руководил эвакуацией своего наркомата. Сотрудников с семьями грузили на пароходы и по каналу Москва–Волга отправляли в Ульяновск. Игорь добыл два билета – для Юлика и его мамы. Юлик тут же их потерял и стеснялся пойти попросить дубликаты – но я его заставил. Сам же я решил пока остаться и посмотреть, что будет. Семнадцатого числа я увидел пожарную машину, груженную

чемоданами, узлами и матрасами. Подумал: ну, дело плохо, это последний звонок – пора удирать.

Набил едой один рюкзак, обувкой второй – даже “гаги” отвинтил от конёчных ботинок. Один рюкзак на груди, другой на спине, обе руки свободны. И пошел на Казанский вокзал, чтобы отъехать на электричке хотя бы до Раменского, километров пятьдесят. А дальше можно пешком – как мой отец, когда уходил под бомбежкой из Минска.

Вот тут-то и выяснилось, что электричек уже нет – угнали на восток. Зато стоял готовый к отправке эшелон с эвакуированными. Я нахально влез в теплушку, набитую людьми так плотно, как и гулаговские краснухи не набивались зеками. Куда повезут, никто не знал. Поехали потихоньку... На какой-то станции я увидел поезд “Москва–Казань”; двери вагонов были заперты изнутри. Но я уцепился за поручень и на подножке отправился к Мише Левину – он с родителями был в Казани\*\*.

Из Казани, так же зайцем, я поплыл на пароходе в Куйбышев – там была Военно-медицинская академия, где работал мой отец. А по дороге, в Ульяновске, увидел у причала пароход – кажется, “Профессор Мечников”, – который увез из Москвы Юлика с мамой. Побежал искать их, но не нашел. Еле вытащил ноги из черной и вязкой, как вар, ульяновской грязи и двинулся дальше, к своим.



Юлик Дунский с мамой Минной Соломоновной.

В Куйбышеве – нечаянная радость. Моего отца разыскал Юлик, чтобы узнать, что со мной, и рассказать о себе. Они с мате-

рю пробирались в Чкаловск – в тамошнем госпитале лежал мамин брат полковник Иоффе, тяжело раненный\*\*\*. (Мы обнялись на прощанье – как тогда, на Лубянке – когда еще доведется увидеться?)

Через пару дней произошла еще одна неожиданная встреча: увидел на улице Валентина Морозова, однокурсника. Он эвакуировался вместе со ВГИКом. До Куйбышева ребята путешествовали в тех самых троллейбусах, которые уехали из Москвы на грузовых платформах. Институт направлялся в Алма-Ату. В Куйбышеве ВГИКу дали целый вагон – пассажирский, бесплацикартный.

Я простился с родителями и поехал дальше с ребятами.

По дороге мы подобрали еще двух гиковцев – студентку и преподавателя; а когда выгрузились на станции Алма-Ата-1, я увидел еще издали знакомое бежевое пальто с черным мазутным пятном на ягодице: это Юлик в Куйбышеве присел отдохнуть на шпалу.

Я побегал, догнал его – и вовремя; в его паспорте уже стоял лиловый штамп: “эвакуируется в Усть-Каменогорск”. Оказывается, в госпитале у дяди Миши они встретились со вторым братом Минны Соломоновны, Ароном. И решили путешествовать дальше втроем.

Я категорически потребовал, чтобы Юлик остался с нами. Будет учиться, а мама пускай едет в Усть-Каменогорск, дядька присмотрит за ней. Минна Соломоновна горячо поддержала мою идею, но Арон – не лучший из ее братьев – был не в восторге. В письме из Усть-Каменогорска он потом спросил Юлика: “Как поживает твой пройдоха Фрид? Он пройдоха, это точно”... Точно-неточно – но теперь-то я понимаю, что только эгоизм молодости не дал подумать, какую ношу я взваливаю на чужого мне человека. По счастью, все обернулось хорошо, и Юлик ездил из Алма-Аты в Усть-Каменогорск навещать маму.

В эвакуации ВГИК оставался до осени 1943 г. В октябре мы вернулись в Москву, новый 44-й год встретили со старыми друзьями – и с ними же чуть погодя угодили в тюрьму. После бутырской “церкви” наши с Юликом дорожки разошлись. Домой он писал не обо всех своих приключениях – не хотел, чтоб волновались. А волноваться были причины.

В первом же лагере, куда он попал, на него полез с топором приклатненный собригадник. Юлик топор отнял, отбросил и как следует отметелил этого типа. Силенки набрался в Бутырке, на передачках, а храбрости ему хватало: у Дунских это семейное. Всегда вежливый и мягкий, он впадал прямо-таки в берсеркерскую ярость, если его оскорбляли – его или кого-то из близких. Как тогда полез на топор, мог и на танк попереть.. Уже после лагеря, в Москве, наш сосед по дому Фимка, будущий американский писатель Эфраим Севела, очень точно определил: у Юлика мягкости – на один миллиметр.

Эта твердость характера была его главной опорой в лагере: передач из дома он не получал. Отец к этому времени умер, мать была совершенно беспомощна, а брат Виктор отрекся от него, узнав, по какому пункту пятьдесят восьмой статьи Юлик получил срок. Отрекся не по трусости: в первые дни войны он ушел на фронт добровольцем, хорошо воевал, был ранен и снова воевал. Но Виктор Дунский был идейный коммунист, в партию его приняли чуть ли не семнадцать лет от роду; и он совершенно искренне считал своего любимого младшего брата врагом народа. А раз так, то следовательно... Какая-то дикая слепота – хуже, чем глаукома Минны Соломоновны. Черная магия сталинизма.

К чести Виктора, надо сказать, что всё поняв – но только после XX съезда, как и многие такие же, – он трижды приходил к брату каяться. Два раза Юлик прогнал его, но на третий простил. И никогда не вспоминал об этой позорной странице их семейной хроники...

Чувство собственного достоинства привлекало к Юлию самых разных людей. В первом его лагере – это было в Курской области – вольный прораб обратил внимание на несуетливого молодого человека в очках. Подошел, поговорил – и назначил десятником. А в подчинение ему дал военнопленных немцев. Там рядом с их лагпунктом был асфальто-битумный заводик, на котором вместе с зеками работали военнопленные немцы и мадьяры. Их положение было получше, чем у з/к з/к: их кормили не “по нормам Гулага”, им давали армейский паёк, такой же, как своим.

Юлик вспоминал меланхоличного не-

мецкого генерала с железным крестом на мундире. При нем состояли два его прежних адъютанта. Этим жилось совсем недурно: все трое не работали, читали, беседовали. Иногда и Юлик со своим небогатым запасом немецких слов принимал в их беседах участие.

Там же он оказался свидетелем необычного – и похоже удачного – побега. Бригада заключенных ремонтировала полотно железной дороги. Раздалась команда: всем отойти в сторону!

По соседнему, только что отремонтированному пути медленно шел воинский эшелон. Это возвращались по домам победители. Двери теплушек были открыты – жара... В одном из вагонов ехали моряки; радовались жизни, горланили песни. Проезжая мимо зеков, приумолкли. И вдруг от костра, на котором разогревали битум, к эшелону поскакал на костылях одноногий инвалид, морячок. Он махал бескозыркой, кричал:

– Братишечки! Я свой, я с Балтики... Не дайте пропасть!..

– Стой! Куда попер? Стрелять буду! – орала конвоиры. И действительно стреляли – в воздух. Не палить же им по своим?.. Морячок бросил костыли, скакал вдоль вагонов на одной ноге. Из теплушки, где ехали матросы, протянулись руки – наверно, с десятков рук – и втащили его в вагон. Поезд набрал ход и ушел, увозя беглеца. Возможно, его и не очень-то искали: кому инвалид особенно был нужен?.. Сошел на какой-нибудь станции и потерялся в людском месиве.

Этот эпизод, ничего не прибавив к рассказу Юлика, мы с Миттой воспроизвели в “Затерянном в Сибири”.

В тот курский лагерь Юлий попал вместе с нашим однодельцем Шуриком Гуревичем. Но очень скоро их сравнительно безбедная жизнь кончилась. Шурика отравили в Коми, в Устьвымлаг (где, кстати сказать, он познакомился и подружился с хорошими и значительными людьми – Евгением Гнединым, Львом Разгоном), а Юлик уехал в Кировскую область.

Вот там ему пришлось туго. Я уже упоминал о жутком лагпункте, где смертность составляла 120%. Юлик “доходил”, несколько раз он попадал в стационар. Но

каждый раз приходили на выручку друзья – новые.

С нежностью он вспоминал Линду Партс – пожилую, как ему тогда казалось, интеллигентную даму, жену какого-то крупного деятеля досоветской Эстонии. Линда работала в хлеборезке и опекала Юлика прямо-таки по-матерински. Её фамилию мы дали симпатичному эстонцу в “Красной площади”. Вдруг увидит, вспомнит, отзовется? Хотя Юлик понимал: надежды на это мало.

Таким же способом мы пытались отыскать еще одного его друга – Сашу Брусенцова, геройского парня, бывшего лейтенанта. Его имя, отчество, фамилию и даже воинское звание мы присвоили одному из героев фильма “Служили два товарища” – поручику Александру Никитичу Брусенцову. И тоже – ни ответа ни привета. Скорей всего погиб: очень рискованный был мужик; он даже подбивал Юлика на побег, но тот его отговорил. Куда бежать? Побег не для тех, кто дорожит семьей, родными, друзьями. Пускай босяки бегут – им терять нечего. Понимаю – спорная позиция. Но мы с Юликом так считали оба... Тогда он Сашку отговорил, а что было потом – этого мы не знаем.

Именно из-за Брусенцова, чтобы не выдавать его – не помню уже, в чем там было дело, – Юлик попал в тот карцер, где резал себе вены. Опер и это поставил ему в вину, грозил: будем судить за саботаж, дадим 58. 14.

Драться Юлику пришлось и в кировском лагере. Но первая же драка создала ему репутацию непобедимого бойца – так удачно подбил он своему противнику оба глаза. Они сразу заплыли, даже щелочек не осталось. И побежденного повели под руки – как слепого – в лазарет. По лагпункту прошел слух: боксер приехал. С ним старались не связываться.

Правда, тамшний “старший блатной” решил проверить, есть ли у боксера душок. Дело было на кухне, на ночном дежурстве (Юлика после болезни взяли в контору). И вот этот Шурик стал задирать его, издеваться над его боксерской славой. Блатарь нарочно распаллял себя. Начал со спокойного: “Боксер хуев, я тебя в рот ебу”, и завелся до истерики; испытанный воровской прием, на фраеров действует устра-

шающе. Юлик эту игру понимал, но понимал и другое: стоит сейчас спасовать, жизни не будет. Не торопясь, взял со стола тяжелый секач и пошел на своего обидчика. Он не блефовал. Решил: будь что будет, всё равно нехорошо... И вор – хороший психолог – дал задний ход. Засмеялся, сказал:

– Ты чего, в натуре, шуток не понимаешь? Не бери в обиду, Юрок.

(Непривычное имя “Юлий” в лагере превратилось в “Юрий”, отсюда и Юрок.)

С этим Шуриком, серьёзным взрослым вором, со временем сложились почти дружеские отношения. Беседы с ним очень обогатили познания Юлика в области блатной этики и воровского языка.

Наладились отношения и с “малолеткой”. Как именно – об этом я уже писал. Более того: столкновение с ворёнком по кличке Ведьма в слегка измененном виде вошло в фильм “Затерянный в Сибири” – как и многое другое из рассказанного тогда Юликом.

А на память о самом трагическом происшествии, свидетелем – да нет, можно сказать, участником которого он был, Юлик долгое время хранил гильзу от винтовочного патрона. Напомню: одно время он был учетчиком на лесосплаве и ходил на работу с бригадой малолеток. В зону они возвращались вместе с другими бригадами. Торопясь в голодном нетерпении к вечерней каше, малолетки обгоняли взрослых, колонна растягивалась – в ней было много “фитилей”, которые не могли идти быстро. В тот день конвоиры несколько раз переставляли мальчишек в хвост колонны – а они, отчасти из озорства, снова пробирались вперед. У конвоя лопнуло терпение.

Поиграв затвором винтовки, вохровец пригрозил:

– Еще хоть раз нарушите строй, стрелять буду.

– Пацаны, не бойтесь – заорал сосед Юлика по шеренге. – Нету у них прав стрелять!

– Ах нету? – Конвоир вскинул винтовку и с шести шагов всадил мальчишке пулю в лоб. Тот рухнул без звука; из-под телогрейки выкатилась алюминиевая миска с выцарапанной на дне надписью: “Повар помей совесть”. Юлик нагнулся подобрать

её. Заодно подобрал еще теплую гильзу и незаметно сунул в карман. А вохровец сказал злобно:

– Не хотели идти медленно, теперь три часа будете стоять.

И стояли – ждали начальства. В конце концов оно явилось; пацаны загалдели:

– Без дела шмольнул! Век свободы не видать!.. Теперь срок получит!..

– Отпуск получит, – сказал в ответ офицер. – Внеочередной, за образцовое несение...

Но не только эти воспоминания сохранил Юлик о своем втором лагере. Я уже говорил: и там были друзья, были веселые минуты. Случалось и такое: кто-то из жуковатых вбил в забор, огораживающий лагерный сортир, большой гвоздь – изнутри. Ошивался около и ждал, когда придет кто-нибудь из латышей или эстонцев: эти ходили еще в привезенных из дому длинных пальто. Сидеть над очком в пальто очень неудобно – а тут такой подходящий гвоздь! Дурачок-прибалт вешал на него свое пальто. Дождавшись, пока он спустит штаны и займется делом, хитрован хватал добычу и удирал. Все, кроме обворованного, очень веселились...

С этим же отхожим местом связан и другой случай – скорее грустный, чем смешной. Следить за чистотой в сортире поставлен был доходяга-японец из военнопленных. Юлик оказал ему какую-то мелкую услугу, когда работал в конторе, и японец не знал, чем отблагодарить. Наконец придумал: когда Юлик зашел в уборную, японец подхватил его под локоток и с поклоном подвёл ко второму от края очку: оно, по его мнению, было лучше других.

(Японцев и в Минлаге было несколько. Они как-то не по-нашему кланялись – короткими наклонами совершенно прямого туловища. И при этом то ли присвистывали, то ли пришипывали сквозь оскаленные в улыбке зубы: с-с-с!.. Мы с Юликом вспомнили дореволюционный вежливый словес: “Позвольте-с! Прошу-с!”)

### Примечания автора

\* Игорь стал в войну корреспондентом армейской газеты. Надел офицерские погоны, вступил, скорей всего, в партию – но вот ведь, не побоялся написать мне в мой первый лагерь прекрасное письмо, полное тревоги и сочувств-

вия. Писал, что ни одной минуты не верит в нашу виновность, спрашивал, не надо ли чего прислать? Я не ответил и просил маму объяснить Игорю, что незачем ему рисковать, больше писать не надо... Еще одно письмо я тогда же, в 45 году, получил от вживовки, очень милой девочки Вали Ерохиной (потом она вышла замуж и стала Яковлевой). Она писала о себе, о новых подругах, рассказывала об институтских новостях. "Есть женщины в русских селеньях!" И мужчины... Валечке я тоже не ответил – из тех же соображений, что и Игорю.

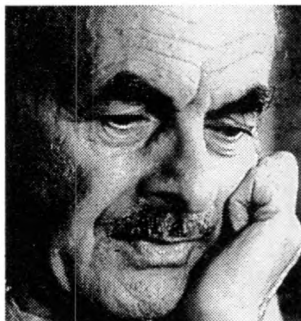
\*\* В Казань эвакуировали Академию наук; Мишина мать была членкорром. Мишка божился, что президент Академии, когда благодарил городские власти за гостеприимство, закончил речь таким пассажем: "А ведь, как

говорится, незванный гость хуже татарина!"

\*\*\* С дядей Мишей (Моисеем Соломоновичем) я познакомился через год. Ранение у него было нетривиальное: пуля попала в шею – сзади – и вышла через рот, выбив половину зубов. Полковник был профессиональным военным, артиллеристом, и очень храбрым человеком. Не думаю, чтобы он повернулся к неприятелю спиной. Вероятней всего, стреляла в него какая-то сволочь из своих: такое на фронте случалось.

\*\*\*\* Совсем из других соображений мы в трех сценариях поминали стукача Аленцева – называли по имени-отчеству, говорили всякие нелепые вещи (о персонаже, но в надежде, что и прототип услышит). И все три раза именно этот эпизод выпадал. Фатально. Не надо быть злопаятными?

## АНОНС



...Грянул выстрел. На червонном тузе вспыхнула дырочка. Пушкин подбросил пистолет. Взял другой, прицелился. Он сидел в своей комнате на полу, по-турецки. В халате. пистолеты лежали рядом.

– Смуглый хорош для боя, – сказал он, целясь, – бледнолицый – для девицы... – и выстрелил.

Никита молча перезаряжал пистолеты.

– А что, господин Козлов, не спрашивал ли меня один такой в коричневом сюртуке, с лорнетом? ..

– Какой такой? – нахмурился Никита.

– Молодой, – сказал Пушкин, снова поднимая пистолет, – не улыбающийся... Не назывался ли он Онегиным?

– Вроде бы не было, – сказал Никита.

– Смуглый хорош для боя, белолицый – для девицы, – скороговоркой произнес Александр Сергеич и выстрелил. Третья пуля вошла в сердце туза... – Если спросит, ты ему не сказывай, где я... Я боюсь его, слышишь?

...Александр Сергеич повязывал галстук перед круглым зеркалом с трещинкой посредине.

– Я его страдать заставлял, – сказал он. – Теперь все ему не так... Это по моей вине... – и тихо: – друга своего он убил...

Никита усмехнулся незаметно.

– Если он меня найдет – убьет... – сказал Александр Сергеич.

– Да ну вас, – сказал Никита.

Пушкин засмеялся, выглянул в окно. И тотчас Онегин возник в тени платана. Стоял и рассматривал Пушкина в лорнет.

– А, – сказал Александр Сергеич, – да вот же он!

Читайте в следующем номере  
сценарий Булата Окуджавы  
при участии Ольги Арцимович  
"Частная жизнь Александра Сергеича,  
или Пушкин в Одессе".

**Василий Аксенов**



**ПЕРВЫЙ ОТРЫВ ПАЛМЕР**

Художник Орлович сидел в своей студии, что за старой стеной Китайского Города окнами на Большой театр. На дворе в декабре 1991 года подыхал советский коммунизм. У Орловича, между тем, завершалось нечто лиловое с багровым подтеком, надвигалась грозовая синева со свинцовым подбрюшием, новый прибор акриловой революции.

В мрачноватой студии сполохами самовыражался телевизор. Страшный, как леший, рок-звезда Кьеркегоренко вопил уже привычное: "Красная сволочь, вон из Кремля! Вон из Кремля, стонет земля!" От плиты через всю студию тянулся запах индейского петуха: подруги Орловича, Муза Борисовна и Птица-Гамаюн, готовились к приему гостей по случаю окончания лилового и начала синего.

Задрожала оцинкованная дверь, в нее явно били ногой. Прежде бы подумал непременно Орлович: "Пришли гады", хотя никогда никаких особых поводов "гадам" приходиться не давал, за исключением знаменитого дерзновеннейшего своего прыжка в лопату бульдозера "Беларусь" осенью 1974 года. Желто-зеленый шарф его тогда развевался над разгоняемой выставкой "модернистов", пока не был сброшен вместе со всем остальным в канаву.

Ну теперь-то, после августовских баррикад, "товарищам" не явиться, подумал Орлович, однако дверь продолжала трястись, словно и впрямь под сапогом гегемона. Орлович при помощи своих длинных рычагов вылез из продавленного дивана и приоткрыл дверь. Вместо сапога в мастерскую просунулась босая нога. Гегемон обернулся деклассированным соседом Чувакиным. "Ты чего, Модест, закрываешься? Колбасу что ли жрете?" Он прошел внутрь, распространяя противный запах винегрета, сродни блевотине.

Орлович увидел себя вместе с Чувакиным в скособоленном зеркале XIX века. Друг друга стоим, подумал он. Экая гнусная неряшливость лиц, волос, гардероба. А ведь у меня есть два хороших костюма, бритвы, одеколон, чтобы как-то отличаться от Чувакина.

"Ничего починить не надо?" – спросил сосед, заглядывая почему-то за зеркало. Всему дому было известно, что Чувакин, при всей его внешности "русского умельца", никогда ничего починить не мог и не хотел и что главным его делом было – всосаться в среду, чтобы там прохалавиться, потому-то всегда и являлся с предложением чего-нибудь починить.

"Вам что, Миша, нужно в данный момент?" – спросил Орлович. "Немка там какая-то пришла, Модест, ты бы мог покалякать", – сказал Чувакин.

"Это что-то новое у вас, какая еще немка?" – удивился художник.

Миша Чувакин рассказал короткую историю. В принципе, он уже спал, поев лапши с курятиной. Как этот вот рок-фестиваль начался, так он и замкнул на массу, даже Смарагду блядскую вырубил из сознания. Скажи, Модест, что с похмелья, и как раз ошибешься! Просто устал, до утра в бригаде работал по разборке памятника Калинина Михал-Ваныча, всесоюзного старосты. Как это к чему такие подробности, Модест? О чем людям меж собой говорить, если не о подробностях?

Налив себе небрежно из початой бутылки стаканок "Пшеничной" и махнув его как бы между прочим, будто и не за тем пришел, Чувакин продолжал. Стук



какой-то услышал он сквозь сон, какой-то ненашенский, в общем участковый так не стучит. Смарагда блядская пошла открывать и вернумшись с немкой. Такая баба молодая, далеко не развратной внешности. Хроменькая англичаночка, будто цветок, ну, немка. Дрожит и протягивает ребенка в голубых ленточках.

Вот вам и диккенсовская история в китайгородской интерпретации, подумал Орлович. Близится Рождество, хроменькая немочка-голландочка с ребенком в голубых ленточках. Москва, безвластие. “Не сворачиваете ли вы, Миша, на тропу мифов?”

Чувакин вдруг ужасно обиделся. Он соседа по-дружески называет, Модест, а тот все время на официальные переводит: Миша. Хули-ш-ты, Модест, как не свой, как будто не сосед, “вы, Миша”? К тебе приходят за помощью, чтобы перевел слова матери-одиночки, а ты как с алкоголиком, на вы. Плеснув себе еще полстакана “Пшеничной” и с той же небрежностью, как будто совсем не придавая главной влаге своей жизни никакого значения, ее употребив, деклассе Чувакин потопал к двери. Какие ленточки, говоришь, какой ребенок? Смотри сам!

Орлович теперь своими глазами видел на лестничной площадке англичанку, если не немку или не шведку в черном пальто-дутике и в теплых наушниках на удлинённой голове. Руками в огромных, тоже “дутых”, перчатках она прижимала к груди основательный пакет, перевязанный синим шнуром.

Это была некая Кимберли Палмер из города Страсбург, штат Вирджиния, США, просим не путать со страсбургским пирогом в центре Западной Европы. Ей было 29 лет. По каким-то непонятным причинам, всякое упоминание России вызывало у нее еще в детстве спазм мышц горла и набухание слезных желез. Эта странная эмоциональная реакция привела ее на русскую программу в университете “Вандербилд”, что в городе Нешвил, Теннесси. Там она волновалась целый семестр, пока брала курсы по географии и истории России, ну, а на курсе по Достоевскому совсем потеряла покой. Дошло до того, что однажды ночью “руммэйтс”, то есть сожители по студенческой квартире, сбежали в ее спальню, встревоженные рыданиями: это Палмер читала “Неточку Незванову” в переводе Эндрю Мак-Эндрю.

Быть бы ей отличной слависткой, если бы не пришлось прервать образования. Случилось так, что ее отец, мистер Палмер, очумев от бесконечной жизни в живописной долине Шенандоа, выкинул антраша в духе героев Достоевского. Не сказав ничего семейству, он перезаложил дом, забрал весь чистоган и свалил куда-то к чертям, может быть, даже в Лас-Вегас, в общем с концами. Мать, миссис Палмер, рухнула под тяжестью ежемесячных процентов, младшие братья одичали, и Кимберли, едва ли не повторяя подвиг Сонечки Мармеладовой, запродавалась в банк “Перпечьюэл” и так и засела там на годы в отделе автомобильных ссуд за цельностеклянным окном с витыми в старинном стиле буквами и с видом на перекресток города Страсбург: светофор, банк-конкурент “Ферст-Вирджиния”, аптека Макса и магазин гончарных изделий “Хеленс Поттери”.

В банке она преуспела, то есть к 27 годам стала завоём секции с окладом 32.000, что давало ей возможность даже и после выплаты процентов вести более-менее современный образ жизни. Все это время она продолжала считать себя студенткой престижного вуза, не забывала обновлять университетскую наклейку

на своем “шевролете”, а за мороженым у Макса нередко говорила Хелен: “У нас, в Вандербилде...” Два раза в неделю она ездила в Вудсток и там в гимназическом зале плясала аэробические танцы. Естественно, все карманные издания русских классиков оказывались на ее полке, а ночами кочевали по ее подушкам. По утрам она пробегала три мили вокруг сонного Страсбурга, а иногда и вечером пробегала три мили, а иногда и среди ночи пробегала три мили, а иногда ей и вовсе не хотелось останавливаться, лишь бы не возвращаться в отдел автомобильных ссуд. Естественно, во время бега в ее “уокмене” крутилась катушка с русскими фразами или с симфониями русских композиторов. “Эта Палмер вернулась из Теннесси совсем другим человеком”, – говорили о ней земляки. Мужчины не решались предложить ей “дэйт” и правильно делали: никто из них не напоминал ей ни Печорина, ни Гурова. В своем литературном селибате она, между прочим, начала уже несколько подсыхать, несмотря на сильное воображение.

Лучше всех ее понимала Хелен Хоггенцоллер, хозяйка популярной местной лавки, торговавшей своего рода гончарными достопримечательностями: горшками и вазами для ваших цветов, фигурками фламинго и сурков для ваших лужаек, ангелочками для ваших могил и вообще предметами хорошего вкуса, моя дорогая. Трехсотфунтовая Хелен в противовес тяжести своей плоти отличалась легкостью нрава, любознательностью и даже некоторой начитанностью. Свои сверхразмерные вещи она умудрялась носить с экстравагантностью, уже не говоря о том, что на груди у нее постоянно побрякивали керамические бусы, отражающие многовековую культуру шенандоаского племени индейцев, называвших себя “Созерцателями Луны”.

Пожалуй, только с Хелен наша героиня могла поговорить о страсти, о далекой стране, которую никаким компьютером не понять, никаким калькулятором не измерить, в которую можно только верить, верить, верить... В момент сильного спазма, волнения груди, увлажнения глазных впадин Хоггенцоллер сжимала руку Палмер и говорила ей о том, что сержант Айзек Айзексон, заместитель шерифа из Форт-Ройяль опять спрашивал о ней и вздыхал, как какой-нибудь твой, мой медок, Пушкин.

Именно в “Хеленс-Поттери” стал собираться женский клуб города Страсбург. Двенадцать или около того не худших представительниц этого основанного еще в восемнадцатом веке поселения с общим количеством душ, превышающим тысячу, по пятницам рассаживались среди керамики и бархатистых цветов понтессии, выставляли кто во что горазд, “браунис”, или “дэниш”, или домашние куклис с изюмом, или ведерочко паста-салата, а то и палочки сельдерея с морковкой в сопровождении густого, как вся местная традиция, соуса, нацеленного на погружение в него растительных предметов и приятного увлажнения процесса разжевывания. Если же разговор получался хороший, тогда, махнув на подсчет калорий, складывались по два доллара и посылали через дорогу, к Максусу, за сырным тортом. А разговоры нередко получались интересными, и заводилой почти всегда оказывалась Кимберли Палмер. Тетушки вздыхали, слушая ее рассказы о страданиях России, с удовольствием повторяли за ней интересные слова: “горбачев”, “крэмлин”, “кэйджиби”, “пэрэстройка”. Особенно им нравилось слово “гласноуз”, оно звучало превосходно, как прозрачная противоположность выражению “хардноуз”, то есть темному догматизму и тупости.

Именно там, в “Хеленс-Поттери”, возникла идея присоединиться к мировым

усилиям по оказанию гуманитарной помощи многострадальным россиянам. Давайте отправим им к Рождеству продовольственные посылки. Внесем нашу лепту. Подадим пример другим христианам, другим американцам, другим женщинам!

Начали собирать деньги, то есть, более принятым языком говоря, “поднимать фонды”. Газета “Голубой крест” сообщила о почине широкой публике. У витрины с горшками и вазами стали все чаще останавливаться машины. Кто давал доллар, а кто и два. Зам шерифа Айзек Айзексон пожертвовал 30 баксов, то есть сумму, достаточную для покупки шести шестибаночных упаковок пива.

Эта удивительная деятельность так увлекла Палмер, что она теперь стала выбегать из дома не иначе как с шикарной улыбкой на устах. Как вдруг произошла неприятная сенсация: вернулся “дядди”, то есть ее грешный папаша собственной персоной. Он выглядел теперь, как половина того замечательного, второго в графстве катальщика шаров и продавца главного предприятия “Антик Эмпориум”. Извинившись перед семейством за причиненные неприятности, этот неопределенного возраста и странной легкости человек пояснил, что целью его приезда является не возобновление совместного проживания, а восстановление прав на бесплатное, или почти бесплатное умирание в больнице штата. Спокойно, девочки и мальчики, без паники! По сути, он уже зарегистрировался в госпитале, а в старый дом завернул лишь за своей коллекцией бейсбольных карточек, чтобы перебрать их в процессе умирания.

Кимберли была потрясена удивительными качествами этого, почти неузнаваемого, своего “дадди” и привязалась к нему на весь остаток его жизни, то есть на пятнадцать с чем-то дней. Папа страдал, но не переставал улыбаться в ожидании болеутоляющих. Фармакология погружала его в почти блаженное состояние. Он брал руку старшей дочери и продолжал улыбаться, то ли вспоминая что-то для себя совсем неплохое, то ли путешествуя уже в каких-то околосемных сферах. Умер он в превосходнейшем настроении, даже вроде бы насвистывая что-то из эпохи биг-бэндов.

Потрясенная Кимберли стала теперь пробегать уже не три мили за раз, но все шесть. Волочась за ней, витала над спящим Страсбургом Пятая симфония Чайковского. Ночные небеса, казалось, отражали счастливую улыбку отчавившего отца. Айзек Айзексон нередко сопровождал ее в своем патрульном автомобиле. Сдерживая слезы, он говорил ей о групповой терапии в области преодоления сексуальной сублимации, о планомерном увеличении будущей семьи, о балансировании бюджета.

Как-то раз под утро бегунью перехватила дружеская рука Хелен Хоггенцоллер. Оказалось, что “Поттери-клуб” на последнем заседании решил выделить из своей среды представителя для сопровождения гуманитарной помощи в Москву. Этим представителем, конечно, оказалась Палмер. Можно ли после этого называть наше время воплощением меркантилизма?

В самом деле, окиньте взглядом арену мировых событий, и вы найдете там все что угодно: бандитизм, садомазохизм, романтическую жестокость, лицемерие и сострадание, огромное количество какого-то экзальтированного идиотизма, довольно веселое, хотя и вдребезги подлое мошенничество, но уж никак не проявление здравого смысла и сопряженного с ним меркантилизма. Люди какими-то миллионными кучами совершают безрассудные поступки, живут не по средствам государствами и в одиночку, они способны за три дня разру-

шить социализм или швырнуть на ветер три десятидолларовые бумажки. Только лишь Китай планомерно наращивает экономический потенциал без сожаления об убитых для этой цели студентах. Однако то, что касается Китая, не относится к остальному человечеству.

Итак, это была именно 29-летняя девушка Палмер с пакетом гуманитарной помощи, принятым деклассифицированным трудящимся СССР за сверток с младенцем. Таких пакетов у нее в багаже было тридцать. Не так уж много для спасения основательного государства, но главное – почин! Если от каждой тысячи западных христиан придет по тридцать пакетов, то ведь из одних только США это будет семь с половиной миллионов! Надо ли говорить, в какой экзальтации подлетала наша русофилка к Москве.

Вожделенный город в первые же минуты знакомства поразил ее своими запахами. Обладая чуткими ноздрями человека, выросшего среди довольно негадких ароматов долины Шенандоа, Палмер сразу же уловила основное: смесь мочи и дезинфекции. Это основное, впрочем, постоянно обогащалось, в зависимости от обстоятельств, элементами массированного пота, повсеместной гнильцы, химического алкоголя, перегаром автомобилей, – словом, всем букетом агонизирующего коммунизма. Она ловила себя на странном ощущении: в таком запахе, казалось ей, как-то неловко предаваться обычным человеческим делам. Надо просто стоять и ждать, пока он улетучится.

Номер для нее был зарезервирован в огромном отеле возле Кремля. По бесконечным коридорам постоянно шло множество людей. Из окон Палмер видела широкую реку с закопченным льдом и чудовищное здание с шестью адскими трубами и могучими буквами по фасаду. Едва лишь она прочла слово “Ленин”, как в номер вошли две толстые женщины и принялись пересчитывать полотенца, наволочки и пододеяльники. Забившись в угол, Палмер смотрела на вялое воплощение “русскости” в грубых и порочных чертах этих двух представительниц. “Где ваше второе полотенце?” – спросили тетки, но, увидев расширенные глаза приезжей, махнули рукою: “Э, ни бельмеса не понимает!” Поглубже всмотрелись и добавили: “И денег, небось, нет у этой мымры. На гроши катаются!”

С первым, пробным, пакетом гуманитарной помощи Палмер вышагивала мимо Кремля. Здесь было гораздо лучше, запах отстал. Мороз пощипывал щеки и нос. Увидев свое отражение в витрине ГУМа, она подивилась своей красоте. Высокая американка с пакетом гуманитарной помощи. Поражала густота толпы. Люди быстро шли, не обращая внимания на сказочную архитектуру окрестностей. На углу стояла девочка-подросток с плакатом по-английски: “We were deprived of all basic rights please help my family to survive”. Палмер протянула ей 25 рублей. Девочка показала подбодком на жестяную банку и презрительно отвернулась.

За углом вдоль тротуаров тянулись бесконечные очереди. Поражало количество меховых шапок, свидетельствующее о массовом избиении маленьких животных. В будущем надо будет начать здесь борьбу против меховых шапок! Она пыталась прислушиваться к русской речи. Иногда долетало нечто, будто бы с китайского факультета, незнакомый хриплый выдох на “ху”. Вообще-то люди в очередях были неразговорчивы, казалось, они уже исчерпали все темы. У одного мужчины висела на груди дощечка с валютными знаками. Она услышала слово “кауфен” и шарханулась в сторону.

Вдруг она оказалась на крыльце, казалось, развороченном землетрясением. Из дверей со скрипом вытаскивали детскую коляску. Жилой дом. Палмер прошла внутрь. Пещера вестибюля, пропахшего кошачьей свободой. Поверх разбитого, вставшего коробом кафеля лежат доски. Будто пенсильванская шахта, зияет вход в длинный коридор. В этих трущобах, конечно, живут нуждающиеся. Вот сюда, в дверь под номером 7-а – и будет доставлен первый рождественский подарок из Страсбурга.

“Не открывай, не открывай, паразит!” – завопили внутри. Дверь открылась. Палмер показалось, что она попала в знакомое по кино ньюйоркское гетто: декласе Чувакин от многолетнего потребления бормотухи если не почернел, то основательно посизовел. Женка же чувакинская, Смарагда, или как там, была из литовских караимов, так что вполне могла сойти за пуэрториканку.

Палмер хотела нормально, по-русски поздороваться, но от волнения произнесла нечто несуразное: “Здравевичи!” Перепугавшись, стала тыкать пакет, как бы умоляя, чтобы не подозревали в дурных намерениях. Тут она заметила, что супруги босы и ротовые полости у них не в полном порядке. Едва не разрыдалась: бедные, бедные! “Тэйк ит! – бормотала она. – Инджой! Мэрри Кристмас!”

“Ну и мымра, – зевнула Смарагда. – Во, кадр! Ребенка, бля, хочет подбросить!”

“Ни хера ты не понимаешь, Смарагда гребаная, – весь от ушей до пяток прочесался Чувакин. – Это ж шведка, они все такие страшные. Пойду к художнику ее сведу, он по-ихнему сечет, я сам слышал”.

“Опять напьешься у художника! – завопила жена. – Домой не приходи, козел! Чтоб вас, всех козлов, на этом свете шахной накрыло!”

Чувакин с дипломатическим изгибом показывал путь. Лезли по лестницам. Дом когда-то был богат, подумала Палмер: кое-где еще виднелись мраморы, витой чугунок, осколки мозаики. “Мир Искусства”, – вспомнила она лекцию вандербилдского профессора Костановича. Залезли под самую крышу. Здесь, должно быть, гнездятся самые нуждающие. Этот самоотверженный босой человек подумал не о себе, а о других. Вот таковы глубины этих характеров. Из-за оцинкованной двери на верхней площадке вдруг донеслись совсем неплохие запахи. Похоже, на домашнюю готовку в День Благодарения.

Когда “англичанку” провели внутрь, Муза Борисовна и Птица-Гамаюн уже начинали накрывать на стол в дальнем углу пещероподобной мастерской. Как две мурты, торчали к кафедральным сводам ножки венгерской индейки. Благоухал первый противень пирога с вязигой. Над краями хрустальной чаши поднималась мягкая горка зернистой икры. Этот последний продукт был известен Палмер только по художественной литературе и в своем реальном воплощении так, кажется, и остался ею до самого конца рассказа неопознан.

Дамы с удовольствием продолжали вокруг стола свою созидательную работу. Обе они были, между прочим, большими московскими знаменитостями, останкинскими миражами, а также “лапочками” всего торгового и бластного племени. Для них не составило никакой проблемы, “работая лицом”, пройти через любую толпу в кабинет директора гастронома и добыть любой дефицит. И вот – везет же Модесту! – обе выдающиеся знаменитости разных поколений почему-то полагали своим долгом следить за тем, чтобы дом художника был “полной чашей”. И это несмотря на то, что чаша сия постоянно и похабно опустошалась богемным сбродом, собиравшимся по

ночам на этом чердаке, откуда видна была кучерская голова и спина основоположника марксизма Маркса, а также, если впериться в пьяные мраки, и квадрига Большого театра.

Модест Орлович знал полновесное английское предложение-вопрос: “Вэ ар ю фром?”, то есть “Вы откуда?”, и кроме того, немало еще отдельных слов, в основном существительных. Этот запас помогал ему объясняться с иностранцами в стиле “беспроволочного языка”, изобретенного еще итальянским футуристом Маринетти, то есть без глаголов. “Пэйнтер” – обычно представлялся он, похлопывая себя ладонью по груди. “Грэйт пэйнтер. Май хаус”, – следовал циркулярный жест, очерчивающий мастерскую. “Гэст гуд. Фрост, а? Раша. Уинтер. Вэ ар ю фром?”

Палмер, между тем, с восторгом глядя на высокого и тощего художника – ну просто воплощение князя Мышкина! – восклицала на своем вирджинском, добавляя иногда слипшиеся, как попкорн, русские слова. Вот что приблизительно получалось: “Я из Страсбурга, Вирджиния. У нас тоже бывает зима. Нет-нет, я не боюсь русски мэроуз. Я так счастлива, огромное спасибо! Значит, вы маляр, сэр, а этот ваш друг, босой джентльмен, очевидно, водопроводчик, не так ли? Это просто чудесно! Спасибо за костеприемство!”

Орлович немедленно и бодро отвечал: “Гуд. Фуд. Водка. Бир. Фак. Тэйбл. Чэар. Глас. Плэйт. Пэйтинг. Грэйт. Вуаля!”

Чувакин даже пасть раскрыл от восхищения. При нем развивался почти непонятный разговор на непонятном языке. “Про ребеночка спроси, Модест!”

Орлович двумя ладонями и подбородком спросил про синий сверток. “Чайлд? Чайлд? Мазер? Фазер?”

Палмер не успела ответить. Оцинкованная дверь распахнулась, чтобы больше уже в этот вечер не закрываться. Ввалилась толпа каких-то румяных и пьяных. Поражала взволнованная искаженность лиц и изысканность одежд. В кучу сваливались дизайнеровские пальто с пелеринами, разматывались многоцветные шарфы. Целая команда голенастых девок. Жирноватые сицилианцы. Большой русский молодец, под косматым жилетом голая грудь с крестом. Все говорили разом, никто не слушал друг друга.

“Где мне положить пакет с гуманитарной помощью?!” – спросила оробевшая Палмер. Ей никто не ответил. Рапсодия поцелуев. Мужчины всасывали друг у друга часть плохо бритых щек. Женщины прижимались к хозяину лобками, что, очевидно, заменяло у них рукопожатие. Кажется, они все уже пьяны, а на столе еще бутылок, что кеглей в кегельбане. “Да вы все уже бухие, банда!” – счастливо кричал Модест. “А ты догоняй, гениуша наш гениальный!” – русский красавец, схватив хозяина за бородку, совал ему в рот бутылку шампанского. Разлетались брызги пеной. Одна увесистая капля попала Палмер прямо в лоб. Голова закружилась, и взгляд вместе с ней описал дикую окружность по сводам огромного чердака. Только тут до Палмер дошло, что стены пылают живописью и мерцают глубинным золотом икон. Птица-Гамаюн легонько вытряхнула ее из прошитого на пуху пальтеца, обняла за талию. “Клади ребеночка вот здесь, под образами, и к столу, к столу!” Красный рот проиллюстрировал приглашение международно доходчивым “ням-ням”. “Да ты вся посинела, мамочка! – Муза Борисовна поставила перед Палмер миску горячего жира. – Разбульонься, дорогая!” Янтарное пятно холестерина покрывало поверхность. Только стакана русской водки не хватало для самоубийства, и вот он появился. “Давай на брудершафт, сельская учительница!” – проорал в ухо русский краса-

вещ Аркашка Грубианов. Он сидел на ручке ее кресла, а когда, после водки, полез, по русскому обычаю, целоваться, свалился мощным бедром между двумя стройными конечностями самаритянки, ненароком нажимая ладонью на ее промежность.

Она трепетала тонкими губками под мокрыми сардельками Аркашки. Он не виноват, это традиция, вот такая истинная народность, рашеннесс, а этот мужчина не виноват, не надо придирааться. Какая страсть, какая свежесть чувств, хоть от него и несет чем-то тошнотворным.

Грубианов совал ей в рот столовую ложку икры. "Да жри, жри наше достояние, последний кавиар дышающей России! Не можешь проглотить? Ребята, она в рот берет, а проглотить не может!" Муза Борисовна мхатовским жестом пресекла грубиановское свинство: "Оставь свое свинство, друг Аркадий!" Тут кто-то над столом божественно заиграл на скрипке Eine Kleine Nacht Musik. Толпа европейского и русского мужичья в богатых костюмах встала за дальним концом стола, выпивая какой-то свой сепаратный тост совместного предприятия. Аркашка, уже забыв о Палмер, брал за грудь головастого критика. "Ты плохо всасываешь по русской идее! Ты Розанова еще не всосал!" Еще один какой-то головастый подлезал к Палмер с другого боку: "Же ву вудре де катать на русской тройке!" Голенастым девицам за столом не сиделось, все время подымались, как бы стараясь вылезти из крохотных платьишек и тут же натягивая их обратно с несколько сокровенными улыбками. Вдруг вся компания, ртов не менее тридцати, разом запела: "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!"

Уже горели свечи. Палмер изумленно смотрела на озаренные вдохновением лица. Малейшая вздутость щек или подглазий казалась вздутой вдвойне. Всякая впалость вдвойне западала. Живя скульптура многострадального народа. Налив сама себе водки из осмерикового печатного штофа, девушка Палмер поднялась с тостом.

"Господин и господан!" – сказала она, имея в виду "леди и джентльменов". Далее в переводе с вирджинского: "Я имею большую привилегию передать вам сердечно-чувственные и теплые рэгарды из народа Шенандоаской долины, партикулярно из клуба горшечников миссис Хоггенцоллер. Дайте мне заверить, что эта скромная донация рефлекирует лишь небольшую секцию большой симпатии в сторону очень большого народа на очень, очень большом кроссруд ов хистори!"

Дамы смотрели на нее удивленно, будто только что заметили. Мужики отклонялись со стульев, чтобы как бы оценить задок. Даже сексуально сытые или с плохим аппетитом считали необходимым показать недремлющее либидо. Один только Аркашка Грубианов почему-то в этот момент приуныл. Почему-то именно во время тоста этой лупоглазой шведки что ли он подумал о своем стукаческом подвале, который из-за развала СССР может вдруг открыться с ошеломляющей вонью.

Палмер кистями обеих рук указала обществу на синий сверток под мерцающей иконой, рядом с которым сидел, пританцовывая, декласе Чувакин, уже не босой, но обутый в большие итальянские сапоги Музы Борисовны на стальных шпильках. Он взял сверток и передал его хозяину дома Модесту Орловичу, и тот принял предмет не без нежности. "Как его зовут?" – спросил он гостью. "Ном? Наме? Нэйм?" – раскачивал, сам качаясь над столом, сплошной папаша. Теплое чувство изливалось из детских, если не ослиных, глаз художника.

Мужичье захохотало не очень злобно. “Признавайся, Модест, заделал шведке? Теперь получай на воспитание!”

Палмер быстро распеленала сверток прямо на столе, по соседству с осмериковым печатным штофом царской водки, хрустальной славянской ладьей, все еще хорошо нагруженной каспийским кавиаром, полуобглоданной ножищей венгерской равнинной индейки, россыпью сигарет наиболее престижных в ту мутную русскую зиму марок, а именно “Мальборо” и “Данхилл”, а также предметами той западной консервированной улады, что нанесла непоправимый уже удар по советскому марксизму, ну, чтобы не косолапить больше по безобразной фразе, рядом с банками пива. Взору общества предстал тщательно разработанный тетушками “Поттери-клаба” набор: две коробки обогащенного риса “Дядюшка Бен” для быстрой варки, пакет машрумной густой подливы, большая коробочка овсяных хлопьев “Здоровый смысл” (все-таки, оказывается, присутствует в контексте цивилизации), этот кладезь благодетельной клетчатки доброго витаминного букета вкупе с рибофлавином, магниезией, цинком и даже оптимальным количеством меди, причем при полном отсутствии сатурированных жиров и холестерина, две пачки спагетти “Таун-хаус” и к ним необходимые ингредиенты в лице тубика кетчупа и банки порошкового пармезана, три коробочки идеального поставщика белков, вот именно “Туец в весенних водах”, дабы каждый едок хоть ненадолго почувствовал себя тунеядцем, ну, “Бульонные кубики Уайлера” и неперменные три банки “Супа Кэмпбелл” имени Энди Уоролла, ну, пакет с чайными мешочками “Липтон” (пейте 100 крепких стаканов, или 200 умеренных стаканов, или 300 благоразумных стаканов), ну, банка растворимого кофе Кэмпбелл, чью последнюю каплю оценил еще Маяковский, когда кепчонку не хотел сдирать с виска, ну, пакет псевдосливков к этому кофе, чтобы голодающий народ все-таки не жирел, смесь горячего какао, набор пряностей Маккормика в составе измельченных петрушки, сельдерея и “Сладкого Базилия” (следует отметить несомненную утонченность Хелен Хоггенцоллер), ну, шампунь “Голова-Плечи”, паста “Гребень”, набор миниатюрных щеточек “Проксабраш” для очистки российских межзубных пространств от остатков американской еды, банка витаминов “Джеритол”, аспирин “Браун” и геморроидальные свечи “Препарэйшен-Эйч” для благополучного исхода всего перечисленного выше, ну, и наконец, некоторые лакомства для детворы – шоколадки “Кранч”, датское печенье, полурезиновые конфетки “Джели-биинс”, а также, в завершение, кое-что для души, фигурка американского Деда Мороза, Санта.

“Вот и все! – звенящим голосом воскликнула Палмер. – Алас, немного, но с самого дна нашего сердца!”

“Фирма!” – завопил Чувакин и бросился выхватывать содержимое. Грубиянов тут потянул на себя, и все рассыпалось. Завертелась веселая жадная возня. Вспыхивая лиловыми глазами, пролетела Птица-Гамаюн с банками “курицы моря”. Другие девушки уже всю пудрились пармезаном. Даже сотрудники совместного предприятия “Очи черные” не погнушались подарками, хотя у них этого добра, в итальянском варианте, было заготовлено достаточно на случай многомесячных уличных боев в советской столице. Критики же славянофилы, уж на что гордый народ, и те не преминули зажать по пакетику грибной подливки. Среди всей этой кутерьмы один только скрипач не позволял себе отвлекаться. Покусывая мелкотрубчатые макаронные изделия, он томительно выводил мелодию “Иестердэй”. И Муза Борисовна, внезапно схваченная мокрой





Рисунки Натальї Пархоменко

ностальгией, светло плакала, поддерживая все еще дивные груди ея. Меж них у нее покоился, добавляя особый смысл к улетающему моменту, набор сухих пряностей “Маккормик”.

Один лишь только хозяин, будущий экспонат аукциона “Соцебу”, Модест Полигаменович Орлович, остался было без сувенира, но и он быстро нашелся. Сфокусировав над растерзанным пакетом незаконного младенца его узкоплечую мамашу, он вдруг решил, что это как раз то, что ему осталось: символ материнства, модель нового акрилового мирискусничества в синем. “Мазер! Чайлд! Пэйтинг! Же ву съем! Лав! Сэанс!” Он ухватил Палмер за запястья, на которых крупными кузнечиками бились пульсы, и повлек в лабиринт перегородок, в святая святых, где стоял натянутый холст да в окне мутно светилась российская история: гранитный истукан с кучерской гривой, да высоченные фонари, знавшие лучшие времена социализма, да имперский желток Малого, примешанный к зловещему дегтю пустых торговых рядов, да неуместная посреди 1991 года классика Большого с ее совсем уже не от мира сего тачанкой-квадригой.

Полуизнасилованная Палмер усажена была на подоконник в полурастерзанном виде – позировать. Он даже не заметил, что похитил у меня мою вишенку, думала она с полунежностью, глядя, как было сказано, “в мать этой ебаной Византии” и лишь изредка сотрясаясь в коротких ошеломлениях. Художник же вдохновенничал, или, как в их кругу говорили на манер джазистов, “лабал” у своего холста. Время от времени сквозь заляпанную икрой, шоколадкой и губной помадой проволоку бороды прорывались имена существительные: “Соли-тьюд. Эйлизнейшн. Ангажман. Вельтгейст!” Из-за прегородок несся все нарастающий в своей дикости шум гулянки.

Так прошло два часа, после чего с площади, все еще донашивающей имечко скромненького большевичка Яшеньки Свердлова, донеслись два несильных взрыва. Фонари по всему пространству погасли. Мрак наполнился дымом.

Сеанс продолжался еще целый час. Силуэт Палмер теперь отражался в при-ткнутом к стене эмалированном тазу. Спасибо джоггону, думала она, это он помог мне сохранить до 29 лет волшебные формы Принцессы Грезы. Еще целая серия сильных звуков донеслась из трапезной. В творческий закуток всунулось с разных сторон не менее дюжины залитых диким счастьем рож. “Кататься, кататься! На лошадях кататься!” Модест отбросил кисти. “Айда, Ким-берлилулока!” Вокруг уже бесновались карнавальные маски. “Там кони в сумерках колышут гривами!” Палмер поспешно, но бережно упаковывала свои грудки.

“Тройка?! – вспомнила она словцо. – Тройка русски?!” Грубианов поволок, норовя водрузить все ее сто десять фунтиков себе на плечи. Гости валом сыпались с верхотуры, вымахивали на волю, что все еще была улицей 25 Октября, хоть и на грани выbleвывания всего Октября целиком.

Экипаж уже ждал. Заказано через вооруженную фирму “Алекс”. Гарантируется полная надежность. Тройка оказалась суперлюксозной, даже и не тройка, а отлитая в лучших традициях бароном Клодтом квадрига. Удары копыт высекали ворохи искр и крошили старый асфальт. Незыблемость основного начала гарантировала широченная мытищинская спина кучера. Палмер прижалась щекой к этому недоработанному кудашевскому монолиту.

Неорганический космос, что ли? Побег к небесным булыгам, не так ли?

К моему столу направляется пара, молодые американцы.  
Кажется, что это просто рекламный трюк:  
У нее походка, как примеры танца,  
У него на плечи хоть взваливай сундук,  
Щеки у гадов, что твои померанцы,  
Зубы – хоть раскалывай окаменевший фундук.  
Кажется, это мои студенты, ей я вроде поставил “Эй”,  
А ему “Би-плас”, но, может быть, наоборот.  
Она рассказывала вроде про Достоевского “Чертей”,  
А он как будто подзабыл, кто такой Филипп Рот.  
Откуда такое добродушие  
В стране, где так споро спускают курок?  
От улыбок у обоих трещат заушины.  
Ну вот вам и реклама: пей грейпфрутовый сок!  
Welcome, welcome! Сиденья свободны!  
Присаживайтесь, ребята, ваш профессор не jerk!  
Они приземляются, два тигра голодных.  
Солнце опускается, но день еще не померк,  
Ренессансные ласточки кружат над шпилем,  
Открывают окно, и барокко Рагузы идет, как волна от борта.  
Кажется, с вами мы Достоевского “Чертей” проходили?  
Зубрили! Долбили!  
А с вами мы, кажется, подзабыли малость Филиппа Рта?  
Тра-та-та!  
Масса совпадений, множество узнаваний!  
Линда сияет, похохатывает Бретт.  
Если только не перепутали мы тут кузницу знаний.  
Похоже, ханни, что это все-таки не наш университет.  
Да и профессор, кажись, не очень-то нашенький.  
Не вполне совпадает, не цент в цент.  
Кажется, тут у нас, сэр, какая-то получается каша:  
У нашего литератора был другой акцент.  
Какая-то смесь китайского, персидского и гишпанского,  
А может быть, даже он был француз.  
Ну, это неважно, давайте выпьем шампанского  
За наш американский учебный союз!

Апрель 93-го

**Редакция поздравляет  
Василия Павловича Аксенова  
с выходом в свет собрания его сочинений!**



**БЕЛЬМОНДО: Я НИ О ЧЕМ  
НЕ ЖАЛЕЮ**

Бельмондо скромен, хотя мало кто выдержал бы испытание столь громкой славой и сохранил трезвую голову. Подобная стойкость делает честь Жан Полю. "Бебель" играл с такими знаменитостями, как Габен, Вентура, Брассер, Бурвиль, Делон, снимался у таких зубров, как Годар, Беккер, Верней, Шаброль, Соте, Мельвиль, Де Сика, Маль, Карне, Трюффо, Рене, Лотнер, Лелуш, держал в объятиях таких звезд, как Лорен, Кардинале, Лоллобриджида, Моро, Андресс, Антонелли, Дорлеак, Денев, его устами говорили самые разные авторы; он побил все рекорды популярности, и всегда и во всем ему сопутствовал успех... При этом он никогда не делил друзей на "прежних" и "нынешних". С некоторыми, – например, с Мишелем Боном, которого он называл "братом", с любимым продюсером Александром Мнушкиным, любимым каскадером Жилем Деламаром, с Пьером Брассером – его разлучила только смерть. Говоря о своей кинокарьере, он не задумывается ни о достоинствах 68 фильмов, в которых ему пришлось играть, ни об их месте в современности. Он вспоминает самые грандиозные попойки, самые веселые компании. После сорока лет, проведенных на вершине кинематографического Олимпа, он все еще словно бы чувствует себя гостем. Не о нем ли, молодом актере, Рене Клер сказал: "Бельмондо? Он, конечно, хороший актер. Но с такой жуткой рожой нечего и думать о кино!" Между тем эта жуткая рожа украсила обложку журнала "Лайф", став олицетворением двух революционных событий во французском кино. Первым был фильм Годара "На последнем дыхании", вторым, спустя тридцать лет, – скандальный "Ас из асов" Ури. Так почему бы, вместо того чтобы без конца мусолить столетие кинематографа, не отпраздновать хорошенько шестидесятидвулетие Бельмондо девятого апреля? Как говаривал Габен: "Прихватим девочек да покутим на славу!"

## 1. СО СЦЕНЫ НА СЪЕМОЧНУЮ ПЛОЩАДКУ

Я закончил Консерваторию в 1956 году. Члены жюри почтили меня объятиями, а друзья пронесли по знаменитой сцене на руках. В наше время этим никого не удивишь, но тогда я был записан в шпану. Больше я не сделал ни шага по направлению к "Комеди Франсэз".

Как-то раз я гонял с приятелем мяч перед "Режанс", кафе, где собиралась вся актерская гильдия и все консерваторцы. Ко мне подошел какой-то тип и спросил: "Не хотите сняться в кино?" Это был Анри Энер, готовивший свой первый фильм "Воскресенье. Мы будем воровать". Съемки длились полтора месяца и происходили на аэродроме. Мы развлекались кто во что горазд, чуточку научились летать. Фильм снимался на средства ВКТ (Всеобщей Конфедерации Труда), нам никто ничего и не подумал заплатить, а на экраны лента вышла, когда у меня уже было имя, причем вышла без особого шума – уж слишком она была наивной! Так я первый раз помаячил перед камерой.

В том же году я вместе с Аленом Делоном и Анри Виделем снялся в фильме Марка Аллегре "Будь красивой и



Выпускной экзамен  
в Консерватории.



## ФИЛЬМОГРАФИЯ

**1956** – “**Воскресенье. Мы будем воровать**” Анри Энера, с Марком Кассо, Жюльеном Берто, Мишелем Пикколи.

**1957** – “**Пешком, верхом и на машине**” Мориса Дельбе, с Ноэль-Ноэль, Денизой Грей, Софи Домье, Жан-Пьером Касселем, Дерри Коулом.

**1958** – “**Обманщики**” Марселя Карне, с Жаком Шаррье, Лораном Терзиев, Дани Савалем. “**Веселенькое воскресенье**” Марка Аллегре, с Даниель Дарье, Бурвилем, Арлетти, Роже Аненом.

**1959** – “**На двойной поворот**” Клода Шаброля, с Мадлен Робинсон, Антонеллой Луальди, Жаком Дакмином, Андре Жосленом. “**Шарлотта и ее дружок**” Жан-Люка Годара (короткометражный) с Жераром Бленом.

“**Мадемуазель Анж**” Жеза Редваньи, с Роми Шнайдер, Анри Видалем, Мишель Мерсье, Жаном Тиссье. “**На последнем дыхании**” Жан-Люка Годара, с Джин Сибберг, Даниелем Буланже, Жан-Пьером Мельвилем, Роже Аненом.

“**Взвесь риск**” Клода Соте, с Лино Вентура, Марселем Даллио. “**Французенка и любовь**” Анри Вернея. Скetch-“адольтер”, с Полем Мериссом, Дани Робен, Клодом Пьеплю.

**1960** – “**Модерато кантабиле**” Питера Брука, с Жанной Моро, Дидье Одепенем. “**Развлечение**” Жака Дюпона, с Александрой Стюарт, Клодом Брассером. “**Чочара**” Витторио де Сика, с Софи Лорен, Рафом Валлоне, Ренато Сальвадори. “**Бурное море**” Ренато Каstellани, с Джиной Лоллобриджидой, Нозлем Роквером. “**Письма послушницы**” Альберто

молчи”. Привел меня к Аллегре сам Видаль. Он мне очень нравился: такой обаятельный, спортивный. И мне очень понравилось его приятельское отношение. Мы вместе занимались боксом, а познакомились в баре “Лескаль” на улице Блондель, куда заходили девичьи сомнительного поведения – мы оба жили неподалеку.

В то время я частенько ходил в кино на улице Шампольон. Мы смотрели все фильмы Жуве, Симона, но сами о кинокарьере и не помышляли. Наше место – в театре! И играть нас учили вовсе не для кино. “Габену никогда не сыграть “Мизантропа!” – говорили наши учителя. Мы пожинали лавры в провинции, наши имена крупными буквами на афишах ослепляли крестьян. В таком духе мы с Жирардо и Галабрю сыгнали “Многого большого”.

После “Будь красивой и молчи” я играл в “Атенею” в “Угрошении строптивой”, где главную роль исполнил Пьер Брассер. Меня познакомил с ним его сын Клод, мой одноклассник. Как-то вечером в Сен-Жермен на нас с Юбером Деканом напал какой-то хмырь. Я отделал его так, что он загремел в больницу с развороченной физиономией. Нас замели в участок, полицейские считали, что я ударил его ножом. “Не ножом, а кулаком!” – уверял я. Но они смеялись: “Тоже мне Марсель Сердан нашелся!” Вытащил нас Брассер. С тех пор у него вошло в привычку задирать на площади Пигалю кого попало и натравливать меня: “А ну, покажи ему!” Мы оставались друзьями до самой его смерти.

Марк Аллегре пригласил меня на следующий фильм “Веселенькое воскресенье”. Я зарабатывал негусто, а тут вдруг предлагают мне миллион франков. Я открыл настежь окно в своей квартирке на улице Денфер-Рошро и заорал на весь двор: “Я миллионер!”

По вечерам мы всей шайкой, включая Делона, собирались на улице Сен-Бенуа. Тут же был Марсель Карне, он тоже принимал меня за боксера. И был страшно разочарован, когда я сказал ему, что я всего лишь актер. Я пробоваюсь на главную роль в “Обманщиках”. После конкурса остались два претендента: Лоран Терзиев и я. И мы условились, что тот, кто получит роль, угостит другого обедом. Выбрали его. И правильно: мне эта роль мало подходила. Упоминаю об этом, потому что Карне в своей книге пишет, будто я на него обиделся. Впрочем, если не считать “Лифта на эшафот” и этого случая с “Обманщиками”, роли, пожалуй, никогда не уплывали у меня из-под носа. Ну, а после появления “На последнем дыхании” вообще не было перебоев. В “Мадемуазель Анж” героиню играла Роми Шнайдер, блеснувшая в роли Сисси. В этом фильме действие происходит наполовину во сне, наполовину наяву. Режиссер Редваньи постоянно путал одно с другим и посреди работы мог вдруг спросить: “Этта что, сон или явь?” И все принимались разбираться. Анри Видалю он звал не иначе как “милочка”. Тот страшно злился. “Сколько тебе повторять: не зови меня милочкой!” – “Но почему же, милочка? Я же любя...” С Роми я почти не сталкивался. Я играл приятеля главного героя, ловкого механика молодого чемпиона. Снимали во время

гонок в Монако. Господи, как же это было давно! Участвовали Трентиньян, Фон Трипс, Жан Бера или Брабам – он-то выиграл Монако-59. Я открыл для себя еще одну сторону мира кино. Каждый вечер мы с Анри Видалем совершали рейд по кабакам от Ниццы до Монако. Накачивались изрядно! Мне было двадцать пять лет, ему – сорок, и я думал: "Для своего возраста он молодцом!" Интересно, что сейчас думают обо мне...

В июне 1959-го я по чистой случайности был приглашен сниматься в картине "На двойной поворот". Жан-Клод Бриали заболел и любезно рекомендовал меня Шабролю на свое место. Дело было в пятницу, а съемки начинались в следующий понедельник. И вот я являюсь к продюсерам, братьям Хаким, сажусь и слышу: "Ой-ой-ой! Ну и страшн-лице!" Я вскочил, хлопнул дверью и пошел прочь – вспылчивый был, как порох! Но они меня догоняют: "Стойте, ладно, по рукам!" В результате я приступил к съемкам, понятия не имея, что должен играть, и начал прямо со сцены с Мадлен Робинсон. То-то она, должно быть, удивлялась: откуда свалилось такое пугало. Шаброль подбадривал меня: "Давай-давай, дружок, не тушуйся!" Ко всему прочему, я должен был сидеть за рулем "Делаэ", а я в свои двадцать шесть лет не умел водить машину, так что дров наломал будь здоров! В этом фильме одну из главных ролей сыграл Андре Жослен. Как-то раз, когда он был под кайфом, братья Хаким подсунули ему контракт на пять фильмов вперед, а мне не предложили никакого! Прохлопали выгодное дельце – я бы подписал не глядя. "Последнее дыхание" дало мне хороший старт, но для меня подлинное кино – это был Шаброль. Фильм "На двойной поворот" был показан на фестивале в Венеции и провалился с треском! Погорел и я.

Мне не часто приходилось сниматься в кинопробах. Очень смешно получилось с "Истиной" Клузо. Я должен был идти на другую пробу, для "Модерато кантабиле", но Клузо запер меня в комнате вместе со своей женой. Я кричу: "Мне надо идти!" – "Вы отсюда не выйдете!" – "Откройте дверь или я ее высажу!" В конце концов я сдался и остался пробоваться у Клузо, в паре с Брижит Бардо. Целых полчаса я тискал ее грудь так и эдак. Недурно, что и говорить, но тем дело и ограничилось. Да я и сам знал, что не смогу сыграть дирижера. Клузо же настаивал просто из упрямства: почувствовал, что я не хочу сниматься, и распалился. Что ж, эпизод мимолетный, зато приятно вспомнить, ведь это была моя единственная встреча с Бардо, играть с ней мне так и не пришлось. Хотя в "Сирене "Миссисипи" предполагалось снять именно ее.

В 1959, незадолго до "Модерато кантабиле", я снялся в телепостановке по "Трем мушкетерам". Барма страшно удивил меня тем, что дал мне роль д'Артаньяна, а не Планше (которого сыграл Робер Гирш). Эта работа оставила у меня самые лучшие воспоминания. Тогда я убедился, какая огромная сила – телевидение. Я жил в то время на улице Дагер, и никто никогда не обращал на меня внимания. Но едва показали спектакль, как на другой же день я стал знаменит на весь квартал. Когда начались съемки "Модерато кантабиле", годаровский фильм "На последнем дыхании" еще не вышел на экраны, но Жанна Моро его уже видела и порекомендовала меня Питеру Бруку и Маргерит Дюрас. Они позвали меня, оглядели. "Совсем не тот типаж", – сказала Дюрас. "По-моему, тоже", – согласился Брук. И все-таки меня взяли. Должен признаться, я вспоминаю об этих съемках без особого восторга. Я так и не понял до конца текст, который должен был произносить. И до сих пор не понимаю...



**"Клузо заставил меня целых полчаса тискать грудь Бардо так и эдак... Недурно, но тем дело и ограничилось".**

## 2. ПЕРЕВОРОТ ГОДАРА

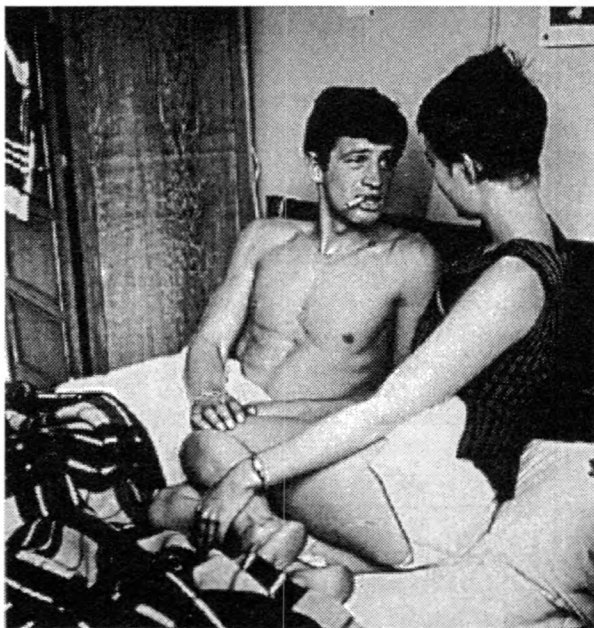
С Годаром я познакомился в Сен-Жермен-де-Пре. К тому времени я часто видел его, – какой-то небритый, помятый, сомнительный тип. И вдруг однажды он ко мне подходит и спрашивает: "Не хотите поработать в кино?" – "Нет, не хочу". – "А то я заплатил бы вам пятьдесят тысяч франков (тогдашних). Если надумаете, приходите ко мне на улицу Рен и начнем съемки". Речь шла о короткометражке "Шарлотта и ее дружок". Кончилось тем, что мы отлично поладили с Годаром. "Если когда-нибудь я буду делать большой фильм, – пообещал он мне, – непременно позову тебя". Я был уверен, что это останется на словах. А тут вдруг он объявляется и говорит: "Знаешь, я тут кое-что придумал. Начинается с того, что один малый угоняет в Марселе машину. Катит на ней в Париж. Ну, а дальше посмотрим... Может, встречает девушку... может, умирает... В общем, там видно будет. Приходи шестнадцатого августа". Шестнадцатого августа начались съемки. Без всякого сценария. Похоже было, что Годар импровизировал на ходу. Впрочем, какая-то тетрабочка у него была.

В то время съемки были делом весьма непростым. Существовала масса технических трудностей. Я, с моей театральной выучкой, постоянно говорил громче, чем надо, и переступал границы освещенной площадки. Кино казалось мне сплошным занудством. Но с Годаром все было совсем иначе. Полная свобода. Съемки проходили самым невзрачным образом. Поскольку синхронной звукозаписи не было, он громко подсказывал реплики. В первый день он сказал мне, со своим швейцарским акцентом и этак лениво: "Ты заходишь в телефонную кабину и звонишь". Я захожу, снимаю трубку, что дальше? "Отлично, – говорит Годар. – Продолжим завтра. Я пока не знаю, что там дальше". Я был уверен, что фильм никогда не выйдет на большой экран. Я ради этой работы отказался от предложения Дювивье. Мой импресарио говорил, что я ломаю себе карьеру! Но все работали не напрягаясь, относились к съемкам как к развлечению, любительской затее.

Джин Сиберг, приехавшая из Голливуда ужасалась. Однажды она нарядилась, а Годар этого не любил. "Пойди, – говорит, – скажи ей, что эта дурацкая краска ее уродует". Мне, привычному к жестким театральным условиям, это показалось дикостью. Частенько мне приходилось подбадривать Джин. Годару понадобилось, чтобы ее героиня стянула у меня из тумбочки деньги. "Американка никогда такого не делает!" – возмущалась Сиберг. Однако донести на меня в конце фильма она согласилась без возражений.

Сцену, когда меня убивают выстрелом в спину, мы снимали на улице Кампань-Премьер. Годар сказал: "Упадешь, когда почувствуешь, что пора". Ну, получил я свою пулю в спину, решил сыграть на всю катушку, дошел чуть не до конца улицы. Вдруг навстречу Жан Ле Пулен – он как раз там жил: "О, привет, старина, что это ты тут делаешь?"

Как-то Годар пригласил меня поужинать вдвоем. Пошли в пиццерию на улице Сен-



"На последнем дыхании". С Джин Сиберг.

Как-то Годар пригласил меня поужинать вдвоем. Пошли в пиццерию на улице Сен-



Бенуа. Я пытаюсь его расшевелить, заговариваю о боксе, о футболе – ноль эмоций. Так и промолчали весь вечер, а в конце он говорит: "Спасибо, я замечательно провел время". Во Франции мы сняли "Женщина есть женщина". Это теперь Годар не любит актеров, а тогда очень любил.

"На последнем дыхании" и "Взвесь риск" Соте появились почти одновременно. Фильм Годара произвел фурор, и совершенно затмил работу Соте. Жозе Джованни хорошо отозвался обо мне Лино. И Лино сказал: "Раз его хвалит Джованни, я его беру", – и мы быстро сошлись как два заядлых спортсмена. Так же, как вскоре после этого с Мишелем Одиаром, у которого я работал во "Французенке и любви". Он оказался классным велосипедистом. Вообще спорт открыл передо мной много дверей!

"Забавы" – вот был фильм, будь здоров! Бедняга Дюпон решил переделать "Изнеможение". У нас с Клодом Брассером было по спортивной машине, и мы резвились от души! Однажды Дюпону закинули в открытое окно парочку петард, так он всю ночь просидел на четвереньках. Потом мы узнали, что он служил в ОАС и подумал, что это было покушение. В общем не фильм, а черт знает что.

### 3. "IL BRUTTO"

Когда я приехал в Италию, газеты называли меня "il brutto". Мне понравилось: il brutto, "зверь". Но мне объяснили, что по-итальянски это значило "урод"! Конечно, все привыкли: Жан Маре, Жорж Маршаль, Анри Видаль – красавчики как на подбор! Помню, Рене Клер сказал: "Он, конечно, хороший актер. Но с такой рожей нечего и думать о кино!" Когда спустя много времени он предложил мне роль в "Галантных празднествах", я ответил, что у меня плохие внешние данные. Еще в Консерватории Пьер Дюкс твердил мне: "Вы не сможете обнять на сцене женщину, никто в такое не поверит!" Правда, я не слишком отчаивался, потому что в жизни обнимал их – и ничего, но играл только комедийных слуг, а героев-любовников – никогда. "Последнее дыхание" было переворотом еще и потому, что герой там – не красавец.

После триумфа "На последнем дыхании" все пошло, как в сказке. Телефон не умолкал с утра до вечера. Я думал, что это ненадолго. Принял много предложений сразу. Все было похоже на сон: я очутился в объятиях Софи Лорен, Джини Лоллобриджи и Клаудии Кардинале!

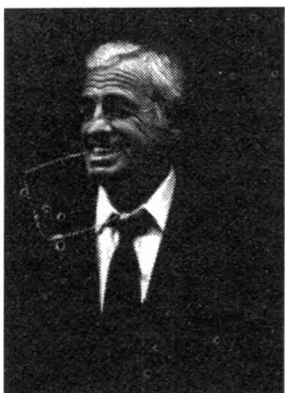
Шестидесятые годы, "dolce vita"... В Риме, в ночных клубах на Виа Венетто – самые красивые женщины в мире. Безумные ночи! Я прожил в Италии полгода и сделал четыре фильма подряд.

Не успел я туда приехать, как наутро, в семь часов, целовался с Софи Лорен – снималась наша с ней первая сцена для "Чочары". Чудесные воспоминания. Карьера начиналась, все складывалось прекрасно. В "Бурном море" я смачно целовался с Джини. Об этих кумирах я прежде только читал в "Синемонд". И вдруг очутился среди них. Я видел, как встречали Софи Лорен в Неаполе: ей целовали ноги! Так же обожали Джину. Это были настоящие суперзвезды с "роллс-рой-



"Я вдруг очутился в объятиях Джини Лоллобриджи, Клаудиа Кардинале, Софи Лорен. То была "dolce vita"..."





Латтуада, с Паскаль Пти, Массимо Жиротти. **“La Viaccia”** Мауро Болоньини, с Клаудиа Кардинале, Пьетро Джерми. **“Женщина есть женщина”** Жан-Люка Годара, с Анной Карина, Жан-Клодом Бриали. **1961 – “Леон Морен, священник”** Жан-Пьера Мельвиля, с Эмманюэль Рива, Говардом Верноном. **“Знаменитые любовники”** Мишеля Буарона. Скетч с Дани Робен, Филиппом Нуаре, Мишелем Галабрю. **“Некий Ла Рокка”** Жана Беккера, с Кристиной Кауфман, Пьером Ванеком, Жан-Пьером Дарра. **“Картуш”** Филиппа де Брока, с Клаудиа Кардинале, Одиль Версуа, Джесс Хан, Жаном Рошфором, Пьером Реппом, Марселем Далио. **1962 – “Обезьяна зимой”** Анри Вернея, с Жаном Габеном, Сюзанной Флон, Нозлем Роквером. **“Стукач”** Жан-Пьера Мельвиля, с Сержем Реджани, Мишелем Пикколи, Жаном Дезайи. **1963 – “Драже с перцем”** Жака Баратье. Фильм из нескольких скетчей. С Ги Бедо, Софи Домье, Симоной Синьоре, Жан-Пьером Мариелем, Жаком Дюфило, Франсисом Бланшем. **“Фершо-старший”** Жан-Пьера Мельвиля, с Шарлем Ванелем, Мишель Мерсье, Стефанией Сандрелли, Андресс. **“Банановая кожа”** Марселя Офюля, с Жанной Моро, Клодом Брассером, Гертом Фребе, Жан-Пьером Мариэлем, Аленом Кюни. **“Человек из Рио”** Филиппа де Брока, с Франсуазой Дорлеак, Жаном Серве, Симоной Ренан. **“Сто тысяч долларов на солнце”** Анри Вернея, с Лино Вентура, Гертом Фребе, Бернаром Блие. **1964 – “Свободный ход”** Жана Беккера, с Джин Сиберг,

сами” и прочими роскошными атрибутами. Софи Лорен стоило приоткрыть грудь, чтобы свести с ума целые толпы.

С Витторио Де Сика приходилось часто переделывать уже отснятое, и происходило это не по вине актеров. Де Сика по ночам играл в казино, и утром бывал не в форме. Однажды, когда снимали сцену моего признания Софи, он уснул. Но ведь это “Маэстро”, и никто не решался ничего сказать. Наконец кто-то из труппы уронил миску. Де Сика проснулся и закричал: “Стоп! Perfetto!” Фантастическая личность! В одну субботу он мог прийти с женой и детьми, а в следующую – с любовницей и детьми от нее!

Расскажу один случай, который возвысит меня в глазах благородных людей. Закончились съемки “Чочары” и “Писем послушницы”, и я собрался во Францию, как обещал жене – она уже давно дожидалась свадебного путешествия. А тут Болоньини хочет завербовать меня на фильм “Ла Виачча”. Я отказываюсь, он настаивает. Перед самым возвращением в Париж меня ловит импресарио: “Зайдите-ка на минутку, вас хотят видеть режиссер и продюсер”. Иду к ним, вижу – на столе лежит чемоданчик. Передо мной распахивают его и торжествующе спрашивают: “Теперь согласны?” Я же невозмутимо: “Во сколько мой самолет?”

## 4. ОТ МЕЛЬВИЛЯ ДО ГАБЕНА

С Мельвилем я встретился недалеко от Неаполя на съемках “Чочары”. Подходит ко мне некто в очках и в шляпе – к стыду своему, я ничего о нем не слышал – и предлагает сыграть Леона Морена, священника! Я и так уже чувствовал себя не в своей тарелке, когда играл в “Чочаре” интеллигентом. А уж в сутане и вовсе не мог себя представить. Консультантом был приглашен отец Лепутр. Разумеется, мы прозвали его “отец Лепуктр”. Очень милый человек. Поначалу Мельвиль донимал меня замечаниями: и ходят священники не так, и то и се... А юре возражал: “Не все же священники ходят одинаково!” Мельвиля бесило мое поведение. Мы снимали в его студии, в павильонах Женнер, за площадью Италии. Я приезжал по утрам в своей “АС Бристоль” с откидным верхом, в сутане и берете. Мельвиль чуть не падал в обморок! Он считал, что я недостаточно собран – мне еще не раз приходилось слышать такое мнение. Дескать, если ты не ходишь с постной миной и дурачишься, значит, несерьезно относишься к фильму. А если разглагольствуешь о душевных переживаниях своего героя, терзаешься до ночи – другое дело. А мы до ночи просиживали за бутылкой! Мельвилю казалось, что мне наплевать на роль. “Пойдите сосредоточьтесь!” – говорил он мне. А я отвечал, что если сосредоточусь, то засну. И однажды, когда он опять отослал меня в уборную, я притворился спящим. Та же история с Эмманюэль Рива: в одном эпизоде я должен был говорить по-латыни, и он желал, чтобы я вызубрил весь латинский текст. Я не согласился: “Лучше напишите на листах бумаги, повесьте за камерой, и я все прекрасно выговорю”. Так и сделали. Если будете смотреть фильм, обратите внимание,

какой у меня в этой сцене вдохновенный вид. Потому что я напряженно вглядываюсь в текст и стараюсь не сбиться. Конечно, когда сам про себя такое рассказываешь, тебя так и будут считать шутком. Но дело в том, что в детстве я пел в церковном хоре в Клерфонтен и в соборе Святого Иакова. У нас был замечательный священник, аббат Грациани, и, играя Леона Морена, я вспоминал его. Для актера важно не копирование, а воображение. И мне не нравится дурацкое поветрие, которое пришло из Америки: чтобы сыграть обыкновенного полицейского, надо, видите ли, две недели проторчать в участке. Мне выпало счастье работать со звездами первой величины. Все они приятнейшие люди. В отличие от какой-нибудь мелкой сошки – эти вечно выпендриваются. Если случалось сниматься с такой фифой, она обязательно опаздывала часа на два. Если же говорили Габену: “Съемки в двенадцать”, – без четверти двенадцать он появлялся на площадке, дожидаясь на ходу отбивную. Это были профессионалы в лучшем смысле слова. Они снимались играючи и не забывали себе головы всякой выспренной мутью. И при этом отнюдь не были тупицами! Каждый мой фильм – дань уважения этим великим актерам. В каждом – частица Габена, частица Брассера, Берри или Симона.

С Габеном я познакомился во время съемок “Обезьяны зимой”. По утрам он жаловался: “Объелся на ночь – чертовски болит живот”. Но вечером за ужином говорил: “Может, мне все-таки пропустить стаканчик виски... Как ты думаешь, а?” Мы выпивали по стаканчику. “Пожалуй, хлопну еще один,” – говорил Габен чуть погодя. И пошло-поехало. Мы заказывали устриц и запивали белым вином. А утром – все сначала: “Объелся на ночь – чертовски болит живот”. Однажды вечером он подбил Одиара, Коста-Гавраса, который был вторым режиссером, продюсера Бара и меня влезть на велосипеды, и мы впятером устроили гонки вокруг гостиницы “Норманди”. Это после хорошей порции белого вина! Бара чуть не хватил удар, остальных вырвало устрицами, Габен же глядел на нас и предлагал: “Ну что, выпьем за спортсменов!”

Габен любил театр. В последний раз мы с ним встретились на сцене Комеди Франсез во время проводов Луи Сенье. Вечер получился великолепный: были Аджани, Гирш... Габен, в смокинге, сказал мне: “Потом будет жратва, прихватим девочек и покутим на славу!” В шесть утра он еще предлагал “добавить”. Теперь, когда он умер, его перевозят до небес. Но сколько же гадостей говорили о нем при жизни! То же самое с Одиаром. Сейчас он признанный мэтр, а сколько ему досталось! И мне с ним заодно.

## 5. ПАПОЧКА МНУШКИН И ПЕРВЫЕ ТРЮКИ

С удовольствием вспоминаю “Картуш”. Было приятно сниматься в историческом фильме, скакать на лошади, драться на шпагах. У меня сложились прекрасные отношения с де Брока, снова мы работали вместе с Клаудией Кардинале, с моим другом Рошфором. Фильм был развлекательный, и для нас съемки были сплошным развлечением. Сегодня кино стало куда серьезнее, а тогда еще не перевелись сумасшедшие вроде Александра Мнушкина, которого я любил почти как отца. Мы могли откалывать самые невероятные фортели – он вопил, плакал, но в конечном счете был страшно доволен. Если мы не бузили, не переворачивали гостиницу вверх дном, он удивлялся: “Что это с вами? Вы не заболели?”

В Бразилии снимался “Человек из Рио”, в труппе было всего тринадцать человек, в том числе Мнушкин. Будучи продюсером, он самолично таскал костюмы, раскрашивал самолет. Теперь так уже не снимают... Работали по старинке, кустарно. Когда мой герой должен был перебираться по веревке



“Александра Мнушкина я любил как отца”

из одного небоскреба в другой, Мнушкин сказал мне: "И думать не смей лезть по веревке. Пусть лезет Жиль Деламар, каскадер". – "А если разобьется Деламар?" – "Плевать! Это его работа!" Полез все-таки я. В другой раз было так: "Из окна в окно ты перелезай не будешь! (Пауза.) А что, думаешь, хорошо получится?"

С Деламаром мы были очень дружны. Неугомонный сорвиголова! Помню, едем мы однажды по Рио, я за рулем, а он перелезает на ходу на кузов идущего рядом грузовика, добирается до шофера и просит у него прикурить. Бесстрашная, благороднейшая натура! Последний раз мы с ним виделись незадолго до его смерти в кафе "Купол". Деламар сказал: "Я тут затеваю один фильм, сам буду режиссером и сам снимусь в главной роли, а тебя хотел бы пригласить своим дублером на трюки". Мы ударили по рукам, но, к несчастью, он вскоре погиб. Как раз тогда, когда решил уйти из каскадеров. Мне в жизни случалось проявлять жестокость, но с Деламаром я всегда был кроток и добр, как мальчик из церковного хора.

В Рио мы вообще безбожно бузили, швыряли из окон мебель. Мнушкин умолял нас: "Прекратите, ради Бога, вы разнесете всю гостиницу, а у меня не хватит денег расплатиться". Мы подсыпали в кондиционеры муку, а в один прекрасный день заявили в ресторан в чем мать родила. Впереди выступал облаченный в смокинг де Брока. Мнушкин обожал такие хохмы. Кончилось тем, что он сам стал подбрасывать в биде крокодильчиков. Однажды во время съемок "Злоключений китайца в Китае" он принялся орать на трупку. Рошфор спросил, с чего это. "На всякий случай!" – отвечал Мнушкин.

Когда "Злоключения" подошли к концу, меня позвал Годар и сказал: "Хочу сделать детектив. Почитай-ка вот эту книжку". Это было "Наваждение" Лайонела Уайта. "Ну как, понравилось?" – "Да, очень". – "Вот и отлично – именно эту штуку мы будем снимать!" Мы приступили к "Безумному Пьеро". Годар не изменился, все было так же, как когда делали "На последнем дыхании". Никакого готового сценария. Я накладываю на физиономию грим, а Годар мне: "Уж размалевываться, так лучше сразу кистью!" Можно считать такую манеру импровизацией, многие молодые режиссеры так и думали. Однако Годар прекрасно знал, чего хочет. У него всегда была при себе заветная тетрадошка. "Безумный Пьеро" и "На последнем дыхании" – настоящие подарки для актера. У Годара были другие планы, но они остались неосуществленными.



"Безумный Пьеро"

Мы чуть не сделали фильм "Шайка Бонно". Годар предложил мне эту работу, когда я снимался в "Воре" у Луи Маля. "Я ведь уже играю одну костюмную роль, – говорю я. – Играть вторую подряд – по-твоему, ничего?" – "Подумаешь! Играешь же ты несколько ролей подряд в пиджачной паре – и ничего!" Но проходит немного времени, и он сам заявляет: "Нет, я передумал, ты же только что сыграл костюмную роль!" А я уже подписал контракт с братьями Хаким. Они стали предлагать мне других режиссеров и однаж-

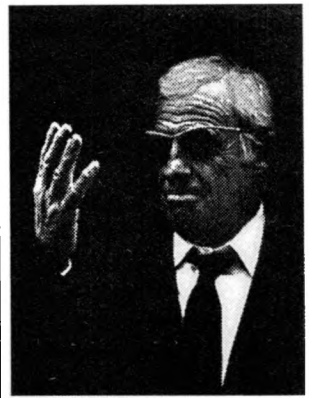
Мы чуть не сделали фильм "Шайка Бонно". Годар предложил мне эту работу, когда я снимался в "Воре" у Луи Маля. "Я ведь уже играю одну костюмную роль, – говорю я. – Играть вторую подряд – по-твоему, ничего?" – "Подумаешь! Играешь же ты несколько ролей подряд в пиджачной паре – и ничего!" Но проходит немного времени, и он сам заявляет: "Нет, я передумал, ты же только что сыграл костюмную роль!" А я уже подписал контракт с братьями Хаким. Они стали предлагать мне других режиссеров и однаж-

ды назвали Бунюэля. Я говорю: “Прекрасно. Но вы уверены, что он захочет делать этот фильм?” – “Да-да, разумеется... Если вы его попросите, он захочет...” Все это закончилось судебным процессом. Они предъявили мне иск, пригласив адвокатом Эдгара Форэ, который уже давно не практиковал, и проиграли.

В другой раз Годар заговорил со мной о Мерине – я купил права на этот материал. Я предупредил его: “Понимаешь, я собираюсь сделать этот фильм в духе Вернея”. Немного погодя Годар докладывает: “Есть один актер на роль Мерина и есть сам Мерин. Мерин пробегает дистанцию за 10'2, а актер – за 11'2”. – “Ладно, – говорю, – хватит, а то этому конца не будет. Здесь не соревнования”. Мы приступили к работе с Лабро и Одиаром. Мерин сидел в тюрьме, я послал ему сценарий. И получил в ответ письмо: “Неплохо, но не делайте надписи “конец”, дело еще не кончилось”. Нам и самим было не по душе, что приходилось оставлять героя в камере Санте. Прошло три месяца – и он дал деру. Тут наворотил такого, что наш сценарий показался розовой сказочкой. В конце концов появился фильм на эту тему с Никола Сильбером в главной роли.

“Нежный жулик” – мой третий фильм с Жаном Беккером. В 1961 году я снялся в его первом фильме “Некий Ла Рокка” по роману Жозе Джованни, который сам же нас и познакомил. В 70-м я снова сыграл ту же роль в “Scoutmoune”. Мало кому из актеров случилось сняться в оригинале и в ремейке одного сюжета! Следующая встреча с Беккером произошла в 1964 на съемках “Свободного хода”. Мы тогда объездили всю Европу, побывали в Греции, в Ливане. То был продюсерский дебют моего брата Алена. Ну, и, конечно, как не сказать о Мишеле Боне! Он был мне как брат. Мы знали друг друга восемнадцать лет, прошли вместе весь путь. Он умер, когда я играл Сирано. Он только набирал силу. Одни актеры лучше всего смотрятся в молодости, другие находят себя позднее, как Нуаре. Мишель Бон, пока был молодым, играл героев-любowników, но то было не его амплуа. Так вот, если я предлагал режиссерам кого-нибудь из таких актеров, их брали очень неохотно. Сам факт, что я за них прошу, казался подозрительным. Так было и с Рошфором. Мне не стыдно признаться, что меня когда-то взяли сниматься по настоянию Видаля. И, ручаюсь, среди тех, кого выдвинул я, нет ни одного плохого актера. Одно время меня упрекали в том, что я окружаю себя посредственностями, боясь, как бы меня не затмили! Но посудите сами: Даниэль Ивернель, Мишель Буке, Бон, Мариель, Рошфор – вот о ком шла речь! В кино, как в теннисе, чем сильнее ваш напарник, тем лучше играете вы сами. Со слабаком хорошей игры не получится.

На съемках “Нежного жулика” я встретился еще с одной диковинной личностью, с Далио. Он красил ресницы, чтобы понравиться женщинам! Снимали фильм на Таити. Это был один из тех редких случаев, когда я играл вместе с моим другом Мариелем. Другой такой случай – “Уик-энд на Южном Берегу”. Вот когда была потеха! Смешливый Пьер Мон-



Гертом Фребе, Жан-Пьером Маризлем, Мишелем Боном. **“Охота на мужчину”** Эдуара Молинару, с Клодом Ришем, Жан-Клодом Бриали, Франсуазой Дорлеак, Катрин Денев, Мари Дюбуа. **“Уик-энд на Южном Берегу”** Анри Вернея, с Катрин Спаак, Франсуа Перье, Жан-Пьером Маризлем, Пьером Монди. **“Прекрасным летним утром”** Жака Дере, с Джеральдиной Чаплин, Софи Домье, Жоржем Жере. **1965 – “Злоключения китайца в Китае”** Филиппа де Брока, с Жаном Рошфором, Урсолой Андрес, Марией Паком, Джесом Ханом, Дерри Коулом. **“Безумный Пьеро”** Жан-Люка Годара, с Анной Карина, Дирком Сандерсом, Реймоном Дево. **1966 – “Нежный жулик”** Жана Беккера, с Милен Демонжо, Жан-Пьером Маризлем. **“Горит ли Париж?”** Рене Клемана, с Аленом Делоном, Кирком Дугласом, Ивом Монтаном, Гленом Фордом, Жан-Луи Трентиньяном, Орсоном Уэллсом, Лесли Кэрон, Шарлем Буайе. **1967 – “Казино Руаяль”** Джона Хьюстона, Кена Хьюгеса, Вэла Геста, Роберта Перриша, с Вуди Алленом, Питером Селлерсом, Урсолой Андрес. **“Вор”** Луи Малья, с Женевьевой Бюхоль, Мари Дюбуа, Жюльеном Гиомаром, Франсуазой Фабиан, Шарлем Денне, Марлен Жобер. **1968 – “Хо!”** Роберта Энрико, с Джоанной Шимкус. **1969 – “Сирена”** “Миссиссипи” Франсуа Трюффо, с Катрин Денев, Мишелем Буке. **“Человек, который мне нравится”** Клода Лелуша, с Анни Жирардо, Марселем Боззоффи, Фарра Фаусет. **“Бог выбрал Париж”**, документальный фильм Жильбера Пруто и Филиппа Артюа.



1970 – **“Борсалино”** Жака Дерэ, с Аленом Делоном, Николь Кальфан, Мишелем Буке, Даниэлем Ивернелем. **“Мозг”** Жерара Ури, с Бурвилем, Давидом Нивеном, Эли Уэллеком, Реймоном Жеромом. **“Супруги 2-го года”** Жан-Поля Раппно, с Марлен Жобер, Лаурой Антонелли, Мишелем Оклером, Пьером Брассером.

1971 – **“Авария”** Анри Вернея, с Омаром Шарифом, Робером Оссейном, Ренато Сальватори, Николь Кальфан.

1972 – **“Доктор Пополь”** Клода Шаброля, с Миа Фарроу, Лаурой Антонелли, Даниэлем Ивернелем. **“Невезение”** Жозе Джованни, с Клаудиа Кардинале, Жераром Депардьё.

1973 – **“Наследник”** Филиппа Лабро, с Шарлем Денне, Жаном Рошфором, Мишелем Боном. **“Великолепный”** Филиппа де Брока, с Жаклин Биссе, Моникой Гарбес.

1974 – **“Ставиский”** Алена Рене, с Шарлем Буайе, Франсуа Перье, Анни Дюпре, Микаэлем Лонсдалем, Клодом Ришем.

1975 – **“Страх над городом”** Анри Вернея, с Шарлем Денне, Леа Массари. **“Неисправимый”** Филиппа де Брока, с Женевьевой Бюжоль, Жюльеном Гиомаром, Шарлем Жераром, Даниелем Секальди, Мишелем Боном.

1976 – **“Арагвези”** Филиппа Лабро, с Бруно Кремером, Жаном Негрони. **“Труп моего врага”** Анри Вернея, с Мари-Франс Пизье, Бернаром Блие, Даниелем Ивернелем, Николь Гарсиа.

1977 – **“Чудовище”** Клода Зиди, с Ракель Уэлш, Шарлем Жераром, Жюльеном Гиомаром, Альдо Маччоне.

ди и невозмутимый хохмач Франсуа Перье составили дивную парочку. В одном из эпизодов у Вернея была задействована массовка в тысячу человек, колоннами, поднимались в воздух самолеты. Мы с Монди приближались к камере. И каждый раз, когда раздавалась команда “камера!”, этот негодяй Перье отпускал шуточку. Я хватался за живот, Монди гоготал, и приходилось начинать сначала. Верней был в ярости!

“Уик-энд” обрел стойкую популярность. Между тем Вернея тоже в свое время презирали. Особенно после “Аварии”, оказавшейся очень “кассовым” фильмом. Всего я сделал с ним восемь картин.

## 6. THE FRENCH ARRIVE!

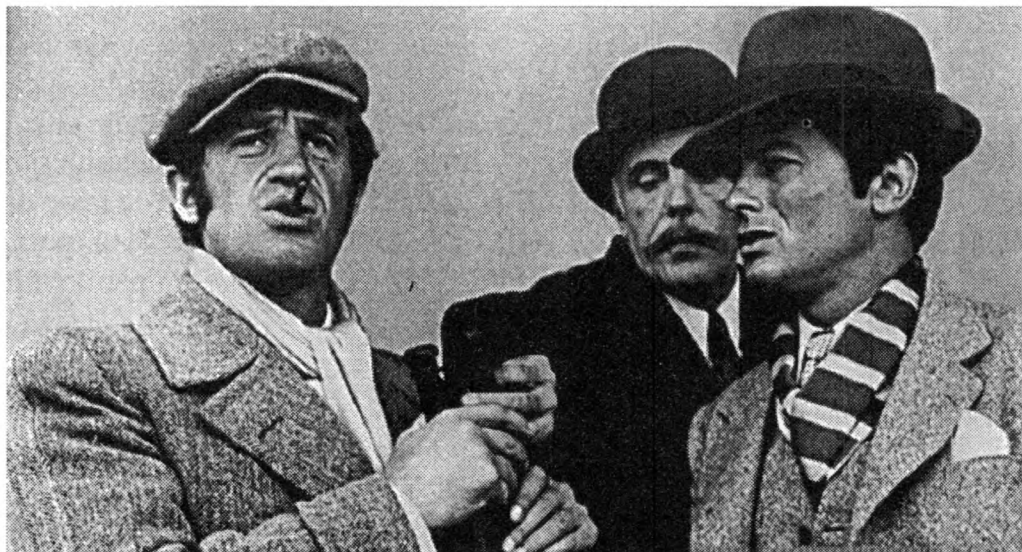
“Горит ли Париж?” и “Казино Руаяль” – два скромных опыта в крупномасштабном кино; они, однако, неравноценны. В первом случае было так – Кирк Дуглас сказал: “Я согласен сниматься, только если будет Бельмондо”. И тут же продюсер Пауль Гретц, мой давний недруг (он тоже считал меня уродом), признал, что я необыкновенно хорош собой и обаятелен. Снимался я исключительно из-за денег. И действительно сорвал изрядный куш. И совсем иначе получилось с “Казино Руаяль”. Фельдман, продюсер, был приятелем Урсулы Андрес. Я заехал к нему в Голливуд. И однажды, когда я был там, меня попросили прийти на съемки “Казино”, произнести фразу: “The French arrive!” – и пройти пару раз перед камерой. Что ж, ладно. А потом мое имя поместили на афише саженными буквами. Но это были дразня, я не мог ничего им сказать.

Не считите, что я хвастаюсь, но меня упорно зазывали в Голливуд. Как-то раз я даже появился на обложке “Лайф”. Меня обозвали “The French lover”! И все же дальше Гринвич-Виллидж я не пошел. Не прельстился Голливудом – уж очень неохота было учить английский. Кроме того, сработала примитивная осторожность: “Дома меня ценят и любят. А в Америке еще неизвестно, как все обернется, – так что я там забыл?” Герои Стивена Мак-Кувина – это не для меня. Не гожусь! Вообще я типичный француз. Из меня ковбой – курам на смех! Я привык работать в веселой компании, в Америке же работают по-другому. Даже на съемках “Вора” Луи Маля было очень весело. А “Человек, который мне нравится” Лелуша частично снимался в студии “Универсал”, одновременно там же рядом снимались другие фильмы, какие уж тут шутки! В таких условиях я не мог бы играть в полную силу. К слову сказать, этот фильм Лелуша я тоже вспоминаю с удовольствием. Мы с Жирардо и Клодом объездили немало мест в Америке на машине, видели Большой Каньон с воздуха. Отлично провели время.

Во Франции есть множество фильмов, пригодных для ремейков. У американцев с этим просто. “Хо!” – один из примеров такого рода. Я сказал Кристофу Ламберу, что это роль специально для него. Исходным материалом послужи-

ла превосходная книжка Жозе Джованни, но экранизация не удалась. Бедная продавщица превращается в cover-girl. Конец тоже никуда не годился: герой выходил с поднятыми руками; надо бы совсем другой, в духе "Scarface", чтобы он влезал на крышу, в него стреляли, он убежал. В авантюрном фильме ничего нельзя размазывать, герой не должен превращаться в нюню, – публика этого не любит. Помню, после "Сирены "Миссисипи", когда я ходил на бокс – в Париже тогда еще бывали отличные матчи, – мне часто с возмущением говорили: "С какой стати вы позволяете этой девке издеваться над собой! В конце надо было ее придушить, а вы и не рыпаетесь!"

Где боязливость была уместна, так это в "Воре". Этот фильм сегодня признан одной из лучших моих работ. Я-то очень люблю этого героя, но меня ругали за то, что он слишком пассивен. Когда я скоморошничая на экране, говорят, что я перегибаю палку, а, когда вышел "Вор", знаменитый критик из "Нувель Обсерватер" Жан-Луи Бори сказал, что я сплю на ходу! "Сирену" критики тоже разнесли в пух и прах. Было чем поживиться: Трюффо, Денев, Бельмондо! Но работать с Трюффо было очень приятно, он любил актеров. После провала фильма он написал мне письмо – он вообще писем писал много, – в котором извинялся, за то что втянул меня в эту историю.



Обручение с Делоном в "Борсалино"

С Аленом Делоном мы знакомы еще с тех пор, как жили на улице Сен-Бенуа. И за все это время между нами было одно-единственное недоразумение, по поводу афиши "Борсалино". Но мы и потом остались в прекрасных отношениях. Он знал, что я не перехвачу его роли, а я – что он не перехватит мои. У каждого из нас была не то чтобы "своя" публика – иные любят и его, и меня, иные обоим терпеть не могут, – но свои, параллельные плоскости. Порой говорят: "Лучший актер – Бельмондо!" – порой: "Актер номер один – Делон!". Но настоящего соперничества между нами никогда не было – мы выступаем в разных регистрах. Вопреки тому, что болтают, с "Борсалино" все было в порядке. Снимали в Марселе, насмотрелись на блатных – любопытно! Вот только мы договорились, что в афишах будет значиться: "Бельмондо и Ален Делон в фильме...", а написали одного Делона. Но это быстро уладилось. Продюсером был сам Делон (правда, по ходу дела подключилась фирма "Парамаунт"). И надо отдать ему должное, еще до того, как выкинуть эту штучку с именами, он щедро заплатил мне! Семидесятые годы – это было золотое время. По-моему, актерам тогда платили больше, чем даже сегодня. Теперь, когда бываешь сам себе продюсером, не знаешь, как и считать.

"Мозг" – моя первая встреча с Жераром Ури и новая встреча с Бурвилем. Когда я



“Мозг”. С Бурвилем.

был еще новичком, то снимался в том же фильме, что и он, в “Веселеньком воскресенье”. Я должен был там играть на трубе, а слуха у меня ни на грош, и Бурвиль потешался, глядя, как я терзаю несчастный инструмент. На съемках “Мозга” он постоянно рассказывал дурацкие анекдоты и сопровождал их своим бесподобным смехом. Чем нелепее был анекдот, тем больше его разбирало. Актер до кончиков ногтей, обожавший всякое озорство. Съёмки шли туго. Дольше, чем эти, в моей практике были только съёмки “Супругов второго года” Рапно. Нынче другие сложности, снимают слишком быстро. И удивляются, если не заканчивают раньше времени: “Ну надо же!”

В “Докторе Пополе” Шаброля я впервые выступил продюсером. Не Бог весть что, но вполне удавшееся дело. К тому же фильм имел успех в Италии и Германии. Идею стать продюсером подал мне Жерар Лебовиси (основатель актерского агентства “Артмедиа”). “Попробуй разок, – сказал он, – и увидишь – не пожалеешь”.

Как раз в это время обо мне стали распускать самые паскудные – в полном смысле слова! – слухи. Одна наша добрая знакомая держала в тех краях очень милый бордель, куда мы частенько заглядывали. И вот однажды она мне выдает: “Девочки говорят, ты нормальный парень – я так рада!” – “А что такое?” – “Да ведь болтали, что тебе подавай с другого конца...” Тогда я не придал этому значения, но слухи не прекратились. И преследуют меня вот уже двадцать пять лет. Стоило мне встретить девушку, как она спрашивала меня, правда ли, что... Надо же было придумать мне хоть какой-нибудь порок: я не наркоман, не путаюсь с легавыми... По мне уж лучше бы говорили: “Он педик”. Ну, был грех, самую малость, с Габеном, с Лино – ладно. Дело прошлое. Так сказать, “голубой период”. (Смешок.)

Каждый мой новый фильм, начиная с “Доктора Пополя”, встречали в штыки. “Мозг”, “Борсалино”, “Авария” – все подряд! За “Великолепного” мне тоже досталось. Между тем это один из моих любимых фильмов – получилась этакая легкая штучка, как всегда с де Брока. Мы снимали в Мексике. Мне как раз исполнилось сорок лет, и по этому случаю мы буквально разгромили гостиницу! На другой день я пошел извиняться и возмещать убытки. А хозяйка спрашивает на ломаном французском: “Вы хорошо повеселился?” – “Да,” – говорю. – “Тогда мы довольный”. И не взяла с меня денег!



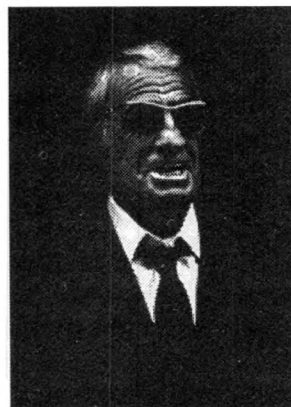
Сразу после этого я, полностью своими силами, с Мнушкиным в качестве исполнительного продюсера, снял “Ставиского”. Я не хотел показывать фильм в Канне. Но все убеждали меня, что надо. И конечно же, его провалили с треском. Я участвовал в Каннском фестивале дважды, и дважды был освистан: с “Модерато кантабиле” и со “Стависким”. Теперь даже любопытно вспомнить. Критики никогда не оставляли меня в покое. А уж вокруг “Ставиского” такой хай подняли! И тут я плюнул на эту свору идиотов! Им, видите ли, не понравилось, что мошенник у меня слишком симпатичный. Да разве бывает несимпатичный мошенник? Если он несимпатичный, ему же никого не надуть! Теперь, разумеется, “Ставиский” признан отличным фильмом. Но и тогда благодаря телевидению я не остался внакладе, все разговоры на этот счет – вранье.

## 7. АС ИЗ АСОВ КАССОВЫХ СБОРОВ

Вскоре последовали подряд три фильма с Лотнером: “Полицейский или бандит”, “Guignolo” и “Профессионал”, а затем – “Ас из асов” с Ури. Сколько новых мишеней на экране – тут же была развернута атака по всем правилам. Первым делом меня стали шпынять за трусы в горошек, в которых я красовался на афише “Guignolo”. Эти несчастные трусы, развешанные по Парижу на каждом углу, наделали больше скандала, чем если бы я вывесил голых красоток. Любопытный эпизод: мне пришлось прибегнуть к вмешательству отца, академика, чтобы получить разрешение спуститься по ступеням Трокадеро в автомобиле, поручившись при этом, что я их не испорчу. Стоит ли говорить, как дрожал в тот день мой брат Ален, отвечавший за финансовую сторону фильма.

Наивысшего накала достигли нападки на “Аса из асов”. Тут уж был форменный сговор! Мы имели несчастье привлечь 72 000 зрителей за один только первый день проката в Париже – рекордное число. Газеты посвятили этому событию особые вкладыши, но по сути информация сводилась к тому, что я “украл” зрителей у Деми, чья “Комната в городе” вышла в тот же день. Тут я разразился ответом. Перефразируя Бернаноса, сказал: “Не шадите неудачников. Они вас не пощадят”. Отвел душу.

Все-таки я не понял, почему на меня взъелись за трюки. Я их делал, потому что мне так хотелось. Висел на привязанной к вертолету веревке, потому что у меня не кружится голова. Кино дало мне возможность делать то, чего иначе я бы никогда не сделал. Первой пробой был “Человек из Рио”, а потом я раскачивался под брюхом вертолета над Венецией, Парижем, Непалом, летел на фюзеляже самолета над аэродромом Виллакубле. При любых других обстоятельствах меня бы за такие штучки живо замели! Мне хорошо, и людям нравится – чем же плохо. Так нет же, парижские снобы окрестили меня “Жожо-трюкач”, я, видите ли, научился играть, превратился из актера в каскадера. Как будто до-



**1978** – “Полицейский или бандит” Жоржа Лотнера, с Мишелем Галабрю, Мари Лафоре, Жоржем Жере, Пьером Вернье, Шарлем Жераром.

**1979** – “Guignolo” Жоржа Лотнера, с Мишелем Галабрю, Жоржем Жере, Пьером Вернье, Анри Гибером, Шарлем Жераром.

**1981** – “Профессионал” Жоржа Лотнера, с Жаном Дезайи, Робером Оссейном, Мишелем Боном, Сириель Клер.

**1982** – “Ас из асов” Жерара Ури, с Франком Гофманом, Рашидом Феррашем, Мари-Франс Пизье.

**1983** – “Маргинал” Жака Дере, с Анри Сильва, Карлосом Соттомайором, Пьером Вернье.

**1984** – “Обжоры” Анри Вернея, с Мари Лафоре, Жаком Вийре, Мишелем Константемом, Франсуа Перро. “Славная Пасха” Жоржа Лотнера, с Софи Марсо, Мари Лафоре, Мишелем Боном.

**1985** – “Похищение” Александра Аркади, с Ги Маршаном, Кимом Катралом, Жан-Пьером Мариэлем, Жаком Вийре.

**1987** – “Отшельник” Жака Дере, с Мишелем Боном, Мишелем Кретоном, Пьером Вернье.

**1988** – “Путь баловня” Клода Лелуша, с Ришаром Анконина, Даниелем Желеном.

**1992** – “Неизвестный в доме” Жоржа Лотнера, с Кристиной Реали, Пьером Вернье.

**1994** – “Сто одна ночь” Аньес Варда, с Мишелем Пикколи, Марчелло Мастроянни, Жюли Гэйе.

**1995** – “Отверженные” Клода Лелуша, с Мишелем Бужена, Алессандрой Мартинес, Клемантиной Селарие.

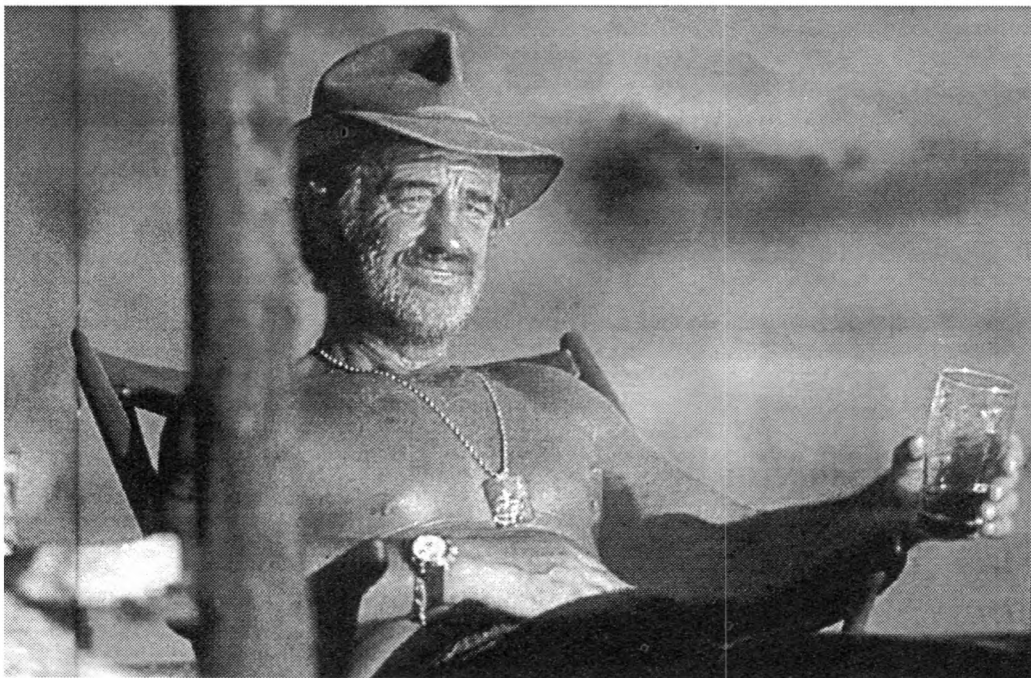
статочно поболтаться в воздухе на веревке, чтобы обеспечить успех фильму. Режиссеры думали, стоит ли со мной связываться: “Распоряжаться фильмом будет Бельмондо, а не я. А он не станет его делать, если в нем не будет всяких фокусов с вертолетами и автомобилями”. Ерунда! Хотя, конечно, интригу частенько приходится развлекать трюками.

В то время о моей игре вообще не говорили, обсуждали только кассовые сборы. Когда “Славная Пасха” собрала в Париже 270 000 зрителей за неделю, газеты писали: “Это конец Бельмондо”. Сегодня, когда “Проклятый газон” набрал 180 000, говорят, что это замечательно. Тогда меня чуть не похоронили как актера. Теперь с такими заключениями не спешат. “Обжоры” – 400 000 зрителей в Париже! Сумасшедшая цифра! В то время у меня была полоса удач. А успех раздражает. Таким, как де Фюнес, Лино, Делон или я, ставили каждое лыко в строку, причем те самые люди, которые сегодня ратуют за массовое кино! А мы уже тогда делали фильмы не хуже американских.

“Славная Пасха” снова пробудила во мне вкус к театру. Ведь это, по существу, и был заснятый на пленку спектакль, пьеса Жана Пуаре, мы только добавили кое-какие трюки. Целые эпизоды снимались, как на сцене. Я чувствовал себя уверенно, когда-то у меня была грандиозная память, я боялся, что все растерял в кино, но нет! И у меня зашевелилась мысль вернуться в театр. Будто что-то щелкнуло в голове. Теперь все признают, что “Кин” был театральной удачей. Но поначалу многие сомневались. Пойдет ли публика смотреть, как шут, только и знающий, что подвешиваться на вертолетах, будет играть на сцене пьяницу-актера? Публика пошла. Тогда-то я и сказал себе: поразвлекся и будет, наступает новый этап. Как правило, такой поворот зрители принимают с трудом – люди желают, чтобы вы оставались таким, каким они привыкли вас видеть.

## 8. ОПЯТЬ ПОВЕЗЛО

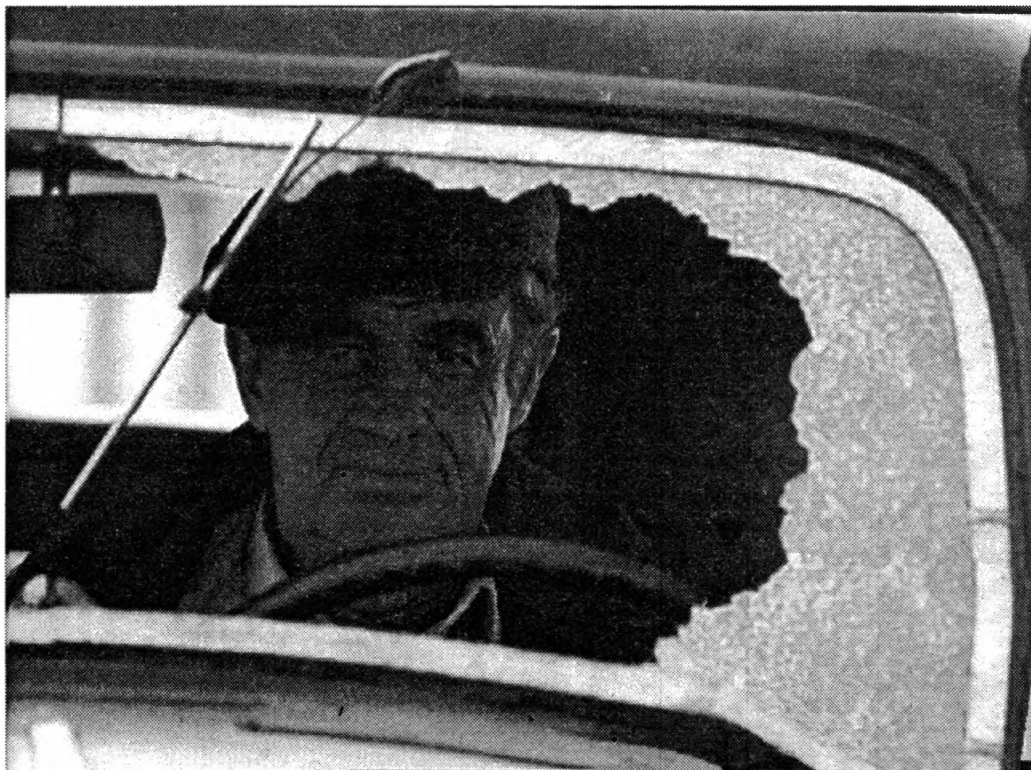
Теперь для меня стало главным искать роли, которые мне нравятся. Лелуш вовремя подвернулся со своим “Путем баловня”. Эта роль разом вышибла из меня “guignolo” и



“Баловень” – на любимом стуле, с выпивкой.

за старое сегодня, сказали бы: “Дедуля резвится”. Публика фильм приняла. За “Отверженных” я взялся уже увереннее. И за роль Жана Вальжана. Думаю, не найдется ни одного актера, который не любил бы сниматься у Лелуша. Он умеет раскрыть способности каждого. А если иногда что-то не выходит и он злится, то никогда не перекладывает вину с себя на актера. Производством этого фильма занимался не я: я продал свою кинофирму “Серито” и основал новую, “Аннабель”. А для молодой фирмы смета в 98 миллионов – это многовато!

Дере, Лотнера и Вернея критиковали больше всех других режиссеров. Меж-



**За рулем в “Отверженных”**

ду тем они немало сделали для французского кино. В своем жанре они мастера. Именно популярность, которую я приобрел в их фильмах, позволила мне сыграть Кина и Сирано. И ведь не пойдя я сниматься у Вернея, не было бы “Безумного Пьеро”, не существовало бы таких картин, как “Ставиский” или “Сирена “Миссисипи”!

По-моему, нападки на этих режиссеров несправедливы. Я с радостью снимался у Годара, но и у Лотнера тоже. “Guignolo”, конечно, не шедевр, хотя первые четверть часа там великолепны. Мне посчастливилось испытать прелесть всех жанров: от интеллектуального кинематографа “новой волны” до откровенной буффонады. И я ни о чем не жалею. Если бы мне предложили заново выбирать судьбу и стать или играющим для сотни знатоков под хор восторженной критики виртуозом или безмерно популярным актером, я бы, не колеблясь ни секунды, повторил весь свой путь.

**По материалам журнала “Premiere”  
Перевод Н. Мавлевич**

A black and white photograph of a man in a top hat and long coat walking with a cane in a narrow alleyway. The man is wearing a dark top hat, round glasses, and a long, dark coat with a cape. He is holding a thin cane in his right hand. The alleyway is narrow, with a wall on the right side that has some graffiti or markings. The lighting is dramatic, with strong shadows.

**ДЭВИД РОБИНСОН**

**ХРОНИКА КИНЕМАТОГРАФА**

# 1919

СОБЫТИЯ  
МИРОВОЙ  
ИСТОРИИ

**3 января.** Появление сообщения о том, что Эрнесту Резерфорду удалось расщепить атом.

**12 января.** Поражение революции в Германии.

**15 января.** Убийство в Берлине Розы Люксембург и Карла Либкнехта.

**3 марта.** Создание Коминтерна.

**28 июня.** Подписание Версальского мирного договора.

**31 июля.** Провозглашение Веймарской Республики в Германии.

**4 августа.** Разгром 133-дневной Венгерской коммунистической республики румынскими войсками.

– Рихард Штраус "Женщина без тени".

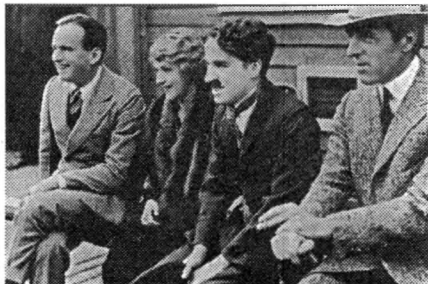
– У. С. Моэм "Луна и грош", Рабиндранат Тагор "Дом и мир", Дж. Бернард Шоу "Дом, где разбиваются сердца".

**Родились:** Дж. Д. Сэллинджер (1 января), Марго Фонтейн (18 мая), Айрис Мёрдок (15 июля).

**Скончались:** Теодор Рузвельт (6 января, 60), Аделина Патти (27 сентября, 76), Огюст Ренуар (3 декабря, 88).

**17 апреля.** Создание кинокомпании "Юнайтед артистс", учредителями которой были Чарльз Чаплин, Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс и Дэвид Уорк Гриффит.

**27 августа.** Декрет о национализации кинопромышленности в России.



## Дания

"Страницы из книги Сатаны"  
(Карл Теодор Дрейер)

"Президент" (Карл Теодор Дрейер)

## Франция

"Испанский праздник" (Жермен Дюллак)

"Роза – Франция" (Марсель Л'Эрбье)

## Германия

"Кабинет доктора Калигари" (Роберт Вине)

"Мальчик в голубом" (Ф. В. Мурнау)

"Мадам Дюбарри" (Эрст Любич)

## Венгрия

"Аве, Цезарь!", "Белая роза" (Шандор Корда)

## Швеция

"Сыновья Ингмара", "Карин, дочь Ингмара" (Виктор Шёстрём)

"Сокровище господина Арне" (Мориц Стиллер)

## США

"Сломанные побеги" (Д. У. Гриффит)

"Зачем менять жену?" (Сесиль Б. де Милль)

## Россия

"Поликушка" (Александр Санин)

**Родились:** Альберто Сорди (15 июня), Луи Жюве (19 июня), Лино Вентура (14 июля), Бернхард Викки (28 октября), Джилло Понтекорво (19 ноября).

**Скончалась** Вера Холодная.

КИНО

ФИЛЬМЫ

# 1920

## СОБЫТИЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

*11 февраля.* Первая Ассамблея Лиги Наций в Лондоне.

*6 апреля.* Оккупация Рура французскими войсками.

*1 сентября.* Создание государства Ливан.

*16 ноября.* Окончательное поражение белого движения в России.

**Родился** Рей Брэдбери (22 августа).

**Скончались:** Амедео Модильяни (22 января, 35), Джон Рид (19 октября, 87).

## КИНО

*29 марта.* Бракосочетание Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса.

*Апрель.* Лев Кулешов открывает в Москве в Госкиношколе учебную мастерскую, получившую название "Коллектив Кулешова".

*5 сентября.* Роско "Фэтти" Арбэклю предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве Вирджинии Рэпп.

– В Японии начинает работать кинокомпания "Сётику".

## ФИЛЬМЫ

### Франция

"Варавва" (сериал, Луи Фейад)

"Мадемуазель де ля Сельер" (Андре Антуан)

### Германия

"Анна Болейн", "Сумурун" (Эрнст Любич)

"Голем и как он пришел в мир" (Пауль Вегенер, Карл Бёзе)

### Венгрия

"Черный капитан", "Пан" (Пал Фейош)

### Швеция

"Эротикон" (Мориц Стиллер)

"Вдова пастора" (Карл Теодор Дрейер)

"Возница" (Виктор Шёстрём)

### Великобритания

"Грозовой перевал" (А. В. Брэмбл)

"На вилле "Роза" (Морис Элви)

### США

"Дьявольская отмычка" (Эрих фон Штрогейм)

"Доктор Джекилл и мистер Хайд" (Джон С. Робертсон)

"Знак Зорро" (с участием Д. Фэрбенкса)

**Родились:** Федерико Феллини (20 января), Делберт Манн (30 января), Мишель Морган (29 февраля), Джульетта

Мазина (22 февраля), Мартин Ритт (2 марта), Дерк Богард (28 марта), Тосиро Мифунэ (1 апреля), Эрик Ромер (4 апреля), Ив Робер (19 июня), Монтгомери Клифт (17 октября).



"Знак Зорро"

# 1921

*12 марта.* В. И. Ленин провозглашает переход к НЭПу.

*10 апреля.* Сунь Ятсен избран Президентом Китая, что привело к началу гражданской войны.

**14 июля.** В США вынесен обвинительный приговор анархистам Н. Сакко и Б. Ванцетти.

**29 июля.** Адольф Гитлер избран председателем Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

**7 ноября.** Бенито Муссолини объявляет себя лидером Национал-фашистской партии.

– Фредерик Бэнтинг и Чарльз Бест выделяют инсулин.

– Жорж Брак "Натюрморт с гитарой", Эдвард Мунк "Поцелуй".

– Сергей Прокофьев "Любовь к трем апельсинам".

**Родился** А. Д. Сахаров (21 мая).

**Скончались:** Петр Кропоткин, Камиль Сен-Санс.

**12 апреля.** Роско "Фэтти" Арбэкл оправдан по всем пунктам обвинения.

**20 сентября.** Выход в свет книги французского кинокритика Луи Деллюка "Charlot" о Чарли Чаплине, первой монографии, посвященной кинорежиссеру.

**Декабрь.** Григорий Козинцев и Леонид Трауберг открывают в Ленинграде Фабрику эксцентрического актера ("ФЭКС"), однако их первый фильм "Похождение Октябрины", появляется только в 1924 году.

– В Париже открывается "Клуб друзей 7-го искусства". Среди его членов Жан Кокто, Фернан Леже, Жан Эпштейн, Абель Ганс, Жермен Дюллак и Марсель Л'Эрбье.

– В Китае зарегистрировано 140 кинокомпаний.

#### Франция

"Атлантида" (Жак Фейдер)

"Эльдорадо" (Марсель Л'Эрбье)

"Лихорадка" (Луи Деллюк)

"Колесо" (Абель Ганс)

#### Германия

"Черный ход" (Пауль Лени)

"Усталая смерть" (Фриц Ланг)

#### Япония

"Призраки на дороге" (Минору Мурата)

#### Швеция

"Кто судит?" (Виктор Шёстрём)

#### США

"Дама с камелиями" (Рей С. Смолвуд)

"Четыре всадника Апокалипсиса" (Рекс Инграм)

"Малыш" (Чарльз Чаплин)

"Шейх" (Джордж Милфорд)

#### СССР

"Голод... голод... голод" (Владимир Гардин, Всеволод Пудовкин)

**Родились:** Серджо Леоне (3 января), Симона Синьоре (25 марта), Питер Устинов (16 апреля), Сатьяжит Рей (2 мая), Луис Гарсия Берланга (12 июня), Крис Маркер (29 июля), Милош Янчо (27 сентября), Анджей Мунк (16 октября), Дина Дурбин (4 декабря).

# 1922

**18 марта.** Махатма Ганди приговорен к 6 годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

**18 октября.** Основана "Би-Би-Си" ("Бритиш бродкастинг корпорейшен").

**5 декабря.** Открыта гробница фараона Тутанхамона в Долине Царей, в Египте.

– Хуан Миро "Ферма", Марк Шагал "Мертвые души".

## КИНО

## ФИЛЬМЫ

– Т. С. Элиот "Бесплодная земля", Синклер Льюис "Бэббит", Джеймс Джойс "Улисс".

**Скончался** Марсель Пруст (18 ноября, 51).

## КИНО

*Март.* В Нью-Йорке основана Американская ассоциация кинопродюсеров и прокатчиков во главе с Уиллом Г. Хейсом для осуществления внутренней цензуры в американском кино.

*21 мая.* Первый выпуск киножурнала Дзиги Вертова "Кино-Правда".

*Ноябрь.* Образована корпорация "Де Форест фонофилм" для эксплуатации системы оптической записи звука.

## ФИЛЬМЫ

### Австрия

"Содом и Гоморра" (Майкл Кёртиц)

### Франция

"Кренкебиль" (Жак Фейдер)

"Женщина ниоткуда" (Луи Деллюк)

"Пастер" (Жан Эпштейн)

"Улыбающаяся мадам Беде" (Жермен Дюллак)

### Германия

"Доктор Мабузе – игрок" (Фриц Ланг)

"Носферату, симфония ужаса" (Ф. В. Мурнау)

"Осколки" (Лупу Пик)

### Япония

"Две птички" (Тейноскэ Кинугаса)

"Когда возвращается любовь" (Кендзи Мидзогути)

### Швеция

"Ведьмы" (Беньямин Кристенсен)

### США

"Глупые жены" (Эрих фон Штрогейм)

"Нанук с Севера" (Роберт Дж. Флаэрти)

"Сиротки бури" (Д. У. Гриффит)

### СССР

"Кино-Правда" (киножурнал до 1925 года, Дзига Вертов).

**Родились:** Альбер Ламорис (13 января), Ежи Кавалерович (15 января), Пьер Паоло Пазолини (5 марта), Ален Рене (3 июня), Мауру Болоньини (28 июня), Хуан Антонио Бардем (2 июля), Ален Роб-Грийе (18 августа), Артур Пенн (27 сентября), Франческо Рози (15 ноября), Мария Казарес (21 ноября), Свен Нюквист (3 декабря), Жерар Филип (4 декабря).

# 1923

## СОБЫТИЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

*9 марта.* В. И. Ленин уходит с поста руководителя ВКП(б) по состоянию здоровья.

*1 сентября.* Сильное землетрясение в Японии, разрушившее города Токио и Йокогама.

*29 октября.* Мустафа Кемаль (Кемаль Ататюрк) провозглашает образование Турецкой Республики.

**Скончались:** Сара Бернар (29 марта, 78), Густав Эйфель (27 декабря, 91).

## КИНО

*21 января.* Выход на экран фильма "Дань моря", первого художественного фильма, снятого по двухцветной системе "Техниколор".



**4 апреля.** Основание кинокомпании "Уорнер Бразерз" четырьмя братьями Уорнер: Хэрри, Альбертом, Джеком и Сэмом.

**12 апреля.** Первая демонстрация системы звукозаписи "Де Форест фонофильм" в Нью-Йоркском электротехническом обществе.

**24 сентября.** Киностудия "УФА" выпускает фильм "День на крестьянском дворе", первый фильм с синхронной записью звука по системе "Триергон".

#### Франция

"Красная гостиница" (Жан Эпштейн)

"Менильмонтан" (Дмитрий Кирсанов)

"Париж уснул" (Рене Клер)

#### Германия

"Сокровище" (Георг Вильгельм Пабст)

"Сильвестр" (Лупу Пик)

#### Италия

"Мессалина" (Энрико Гаццони)

#### Швеция

"Сага о Гуннаре Хеде" (Мориц Стиллер)

#### Великобритания

"Королева-девственница" (Дж. Стюарт Блэктон)

"Вечный Жид" (Морис Элви)

#### США

"Крытый фургон" (Джеймс Крюзе)

"Наше гостеприимство" (Бастер Китон, Джон Блистоун)

"Парижанка", "Пилигрим" (Чарльз Чаплин)

"Наконец в безопасности" (Фред Ньюмейер, Сэм Тейлор, с Гарольдом Ллойдом)

"Три эпохи" (Бастер Китон, Эдди Клайн)

"Десять заповедей" (Сэсиль Де Милль)

**Родились:** Линдсей Андерсон (17 апреля), Ион Попеску-Гопо (1 мая), Ричард Аттенборо (29 августа), Марчелло Мастоаянни (28 сентября), Валериан Боврич (21 октября).



"Десять заповедей"

# 1924

– Дж. Эдгар Гувер становится главой Бюро расследований (с 1935 г. – Федеральное бюро расследований, ФБР)

– Изобретен кроссворд.

– Джордж Гершвин "Рапсодия в стиле блюз", Джакомо Пуччини "Турандот".

– Томас Манн "Волшебная гора", К. С. Станиславский "Моя жизнь в искусстве", Юджин О'Нил "Любовь под вязами".

**Скончались:** В. И. Ленин (21 января, 54), Вудро Вильсон (3 февраля, 67), Франц Кафка (3 июня, 40), Джозеф Конрад (3 августа, 66), Джакомо Пуччини (29 ноября, 65).

**10 января.** Юридическое оформление компании "Коламбия пикчерз", организованной в 1922 г. братьями Хэрри и Джеком Кон и Джо Брандтом.

**17 мая.** Образование компании "Метро-Голдвин-Мейер" ("МГМ") путем слияния компаний "Метро пикчерз корпорейшен", "Голдвин пикчерз корпорейшен" и киностудии независимого продюсера Луиса Б. Мейера.

**Ноябрь.** Кризис британской кинопромышленности приводит к закрытию всех киностудий на 1 месяц.

**3 декабря.** В Париже Ар Луизо выступает с предложением создать синематеку (киноархив и музей кино).

## ФИЛЬМЫ

## СОБЫТИЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

## КИНО

## ФИЛЬМЫ

### Австрия

"Самсон и Далила" (Александр Корда)

### Франция

"Механический балет" (Фернан Леже)

"Антракт" (Рене Клер)

"Дочь воды" (Жан Ренуар)

"Бесчеловечная" (Марсель Л'Эрбье)

### Германия

"Последний человек" (Ф. В. Мурнау)

"Михаэль" (Карл Теодор Дрейер)

"Нибелунги" (Фриц Ланг)

"Кабинет восковых фигур" (Пауль Лени)

### Италия

"Камо грядеши?" (Габриэллино Д'Аннунцио, Георг Якоби)

### Швеция

"Сага о Йесте Берлинге" (Мориц Стиллер)

### США

"Брачный круг", "Запретный рай" (Эрнст Любич)

"Женобоязнь" (Фред Ньюмейер, Сэм Тейлор с Гарольдом Ллойдом)

"Алчность" (Эрих фон Штрогейм)

"Навигатор" (Бастер Китон, Дональд Крисп)

"Шерлок-младший" (Бастер Китон)

"Багдадский вор" (Руаль Уолш)

### СССР

"Похождения Октябрины" (Г. Козинцев, Л. Трауберг)

"Аэлита" (Я. Протазанов)

"Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков" (Л. Кулешов)

"Киноглаз" (Дзига Вертов)

"Стачка" (С. Эйзенштейн)

**Родились:** Сидней Пуатье (20 февраля), Клод Сотэ (23 февраля), Лев Кулиджанов (19 марта), Марлон Брандо (3 апреля), Шарль Азнавур (22 мая), Сидней Льюмет (25 июня), Радж Капур (4 декабря).

**Скончался** Луи Деллюк (22 марта, 33).

В 20-е годы главным экономическим фактором в киноиндустрии, обеспечивающим Голливуду ведущее положение в мировом кинематографе и оказывающим все возрастающее влияние на художественную сторону фильмов, были кинозвезды. В этих условиях Чарлз Чаплин и Мэри Пикфорд смогли стать самыми высокооплачиваемыми "работниками" в мире.

## СУПЕРЗВЕЗДЫ



С течением времени менялась и мода на кинозвезд. Д. У. Гриффит пропагандировал викторианскую невинность, олицетворением которой были Лиллиан Гиш, Мей Марш и Бланш Суит. Им на смену пришла мрачная и загадочная Теда Бара, роковая женщина-"вамп". Она, в свою очередь, уступила место Глории Свенсон, Элис Терри и Норме Толмедж, чьи более утонченные и сложные образы лучше вписывались в циничную и фривольную атмосферу 20-х годов. В это же время появились и девушки-"эмансипле", такие как Мэрион Дэвис, Джоан Кроуфорд и Колин Мур. В конце 20-х годов на экране возникла уникальная индивидуальность Луизы Брукс, а Клара Боу провозгласила начало эры более агрессивной, освобожденной сексуальности, нашедшей свое воплощение в ролях Джин Харлоу и Барбары Стэнвик и так блестяще спародированной Мей Уэст. С началом звукового периода зритель познакомился с такими актри-

сами, как Бетт Дэвис и Кэтрин Хепберн, которые находились под сильным влиянием театра Восточного побережья.

Первое поколение киозвезд-мужчин служило эталоном мужественности для всей Америки. Это были Дастин и Уильям Фарнум, Том Микс, Уильям С. Харт, Джордж О'Брайен, Джон Гилберт. Однако в фильме "Четыре всадника Апокалипсиса" публика впервые увидела новый, экзотический, более двусмысленный мужской образ в лице Рудольфо Валентино, первого и самого знаменитого "латинского любовника" Голливуда.

Голливуд притягивал к себе актеров и режиссеров из других стран, и вскоре на американском экране появились полька Пола Негри, венгры Вильма Бэнки и Бела Лугоши, мексиканки Долорес дель Рио и Лупе Велес. Однако всех их затмила собой шведка Грета Гарбо.

# 1925

**12 марта.** Чан Кайши сменяет Сунь Ятсена на посту председателя Гоминьдана.  
**24 июля.** В г. Дейтон, штат Теннесси, учитель Джон Томас Скоупс приговаривается судом к штрафу за преподавание в школе теории эволюции Ч. Дарвина – так наз. "Обезьяний процесс". (Это событие впоследствии послужило основой для фильма Стенли Креймера "Пожнешь бурю", 1960).

– Альбан Берг "Воцтек", Дмитрий Шостакович "Симфония N 1".

– Теодор Драйзер "Американская трагедия", Ф. С. Фицджеральд "Великий Гэтсби", Франц Кафка "Процесс" (опубл. посмертно), Вирджиния Вульф "Миссис Дэллоуэй", Адольф Гитлер "Моя борьба".

**Родился** Юкио Мисима (14 января).

**Скончался** Сунь Ятсен (12 марта, 58).

**Июль.** Грета Гарбо переезжает из Швеции в Голливуд.

**31 октября.** Французский комик Макс Линдер и его молодая жена найдены мертвыми в парижском отеле. Очевидно, это было самоубийство.

#### **Дания**

"Уважай свою жену" (Карл Теодор Дрейер)

#### **Франция**

"Покойный Матиас Паскаль" (Марсель Л'Эрбье)

"Рыжик" (Жюльен Дювивье)

#### **Германия**

"Безрадостный переулоч" (Георг Вильгельм Пабст)

"Тартюф" (Ф. В. Мурнау)

"Варьете" (Э. А. Дюпон)

#### **Япония**

"Весна на Южных островах" (Хейноскэ Госе)

#### **Швейцария**

"Детские лица" (Жак Фейдер)

#### **Великобритания**

"Сад удовольствий" (Альфред Хичкок)

#### **США**

"Бен-Гур" (Фред Нибло)

"Большой парад" (Кинг Видор)



"Бен-Гур"

СОБЫТИЯ  
МИРОВОЙ  
ИСТОРИИ

КИНО

ФИЛЬМЫ

“Золотая лихорадка” (Чарльз Чаплин)  
“Веселая вдова” (Эрих фон Штрогейм)  
“Призрак Оперы” (Руперт Джулиан)  
**СССР**

“Броненосец “Потемкин” (С. Эйзенштейн)

“Шахматная горячка” (В. Пудовкин,  
Н. Шипковский)

“Луч смерти” (Л. Кулешов)

“Механика головного мозга” (В. Пудовкин)

**Родились:** Пол Ньюмен (26 января),  
Джек Леммон (8 февраля), Роберт Олман  
(20 февраля), Сэм Пекинпа (21 февраля),  
Иннокентий Смоктуновский (23 марта),  
Войцех Хас (1 апреля), Морис Пьяла (21 августа),  
Нанни Лой (23 октября), Карой Макк (23 декабря),  
Мишель Пикколи (27 декабря).



“Шахматная горячка”

1926

## СОБЫТИЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

*8 сентября.* Германия вступает в Лигу Наций. Испания выходит из Лиги Наций.

*15 ноября.* В Нью-Йорке основана радиовещательная компания “Эн-Би-Си” (Нэшнл бродкастинг компани).

*20 ноября.* Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз и Ньюфаундленд становятся самоуправляемыми доминионами в составе Британского Содружества наций.

*25 декабря.* Хирохито становится Императором Японии.

**Родились:** Королева Елизавета II (21 апреля), Чак Бэрри (18 октября).

**Скончался** Клод Моне (5 декабря, 86).

## КИНО

*21 января.* В Париже открывается “Студио дез Урсулин”, знаменитая студия авангардного кино.

*Ушло.* Визит Дугласа Фэрбенкса и Мэри Пикфорд в Москву.

*23 августа.* Смерть Рудольфа Валентино в возрасте 31 года. Его панихида и похороны привлекают огромные толпы людей, часто истерически настроенных.

## ФИЛЬМЫ

### Франция

“Приключения Робера Макера” (Жан Эпштейн)

“Нана” (Жан Ренуар)

“Грибиш”, “Образ” (Жак Фейдер)

“Только часы” (Альберто Кавальканти)

### Германия

“Фауст” (Ф. В. Мурнау)

“Тайники души” (Георг Вильгельм Пабст)

### Япония

“Безумная страница” (Тейноскэ Кинугаса)

### Великобритания

“Постоялец” (Альфред Хичкок)

### США

“Черный пират” (Альберт Паркер)

“Моана Южных морей” (Роберт Флаэрти)

“Алая буква” (Виктор Шёстрём)

## СССР

"Шинель", "Чертово колесо" (Л. Трауберг, Г. Козинцев)

"Медвежья свадьба" (В. Гардин, К. Эггерт)

"Мисс Менд" (Б. Барнет, Ф. Оцеп)

"Шестая часть мира", "Шагай, Совет" (Дзига Вертов)

**Родились:** Мария Шелл (5 января), Джон Шлезингер (16 февраля), Анджей Вайда (6 марта), Мэрилин Монро (1 июня), Карел Рейш (21 июля), Сохей Имамура (15 сентября), Клаус Кински (18 октября).

# 1927

*31 января.* Окончание срока военного контроля Союзных держав над Германией.

*15 ноября.* Исключение Л. Д. Троцкого и Г. Е. Зиновьева из ВКП(б).

– Артур Онеггер "Антигона" (либретто Ж. Кокто), Игорь Стравинский "Царь Эдип".

– Вирджиния Вульф "К маяку", Герман Гессе "Степной волк", Жан Кокто "Орфей".

**Родились:** Мстислав Ростропович (27 марта), Гюнтер Грасс (14 октября).

**Скончались:** Джером К. Джером (14 июня, 68), Айседора Дункан (14 сентября, 49).

*11 января.* Основана Американская академия кинематографических искусств и наук (Американская киноакадемия). Среди учредителей были Луис Б. Мейер, Дуглас Фэрбенкс, Мэри Пикфорд, Фред Нибло.

*7 апреля.* Премьера фильма Абея Ганса "Наполеон" в Париже. Кульминационные сцены проецируются на тройной экран с помощью трех синхронно действующих проекторов.

*6 октября.* Премьера фильма "Певец джаза" (США), первого звукового фильма с диалогом.

## Франция

"Соломенная шляпка" (Рене Клер)

"Наполеон" (Абель Ганс)

"Подтасовка" (Жан Гремийон)

## Германия

"Берлин, симфония большого города" (Вальтер Рутман)

"Любовь Жанны Ней" (Георг Вильгельм Пабст)

## Япония

"Меч покаяния" (Ясудзиро Одзу)

## США

"Генерал" (Бастер Китон)

"Певец джаза" (Алан Кросленд)

"Царь царей" (Сесиль Де Милль)

"Длинные штаны" (Фрэнк Капра)

"Частная жизнь Елены Троянской" (Александр Корда)

"Восход солнца" (Ф. В. Мурнау)

"Подполье" (Джозеф фон Штернберг)

"Свадебный марш" (Эрих фон Штрогейм)

## СССР

"Конец Санкт-Петербурга" (В. Пудовкин)

"Сорок первый" (Я. Протазанов)

"Девушка с коробкой" (Б. Барнет)

"Звенигора" (А. Довженко)

**Родились:** Андре Дельво (21 марта), Боб Фосс (23 июня), Кен Рассел (3 июля), Джина Лоллобриджида (4 июля), Марсель Офюльс (1 ноября).

**Продолжение в следующем номере**

СОБЫТИЯ  
МИРОВОЙ  
ИСТОРИИ

КИНО

ФИЛЬМЫ



"Наполеон"



## Александр Митта:

*В последующих номерах журнала будут напечатаны самые важные главы из книги "Стереотипы драматургии. Эйзенштейн, Станиславский и мы". Это основы драматургии для режиссеров или, проще сказать, правила, по которым рассказывают визуальные истории в кино.*

Если бы мы сочиняли романтическую мелодраму, я бы сказал: "Это правила, которые я оплатил кровью сердца".

Если бы мы писали сериал, я бы сказал: "Вот стереотипы, по которым вы сможете успешно сочинять по истории в неделю".

Когда я преподаю свой курс в Гамбургском университете, студенты знают: "Это правила, по которым работали Шекспир, Чехов и Гоголь".

Самое удивительное, что это одни и те же правила. Первым, кто их установил в рабочей практике, были древние греки – Эсхил, Аристофан, Софокл.

А первым, кто их осмыслил философски, был не кто иной, как наш общий учитель – старик Аристотель. Эйзенштейн и Станиславский почитали их и знали, в отличие от нас, невежд. Но пользуются сегодня

этим лучше всего американцы. И с помощью этих правил их фильмы завоевали весь мир. Потому что эти правила помогают установить самый прочный эмоциональный контакт со зрителями. Американцы не философствуют. Они адаптировали философию драмы в короткое меню быстрорастворимых и мгновенно усвояемых блюд. Вы можете презирать эту еду. Но знать, как она изготовлена, полезно.

Почему?

Потому что, как сказал один очень неглупый исследователь драмы: "Из того факта, что коммерческие драмы создаются по определенным рецептам, совсем не следует, что хорошие драмы создаются по другим рецептам". Сказано по-английски осторожно. Но можно сказать грубее: "Шекспир и телесериалы функционируют по одним и тем же базовым правилам, лежащим в основе каждой драматической конструкции".

ТАКИМ Я  
НАЧАЛ ЗОЛЕТ  
НАЗАД

# ПРАВИЛА И ЖИЗНЬ

Тридцать лет я жил в кино тихой рабочей жизнью, и вдруг, четыре года назад, надо мной блеснула молния успеха. Самого заветного – американского. Я как нарочно был в гостях в Нью-Йорке, собирал тряпки для подарков, готовился к отлету. И вдруг узнаю, что гильдия американских режиссеров выбрала фильм "Затерянный в Сибири" для специального показа – максимальный акт уважения для американцев к фильмам из остального мира – от Европы до Австралии.

Я полетел на два дня в Голливуд. В правилах драмы это называется "ВАН СИНГЛ ЭКШЕН". Одно простое действие – с него начинается любой грамотный сюжет.



Прилетел – и покатилося! Я узнаю, что каждый вечер какая-нибудь крупная компания смотрит фильм: "Парамаунт", "Юниверсал", "Три стар", "Дисней"... "Это первый признак успеха – закрытые просмотры фильма, о котором все говорят, – так мне объяснили аборигены Голливуда. "Это твой шанс – не упустить его!"

Тут же появляется сообщение о том, что фильм номинирован на "Голден Глоб" вторую после "Оскара" премию Америки. Мы ничего о ней не знаем. Но в Голливуде даже номинация, то есть последняя селекция перед премией, – это пожизненный почет. Продюсер чуть с ума не сошел от радости. Дальше – больше: Англия выдвигает фильм на "Оскар" как лучший фильм Англии на неанглийском языке. Каждый день то "Голливуд репортер", то "Верайети" что-то сообщают о фильме. Это при

том, что все предыдущие годы я вообще не существовал в этом мире. И вдруг главные журналы киномира пишут и пишут о моем фильме. По правилам драмы я взлетел вверх. По драматической перипетии "к счастью" у меня появился агент, излучающий оптимизм. Меня зовут на ужины и встречи. Все русские готовы стать моими бесплатными переводчиками. Как-то я рассказываю на ужине идею нового фильма и большой голливудский режиссер восхищается: "Это фантастично! Невероятно! Это то, что нужно Голливуду! Вы должны немедленно сесть и записать вашу историю! Вы непременно получите "Голден Глоб" и "Оскар"! Вам нужен сценарий, с которым вы войдете во все двери, которые в этот миг откроются для вас!"

Я не знал тогда, что все бесплатное американцы излучают и извергают из себя фей-



ерверками. Они брызжут, искрятся и фантазируют бесплатным оптимизмом. Из них льются потоки, водопады дарового доброжелательства. Это прекрасно.

Но функционирует строго на территории: "Не трогай моих денег".



Драматическая перипетия — падение от счастья к несчастью.

Меня никто не хвалил так пламенно. Я сел писать. И нагородил что-то по-русски хаотичное и амбициозное. Но я был в небе, я летал, подброшенный толпой восхищенных поклонников фильма. И вдруг они все отвернулись и ушли. А я упал на землю. Это, по правилам драмы, называется "драматическая перипетия от счастья к несчастью".

тью".

Мы не выиграли "Голден Глоб". И мы не прошли последней селекции "Оскара". И в один миг меня забили. Именно так бывает в Голливуде. Компании по вечерам искали на просмотрах таланты из Новой Зеландии, Уганды и Бразилии. Обедал я в одиночестве, ужинал в "Макдональдсе".

Но в истории должен быть поворотный пункт. "Терлинг поинт". Оказалось — я выиграл главный приз новичка — мне предложили работу! Небольшая компания внимательно следила за моими успехами и выбрала меня режиссером для своего фильма. Они предложили мне маленькие деньги, которые, впрочем, превышали все, что я заработал за предыдущие 30 лет.

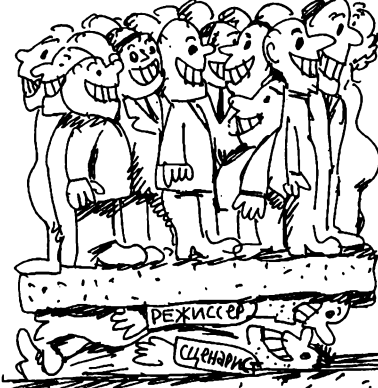
И я сказал себе: "Изучи все правила, по которым работает эта индустрия, и примени их к делу". Это был поступок протагониста драмы. Правило говорит: "Нас интересует персонаж, который хочет что-то сделать и преодолевает барьеры препятствий".

Но я не знал, что небольшие компании собирают на фильм деньги по 3–5–8 лет. Это нормально. Там нет спонсоров-нуворишей, которые дают тебе миллион. Вообще, никто никому ничего не дает. Даже сигарету попросить — неприлично. Все друг на друге что-то зарабатывают. Для фильма собирается компания из 15–20 различных бизнесменов: прокатчики, продюсеры, звезды, дилеры ТВ, кабелей, кассет и так далее — они несут деньги со всего мира. Когда деньги собраны, их начинают тратить. Тратят за 10 недель, а собирают годами. У каждого режиссера в работе 6–10 проектов в развитии. С одним никто не может существовать в индустрии. К тому времени, как я понял это, сценарий был завершен и вызывал восхищение. Но я уже

Будь героем — Добейся этого!



КТО ГЛАВНЫЙ В ИНДУСТРИИ



-Улыбайся! Они должны видеть, что мы рады их советам!

ПРОДЮСЕР, КОПРОДЮСЕР,  
ЭКЗЕКЮТИВ-ПРОДЮСЕР,  
ДИСТРИБУТОР ПО АМЕРИКЕ,  
ДИСТРИБУТОР ПО ЕВРОПЕ,  
ДИСТРИБУТОР ПО ХЕНДЭУТ  
ЧЕМУ НО ВАЖНЫИ,  
ЗВЕЗДА-ГЕРОИНА,  
ЗВЕЗДА-ГЕРОИ, ИХ  
АГЕНТЫ, ИХ АДВОКАТЫ,  
АГЕНТЫ ВСЕХ И ВСЯ,  
АДВОКАТЫ ВСЕХ И ВСЯ,  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКОВ,  
АГЕНТЫ СТРАХОВЫХ КОМ-  
ПАНИИ И ЕЩЕ МНОГО  
ВАЖНЫХ И ОЧЕНЬ  
ВАЖНЫХ УЧАСТНИКОВ  
ПРОЕКТА КОТОРЫЕ  
ДАЮТ СОВЕТЫ.

знал, что стоят эти бесплатные восторги. В моей ситуации работал альтернативный фактор: "Что будет, если я не добьюсь успеха?" Это очень важный элемент драматического рассказа. И тут возник второй поворотный пункт, который должен быть в каждой грамотной истории. В Гамбурге образовалась новая киношкола

– улучшенная копия "Высших режиссерских курсов" в Москве. Эти люди знали меня

по Москве, искали и отловили в Голливуде.

Меня пригласили вести курс режиссеров. У меня было время, и мне не терпелось проверить на ком-то новые американские правила. Я прочел все солидные учебники и три конспекта по драматургии лучших киношкол Америки. Самое время применить к делу. Никому

в Германии в голову не приходило, что я хочу учить тому, что сам усвоил за последние полгода. Их устраивал мой двадцатилетний опыт педагога в Москве. Но я уже знал, что провел всю жизнь в самом невежественном и амбициозном кинематографе мира. Я хотел, но не смог бы изменить себя, только лишь переделывая свои сценарии. Во мне жили все болезни

моей умирающей среды. Избавляться от них – это

все равно что вырезать у себя аппендицит. Другое дело – оперировать чужие опухоли, на этом можно научиться. Гамбург оказался моим спасением. Там у меня было всего 10 студентов. Мы работали одной командой и за два года сочинили и сняли 40 фильмов и бесчисленное количество упражнений, от 2-х минут до 90. В основном фильмы были по 10, 20, 30 минут – новеллы, где правила действуют особенно жестко. И мы сообща проверяли, как работают правила, чем они помогают, почему с ними лучше, чем без них. Как они стимулируют воображение. И я был лучшим студентом университета. Может быть, единственным, кто чему-то научился.

Мой американский фильм так и не родился. Но я впервые за 30 лет профессиональной работы понял, что могу сознательно оценивать каждый элемент фильма, вижу его в развитии, понимаю, как с его помощью рассказывать историю с началом, серединой и концом.

Наверное, было бы правильно открыть компанию "Лечу больные сценарии". Но я предпочел написать книгу по самолечению. Все равно в России никого ничему не научишь. Наша норма – завышенная самооценка. Наша цель – фестиваль. Мы не идентифицируем реальность, а пророчествуем. Мир вокруг рухнул, а мы все те же... Но для тех, кто хочет понять механику рассказа, я буду полезен.



# СО Д Е Р Ж А Н И Е

- К 50-летию Победы
- 2 Э.Володарский "Проверка на дорогах"  
38 Интервью с Алексеем Германом  
46 Е.Агранович "Сильное средство"  
60 М.Танич "Плюс наши восемнадцать лет"  
64 М.Вольпин "Мы вас любили..."  
66 В.Доброницкий "Из дневника фронтового оператора"
- Прибытие поезда
- 80 А.Балабанов, С.Сельянов "Трофим"
- Проза кинодраматургов
- 85 Т.Зульфикаров "Золотой попугай в метели"  
149 В.Аксенов "Первый отрыв Палмер"
- Классика зарубежного кино
- 96 Питер Гринуэй "Контракт рисовальщика"
- Мемуары
- 132 В. Фрид "58 1/2" (продолжение)
- Из жизни звезд
- 162 "Бельмондо: Я ни о чем не жалею..."
- К 100-летию кинематографа
- 178 Д.Робинсон "Хроника кинематографа" (продолжение)
- Анонс
- 148 Б.Окуджава "Частная жизнь Александра Сергеевича"  
188 А.Митта "Правила и жизнь"

Главный редактор Н.Рюрикова

Ответственный секретарь М.Сергиенко. Выпускающий редактор Ю.Гирба.  
Компьютерная верстка О.Дорофеевой.

---

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Сдано в набор 20.05.95. Подписано к печати 05.06.95. Формат 70x100/16. Усл.печ.л. 14,5. Усл.кр.отт. 14,5. Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура "прагматика". Тираж 15000 экз. Заказ № 3342

Издание осуществлено совместно с Издательско-полиграфическим центром Аэрофлота "ПАНАС-АЭРО"  
Отпечатано с готовых диапозитивов в ордена Трудового Красного Знамени ПО "Детская книга" Роскомпечати. Адрес 127018, Москва, Суцьевский вал, 49

---

Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12  
Телефоны: 299-11-78, 299-47-74, 209-60-23

В №2 за 1995 г. не указан автор перевода статьи о Квентине Тарантино. Редакция приносит извинения переводчику – Александру Третьюхину.



"Щепка", 1993



"Музыкальный ящик", 1989



"Разубренное лезвие", 1986



"Основной инстинкт", 1992



"Преданные", 1988



**СЦЕНАРИИ ВСЕХ ЭТИХ  
ФИЛЬМОВ НАПИСАЛ ОДИН  
ЧЕЛОВЕК – ДЖО ЭСТЕРХАЗ.  
РАССКАЗ О НЕМ ЧИТАЙТЕ В  
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.**



"Танец-вспышка", 1983



"Основной инстинкт", 1992

"Хрусталеv, машину!" – сказал Берия,  
узнав о смерти Сталина...

В следующем номере читайте сценарий  
А.Германа и С.Кармалиты

**"Хрусталеv, машину!"**

ИНДЕКС 70434



**КИНО СЦЕНАРИИ №3**